# БЕРАНЖЕ

Н. Муравьева

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Книга посвящена французскому поэту-сатирику Пьеру Жану Беранже.


- Н. Муравьева
  - ○
  - ○ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
    - ■ ВОСПОМИНАНЬЯ И НАДЕЖДЫ
    - ■ В ПУТЬ
    - ■ ЮНЫЙ РЕСПУБЛИКАНЕЦ
    - ■ ФИНАНСИСТ ПОНЕВОЛЕ
    - ■ МАНСАРДА
    - ■ ПОИСКИ САМОГО СЕБЯ
    - ■ «МОНАСТЫРЬ БЕЗЗАБОТНЫХ» И НОВЫЕ ЗАБОТЫ
    - ■ ПРОЩАНИЕ О ПРОШЛЫМ
  - ○ ЧАСТЬ ВТОРАЯ
    - ■ МАРКИЗЫ, ПАЯЦЫ, ИУДЫ…
    - ■ В САЛОНАХ
    - ■ ПРЕДВЕСТНИЦА «ИНТЕРНАЦИОНАЛА»
    - ■ «ПОВСЮДУ СВЕТ ЗАДУЕМ…»
    - ■ «ЗЕЛЕНАЯ МЕЛЬНИЦА»
    - ■ «МУЗА, В СУД! НАС ЗОВУТ…»
    - ■ ГАЛЛЬСКИЕ РАБЫ
    - ■ «ОПАСАЙТЕСЬ, ПТАШКИ…»
    - ■ МОГИЛА МАНЮЭЛЯ
    - ■ ЛЕГЕНДА О НАПОЛЕОНЕ
    - ■ РОМАНТИЧЕСКОЕ ВОИНСТВО
    - ■ И ЗА РЕШЕТКОЙ ОН БУДЕТ ПЕТЬ!
    - ■ НАКАНУНЕ
    - ■ СЛАВНАЯ НЕДЕЛЯ
  - ○ ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
    - ■ «…ДРУГИМ БРОСАЙТЕ ДЕНЬГИ И ЧИНЫ»
    - ■ «ВЕЧНО РАБОТА И ВЕЧНО НЕВЗГОДА»
    - ■ «БЕЗУМЦЫ»
    - ■ «НАРОД — ЭТО МОЯ МУЗА!..»
    - ■ РАЗДУМЬЯ В ЛЕСНОЙ ГЛУШИ
    - ■ «О, КАК ЧВАНЛИВЫ, КАК ЖИРНЫ…»
    - ■ ФЕЯ РИФМ
    - ■ «ТОНИТЕ, МНЕ НЕ ЖАЛЬ!..»
    - ■ СМЕРТЬ И ПОЛИЦИЯ
  - ○ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА БЕРАНЖЕ

○ КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
○ Иллюстрации

# Н. Муравьева
# БЕРАНЖЕ

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

# ВОСПОМИНАНЬЯ И НАДЕЖДЫ

Забранные решетками окна парижской тюрьмы Ла Форс темны и тусклы. Только одно окошко первого этажа слабо светится изнутри. В первом этаже размещены политические заключенные и фальшивомонетчики.

Тюремный смотритель медленно прохаживается по коридору. Из камер несется храп, иногда прерываемый стонами и воплями. Видно, узникам снятся тревожные сны: побег, погоня, приговор галеры, гильотина… А вот в камере политического, где горит свеча, тихо. Если приложить ухо к замочной скважине, можно услышать только легкий скрип пера. Ну, конечно, узник пишет. Каждый вечер он пишет, а иногда и по ночам. Но тюремный смотритель не будет стучать к нему в дверь, хотя давно бы пора погасить свечу. Это узник особенный. Песни, которые он сочиняет, поет вся Франция. Из-за смелых своих песен он и сидит теперь в тюрьме…

Сальный огарок зачадил и погас Беранже остался в темноте, но все равно он не сможет заснуть. Душно. В висках стучит. Он всматривается в перечеркнутый клочок неба. Июльские ночи коротки. Скоро рассвет. Мысли, воспоминания так и бегут, так и теснятся.

Как память детских дней отрадна в заточенье!

И все, о чем он вспоминает, что встает перед его глазами и

заставляет сильнее биться сердце, превращается в песню. Он уже слышит ее поступь, и ему кажется, что она сливается с поступью народного восстания.

Он думает о том, что было сорок лет назад, 14 июля 1789 года. Он думает о будущем. Разве не бывает так, особенно у поэтов? Надежды закутываются в плащ воспоминаний. Сквозь картины прошлого просвечивает завтра. В песне о взятии Бастилии слышится призыв к новой революции:

…К оружию! отмщенье!

Когда же рухнет, наконец, реставрированная монархия Бурбонов, царство мелюзги, позорящей Францию? Доживет ли он до этого дня? Поможет ли приблизить его своими песнями?

Как солнце радостно сияло в этот день,
В великий этот день!

Сорок лет назад. Он стоял тогда на крыше высокого дома, и ветер трепал его волосы. Это не сон, это живое воспоминание, настолько живое, что он невольно проводит рукой по лысине… Здесь тогда красовались волосы, светлые, легкие. А глаза, острые, зоркие глаза девятилетнего мальчишки, как далеко, как ясно видели они!

* * *

— Смотри, Пьер Жан, смотри! Они идут к Бастилии, они идут на приступ!

Он заслоняет ладонью глаза от солнца, вытягивает шею, приподымается на носки, хотя и без того с крыши высокого дома на гористой улице Буле все Сент-Антуанское предместье видно как на ладони.

С самого утра, когда над Парижем загудел набат, Пьер Жан забрался сюда вместе с другими воспитанниками пансиона Шантеро. И на соседних крышах и на столбах полно мальчишек. Кричат, машут руками. Им кажется, будто они сами участвуют в том необыкновенном, захватывающем дух, что происходит сегодня в Париже.

Толпа растет, бурлит, движется. Нет, это уже не толпа — это скорее воинство, только военных мундиров не видно, все больше люди в блузах, в потертых куртках. Бьет в барабан какая-то

женщина, руки у нее красные, рукава засучены, — вероятно, прачка, а может быть, торговка-зеленщица.

Длинноногий подросток поднимает вверх тяжелую пику. И еще и еще пики. Целый лес блестящих пик над людскими рядами. Всю ночь их ковали кузнецы Сент-Антуанского предместья. А ружья повстанцы добыли еще вчера на складе Дворца инвалидов. Кому не досталось ружья или пики, тот запасся дубинкой или топором, ломом или простым булыжником, вывернутым из мостовой.

— Вперед! К Бастилии!

Вот она, темная громада. Восемь пятиэтажных башен. Толстые каменные стены. Вокруг стен глубокий двойной ров. Старинная крепость, феодальный замок, издавна превращенный королями Франции в тюрьму для политических заключенных. Еще в XV веке по велению Людовика XI в подземельях Бастилии были установлены железные клетки для узников.

Сменялись короли, чередовались поколения, а Бастилия, неколебимая и мрачная, высилась над Парижем.

Без суда, без следствия, по одному росчерку королевского пера бросали сюда людей. И каких людей! Сам Вольтер дважды побывал узником Бастилии. Сюда заточали и книги. Французская энциклопедия, созданная в XVIII веке передовыми умами Франции, была приговорена к заключению в Бастилию.

Эта тюрьма стала в глазах французов олицетворением тирании, неистового деспотизма.

— Вперед! На приступ!

Народ окружает крепость. Но как перейти глубокий ров? Мосты подняты. Из бойниц глядят пушечные жерла. Они направлены на Сент-Антуанское предместье, прямо на несметную людскую массу.

Смотри, Пьер Жан, смотри и не забывай!

Что это? Крыша под его ногами как будто вздрогнула. Залп. Пушечные ядра врезаются в людскую гущу. Но живые не останавливаются. Смельчаки подбирают еще не остывшие чугунные шары, бегут ко рву и пытаются перебить цепи подъемного моста. И другие с топорами в руках спешат к ним на помощь. Ура! Мост спущен. Повстанцы у самых стен.

Несколько часов длился приступ, и феодальная твердыня пала.

Как солнце радостно сияло в этот день,
В великий этот день!

Вечером Париж светился, пел, ликовал.

Пьер Жан долго не мог заснуть.

А в Версале в это время заседало Национальное собрание. Уже совсем поздно в зал заседаний пришел Людовик XVI. Он только что узнал от своего приближенного, герцога де Лианкура, о взятии Бастилии.

— Но ведь это же восстание! — сказал король, тяжело отдуваясь и выпячивая нижнюю губу.

— Нет, ваше величество, это не восстание, а революция, — ответили ему.

Через несколько дней от Бастилии не осталось камня на камне. Восставший народ разнес ее до основания. Бродя среди развалин, Пьер Жан слушал пылкую речь седого учителя о жертвах произвола, о свободе, равенстве, братстве…

Это было начало Великой французской революции. Это было время великих надежд. Это было начало жизни Беранже.

Но через сорок лет я этот день встречаю —
Июльский славный день — в темнице за замком.
Свобода! голос мой, и преданный опале,
Звучит хвалой тебе! В окне редеет тень…
И вот лучи зари в решетках засверкали…
Как солнце радостно выходит в этот день,
В великий этот день!

# В ПУТЬ

От Парижа до пикардийского городка Перонны на почтовом дилижансе больше двух суток езды. Путь кажется Пьеру Жану бесконечно длинным. Пожилая родственница, сопровождающая его, всю дорогу клюет носом, а Пьер Жан, затесненный тюками и корзинами, поджал ноги и молча глядит в окно.

Отец взял его из пансиона, не захотел больше вносить плату, задолжав и за те несколько месяцев, что Пьер Жан пробыл там.

— Что толку в этих пансионах? — ворчал отец, пренебрежительно подергивая плечом. — Чему там выучился мальчишка? Как был неучем, так и остался. Пусть лучше едет к тетке в Перонну. Она женщина разумная, приставит его к какому-нибудь делу. Да к тому же в Париже сейчас слишком беспокойно.

Расставаться с пансионом девятилетнему Беранже было ничуть не жалко. Старшие мальчишки пинали и дразнили его, пользуясь его беззащитностью и простодушием. Они завидовали, когда Беранже освобождали от занятий из-за мучивших его головных болей. Те, что побогаче, презирали его, потому что у него не водилось карманных денег на лакомства. Особенно доставалось ему от Граммона, старшего сына известного актера. Завидев издали красный плащ этого пятнадцатилетнего верзилы, Пьер Жан испытывал неодолимый ужас.

Он не забудет, как однажды стоял у решетки пансионского двора и пожирал глазами громадное румяное яблоко на лотке у торговки. Вдруг над самым ухом его послышался грозный шепот:

— Возьми это яблоко, не то поколочу!

Это был Граммон. Он заставил Беранже стащить яблоко и тут же схватил его за шиворот:

— Держи вора!

А только что, в это самое утро, Пьер Жан получил награду — крест за хорошее поведение.

— Экий срам! Образец благонравия — и такой проступок! — орал во все горло Граммон, созывая пансионеров и учителей…

Да, Пьер Жан рад, что его взяли из пансиона. Он очень хотел вернуться назад, к деду и бабушке Шампи, у которых жил с тех пор, как себя помнит. Но туда нельзя: деда разбил паралич. И к родителям нельзя: они живут врозь.

А вдруг и тетушка Тюрбо не захочет его принять? Никто не спрашивает ее, согласна ли она взять его к себе. Она его никогда не видела, и он ее никогда не видел, знает только, что она родная сестра отца, бездетная вдова и содержит на окраине Перонны трактир под названием «Королевская шпага». Больше ему ничего

о ней не рассказывали…

Не мудрено, что он чувствовал себя одиноким и заброшенным, этот девятилетний мальчик, которого родители сплавили с рук, бесцеремонно переложив заботы о его воспитании на чужие плечи. Родители всегда относились к нему на редкость небрежно и холодно. Говоря по совести, он ничем не был обязан им, кроме самого факта своего появления на свет.

Отец его, Жан Франсуа Беранже, человек легкомысленный, тщеславный и склонный к авантюрам, родился, к вечному своему сожалению, не в каком-нибудь дворянском замке, а в семье провинциального трактирщика близ Перонны. В юности Жан Франсуа служил писцом у перонnского нотариуса. Потом переселился в Париж, нанялся счетоводом к бакалейщику и решил во что бы то ни стало выбиться «наверх», а для этого прежде всего «улучшить» свою родословную, доказать, что он не простолюдин, а отпрыск старинной дворянской фамилии, корни которой затерялись в веках. Эта мысль крепко засела в его голове, и он усердно принялся за составление «генеалогического древа» семейства Беранже, но, не закончив своих «изысканий», неожиданно женился.

Нет, он не был последователен, этот пылкий провинциал. Женился он не на дворянке, ни даже на зажиточной буржуазке. Его пленила дочь портного, молоденькая модистка Жанна Шампи. Каждое утро, торопясь на работу, она проходила мимо лавки бакалейщика, быстрая, живая, изящная — истая парижанка! Жан Франсуа прислушивался к стуку тонких каблучков и забывал в эти минуты и о родословной и о счетах…

Многодетный портной охотно отдал руку дочери щеголеватому, любезному счетоводу.

Семейное счастье молодой четы, однако, длилось недолго. Через полгода после свадьбы от небольшой суммы, которую вручил новобрачным папаша Шампи, не осталось ни единого су. И любящий супруг, покинув Париж, жену на сносях и должность у бакалейщика, пустился в странствия — в поиски фортуны, в поиски корней «генеалогического древа». Первенец появился на свет в его отсутствие.

Пьер Жан Беранже родился 19 августа 1780 года под кровом своего деда Пьера Шампи, в старом доме на улице Монторгей, одной из самых шумных и грязных улиц Парижа. Роды были трудные. Акушерке пришлось прибегнуть к щипцам, «…для меня все на свете было трудно, даже родиться», — говаривал потом Беранже.

Ребенка отдали на воспитание кормилице. А мать, как только оправилась после родов, переехала из отцовского дома в

предместье Тампль и снова занялась ремеслом модистки.

Забытый родителями, Пьер Жан первые три года жизни провел в семье бургундской крестьянки, среди виноградных лоз и кудахчущих кур. Рассказывали, что у кормилицы его скоро пропало молоко и малышу совали соску из хлеба, размоченного в вине (это послужило впоследствии сюжетом для песенки Беранже). Крестьяне, вскормившие его, очень привязались к своему воспитаннику и даже не требовали платы за его содержание, когда родители забывали ее высылать, а это, наверное, случалось нередко.

Потом о внуке вспомнил дед Шампи и вытребовал его к себе в Париж. В пропыленном воздухе портновской мастерской быстро выцвел сельский румянец маленького Беранже. Пьер Жан рос бледный, чахлый, тихий. Товарищей у него не было, целые дни он проводил в обществе деда и бабки. Забьется в уголок и вырезает из бумаги человечков или мастерит крохотные корзинки из вишневых косточек. А дед щелкает ножницами — кроит, потом, сдвинув на нос очки, орудует иглой. За шитьем дед любил напевать старинные романсы и песенки. Пьер Жан прислушивался и сам пробовал подтягивать тонким голоском. Все в доме пели, песня сопровождала Беранже сызмальства.

Иногда бабушка Шампи читала вслух мужу и внуку. Она была любительница чтения. Из ее уст Пьер Жан впервые услышал имя «господина де Вольтера», на авторитет которого бабушка то и дело ссылалась. Дед тоже не отставал от века. В часы досуга он охотно открывал томик сочинений вольнодумного аббата Рейналя.

Скоро и Пьер Жан начал усердно мусолить страницы старых книг, которые водились в доме портного. «Освобожденный Иерусалим», переводная поэма итальянского писателя Тассо, и «Генриада» Вольтера — таковы были его первые «буквари». Читал он, правда, только «глазами»: улавливал смысл знакомых слов, но не имел никакого понятия о слогах.

И в школе, куда его отвел дед, он не двинулся вперед ни в чтении, ни в грамматике, ни в других науках. Школа была совсем близко, почти напротив дома, в тупике Бутылки, но Пьер Жан посещал ее редко и неохотно. Трудно было часами сидеть без движения в узкой, полутемной комнате и слушать монотонный голос учителя. Пьер Жан жаловался деду на головную боль, и тот оставлял его дома. Строгий к собственным детям, старый портной баловал внука.

Мать появлялась редко. Несколько раз она брала Пьера Жана к себе погостить, водила его в парк на гулянье или в театр — эти дни были для него праздниками, но недолгими.

А отца за все шесть лет жизни у деда Шампи Пьер Жан видел всего два-три раза. Беранже-старший все время где-то странствовал: жил в Бельгии, потом в маленьких французских городках. Накануне революции он исполнял обязанности нотариуса в Дюртале и заведовал имуществом некоей графини де Бурмон. Наезжая в Париж, он не забывал навестить жену. В 1887 году у Пьера Жана появилась младшая сестра Софи. Это, впрочем, не укрепило семью. Девочку тотчас же отдали кормилице, а отец снова уехал в Дюрталь. Он уже много преуспел в насаждении корней «генеалогического древа» и именовался теперь не просто Беранже, а Беранже де Мерси.

Ну, конечно, новоявленный дворянин не одобрял того, что происходило в Париже в 1789 году. Бастилию разрушили, глядишь, вслед за ней рухнет монархия, и дворянская приставка окажется ни к чему. Он, наверно, постарался бы внушить свои монархические взгляды и сыну, если б взялся за его воспитание, но к роли воспитателя де Мерси был не способен, у него не было ни малейшей охоты тратить на мальчишку время, деньги, энергию. В благом порыве отцовских чувств он попробовал было определить сына в пансион; дворянскому отпрыску нужно дворянское воспитание! Порыв этот, однако, бесследно иссяк, когда пришел срок вносить плату. Нет уж, пусть лучше Пьер Жан едет к тетке в Перонну.

Мари Виктуар Тюрбо, осанистая вдова лет около сорока, читает письмо от брата. Пьер Жан, еще больше осунувшийся за время путешествия, стоит у стола и ждет решения. Густые брови госпожи Тюрбо ползут все выше на лоб, а потом резко опускаются и сходятся у переносицы.

— Нет, вы только подумайте, — всплескивает она руками, обращаясь к пожилой родственнице, доставившей ей нежданную «посылку», — вы только представьте себе, до чего дошел мой братец! Вообразил, что я обязана взвалить на себя все заботы о его сыне! Ну, уж пусть он там рассуждает, как хочет, а я не могу взять ребенка на попечение.

Искоса она бросает быстрый взгляд на племянника. Он стоит, маленький, худенький, робкий. Светловолосая голова опущена, руки теребят шапку.

Мари Виктуар неожиданно умолкает. Брови ее все еще сдвинуты, но глаза теплеют, теплеют и вдруг затуманиваются. Она встает и порывисто обнимает мальчика.

— Бедняжка покинутый! Я заменю тебе мать.

# ЮНЫЙ РЕСПУБЛИКАНЕЦ

В трактире «Королевская шпага» шумно, душно. Пахнет жареным луком, дешевым сыром. Знакомые запахи, Пьер Жан привык к ним за три года. Раскрасневшаяся тетушка Тюрбо снует между очагом и стойкой, а Пьер Жан встречает на крыльце приезжих, задает корм лошадям и, топоча деревянными башмаками, прислуживает посетителям.

Ох, как не по душе ему такая работа! Бывают минуты, когда хочется разбить тарелки об пол. Но он сдерживается. Надо помогать тетке. К тому же, если б не возня с этими тарелками, если б не это прислуживанье, в трактире было бы очень интересно. Сколько разных людей бывает здесь! Окрестные крестьяне, перонnские обыватели и приезжие из соседних округов и из дальних городов; знакомые почтари с дилижанса и какие-то безвестные бродяги; странствующие торговцы, хитрые спекулянты (их много развелось в эти годы) и конные вестовые из Парижа с важными бумагами для местных властей. И посетители не только едят, пьют и спят на постоялом дворе тетушки Тюрбо. Они обмениваются новостями, спорят, иногда читают вслух газеты, поют новые песни.

Пьер Жан забывает о тарелках, о лошадях, об усталости, когда, чуть склонив голову набок, жадно впитывает в себя рассказы о последних событиях. Да, он теперь уже не тот робкий тихоня, каким был в пансионе Шантеро. Весь он как будто проснулся, ожил, повеселел.

С восторгом подхватывает он новые сатирические куплеты, которые поются на мотив «Карманьолы» и «Ça ira». Изменника-короля и его жену — «австриячку» — в этих куплетах иронически величают мосье и мадам Вето{*Вето* — право короля приостанавливать решения Национального собрания, оставленное Людовику XVI в начале революции.}.

Мадам Вето, ты нам сулишь,
Что перережешь весь Париж,
Да нет силенок у тебя,
Пока у нас пальба.
Так спляшем «Карманьолу»!

Сколько таких куплетов сочиняют по всей Франции! Чуть не каждый день появляются, новые. Кто сочиняет их? Имена авторов неизвестны. Имя их — народ.

Иногда между посетителями трактира вспыхивают споры. Тетушка Тюрбо частенько вмешивается в них, она здорово умеет вправить мозги болтунам, которые не понимают что к чему и, может быть, сочувствуют в душе старому режиму. Старый режим — это власть бездельников-аристократов, которые расточали народное добро и ничуть не заботились о благе Франции, — так думает и говорит тетушка Мари Виктуар. Пьер Жан вполне разделяет ее взгляды. Это она первая открыла ему глаза на смысл событий, происходящих во Франции. Так же как и она, Пьер Жан не терпит аристократов. Так же как и она, он на стороне бедняков — санкюлотов, на стороне революции.

Одно удивляет его: как может такая умная женщина верить в чудодейственную силу церковных обрядов?

Когда церковь еще не закрылась в Перонне, тетка водила его к обедне и даже хотела, чтоб он стал служкой у местного священника, который присягнул на верность революционной Франции. Но церковная латынь никак не шла Пьеру Жану в голову, хотя на все другое у него была прекрасная память. Во время службы он путал возгласы, подавал не те предметы. Кюре ворчал, а однажды и совсем рассвирепел, заметив, что в сосуде не хватает освященного вина. Ну и досталось тут нерадивому служке! Наспех закончив обедню, дюжий кюре обошелся с ним без всякой кротости и благости и пригрозил, что больше никогда не допустит к священным предметам.

Пьер Жан нимало не огорчился, но тетушка вздыхала.

Окончательно пошатнулась его вера в церковные обряды после одного случая, чуть ли не стоившего ему жизни.

Это было весной 1792 года. С утра парило, собирались тучи. Тетка боялась грозы и заранее окропила весь дом святой водой во избежание беды. Когда гроза разразилась, Пьер Жан стоял на пороге. Вдруг что-то ослепило его, оглушило, и он потерял сознание. Тетушка Тюрбо вынесла его из сеней, полных дыма. На ее вопли собрались соседи. Общими усилиями удалось привести мальчика в чувство.

Когда он очнулся и тетка со слезами рассказала ему, как все было, Пьер Жан не мог удержаться, чтоб не спросить ее голоском слабым, но не без ехидства:

— Ну что, помогла нам твоя святая вода?

Тетка так и ахнула. Потом она часто вспоминала эти его слова.

— В ту минуту я поняла, что ты никогда не будешь набожным христианином, — сокрушенно твердила она.

Пьер Жан долго болел и стал хуже видеть. Он не смог поступить в ученье к часовщику, что его очень огорчало.

И вот он прислуживает в трактире… Тетушка то и дело поглядывает на него из-за стойки. Она думает сразу о нескольких вещах — о том, что в лавке совсем не стало колониальных товаров с тех пор, как в Сан-Доминго произошла революция, о меню на завтрашний день и о будущем Пьера Жана. Этот последний вопрос постоянно примешивается ко всему, о чем думает Мари Виктуар. О, она прекрасно понимает, что работа в трактире племяннику совсем не подходит. Он очень самолюбив и, конечно, способен на что-то большее. Смышленый. Все схватывает на лету. Как быстро научился он читать! Прочел и, кажется, уже знает наизусть все книги, что есть у нее в доме: «Похождения Телемака» Фенелона, драмы Расина и Вольтера…

А как рассуждает! С ним можно посоветоваться о любом деле. Ему бы не в трактире прислуживать, а в коллеже учиться. На коллеж в Перонне закрылся, а отправить племянника учиться в другой город у нее нет средств, да и время не такое, чтоб отпускать мальчишку одного. «Ничего, — думает тетка, — успеет изучить какое-нибудь ремесло, встанет на ноги. А пока самое главное, чтоб рос хорошим гражданином и патриотом». Эти два понятия для нее нераздельны, как и для всех тех, кому дорога революция, кто гордится «Декларацией прав человека и гражданина» и считает интересы нации своими собственными интересами.

* * *

Как идут дела на фронте? Это больше всего волнует юного Беранже, его тетку и большинство французов.

В апреле 1792 года Франция вступила в войну с коалицией монархических держав, угрожавших ее свободе, ее революции.

Добровольцы с разных концов страны становились под ружье. Отряды их то и дело проходили через Перонну, местные жители и окрестные крестьяне присоединялись к ним. Они шли и шли по пыльной большой дороге. Храбрые, веселые парни в тяжелых сабо, а то и совсем босые. Обветренные, оборванные, они шли с песнями, с крепкой верой в скорую победу. Но дела на фронте осложнялись. Враг перешел границу, враг наступал.

— Граждане, отечество в опасности!

Этот клич несся летом 1792 года по всей Франции, и страшное значение его все яснее раскрывалось перед юным Беранже. Кругом говорили об измене, о кознях короля, королевы и аристократов-эмигрантов. Они стакнулись с иноземцами, натравливают их на Францию, они только и мечтают о том, чтоб

австрийцы, пруссаки и англичане затоптали революцию и восстановили во Франции старый режим.

Мосье Вето, ты нам сулишь,
Что родину спасти велишь.
Сорвется дело у тебя.
Игра твоя слаба.
Так спляшем «Карманьолу»!.. —

пели посетители трактира «Королевская шпага».

Слышишь гром? Слышишь гром?
Так спляшем «Карманьолу»!
Пушки бьют за бугром.

До Перонны действительно уже доносились звуки вражеской канонады.

А из Парижа шли вести о больших событиях и переменах. В ночь на 10 августа 1792 года народ штурмом взял королевский дворец Тюильри. Людовик XVI заключен в замок Тампль. Монархия низвергнута!

В то лето по дорогам страны вместе с отрядами добровольцев шагала новая песня, призывная, грозновеселая. Сначала она называлась «Песнь Рейнской армии». И слова и музыку ее сочинил в Страсбурге саперный капитан Руже де Лиль. Зазвучав впервые на юге Франции, она с батальонами марсельцев пришла к концу июля в Париж, а потом разнеслась по всей стране под именем «Марсельезы».

Вперед, сыны отчизны милой!
Мгновенье славы настает.
К нам тирания черной силой
С кровавым знаменем идет.
Вы слышите, уже в равнинах
Солдаты злобные ревут.
Они и к нам и к нам придут,
Чтоб задушить детей невинных.
К оружью, граждане! Равняй военный строй!
Вперед, вперед, чтоб вражья кровь была в земле сырой!

Эту песню услышал в Перонне двенадцатилетний Беранже и ощутил в ней то, что билось, пело, росло в нем самом.

«Бесполезно рассказывать обо всех обстоятельствах, объясняющих, почему я, будучи столь юным, с таким участием относился к судьбам нашей великой революции и почему так горяч был мой патриотизм», — напишет он много лет спустя, вспоминая в «Автобиографии» о событиях 1792 и 1793 годов. И дальше: «Помню, с какой печалью и тревогой мы узнали о вторжении коалиционных армий, передовые отряды которых прошли Камбре. Вечерами, сидя у ворот нашего постоялого двора, мы прислушивались к грому пушек англичан и австрийцев, осаждавших Валансьен, в шестнадцати лье от Перонны.

Мой ужас перед вражеским нашествием нарастал с каждым днем. Но с какой радостью слушал я вести о победах республики!»

Первая победа была одержана революционной французской армией над пруссаками в битве при Вальми 20 сентября 1792 года. День 21 сентября был провозглашен на первом заседании Конвента началом новой эры, первым днем Французской республики.

Изменилось летосчисление, двигалась вперед революция, и сама старуха история, казалось, помолодела и ускорила свои шаги.

Воодушевленные победой при Вальми, французские армии перешли в наступление и 6 ноября в битве при Жемаппе наголову разбили австрийцев.

— Мир хижинам, война дворцам!

Слыша этот клич революционных армий, содрогались в своих дворцах короли старой Европы. Не грозит ли и им страшная участь французского короля? Людовик XVI был казнен 21 января 1793 года на Гревской площади в Париже.

Англия, Пруссия, Голландия, Неаполь и мелкие немецкие княжества ополчились против Французской республики.

В 1793 году война шла и за рубежами Франции и внутри страны. Аристократы-эмигранты и их прихвостни змеями проползали в пределы республики, раздували мятежи, сеяли смуту Мятежи в Бретани. Мятеж в Нормандии. Мятеж в Тулоне… К военной опасности добавлялся голод в стране. Бедняки роптали. Им нечего есть, бумажные деньги падают в цене, продуктов все меньше, а проклятые спекулянты и ростовщики наживаются на страданиях народа.

Отнять у богачей излишки, установить твердые цены — требовали народные массы и их вожди монтаньяры.

31 мая 1793 года над Парижем снова загудел набат Толпы санкюлотов двинулись к зданию, где заседал Конвент. Волнения продолжались три дня. 2 июня защитники интересов крупной

буржуазии — депутаты-жирондисты — были изгнаны из Конвента. Во Франции установилась якобинская диктатура.

Революция двигалась к своей вершине. Все решительнее выкорчевывались корни феодализма, подрывались основы помещичьего землевладения и былого могущества католической церкви.

Под ножом гильотины одна за другой слетали с плеч головы аристократов и «подозрительных».

В Перонне террор ощущался менее остро, чем во многих других городах. Здесь не было гильотины, не совершалось казней. Но в тюрьму попадали многие; были среди них и виновные и невиновные.

Однажды утром тетушка Тюрбо повела своего племянника в город, не обмолвившись ни словом о цели прогулки. К удивлению Пьера Жана, они направились прямо к зданию тюрьмы и остановились у ворот.

— Дитя мое, мы сейчас увидим с тобой честных людей, хороших граждан, лишенных свободы из-за клеветнического обвинения, — сказала тетка.

Накануне она узнала о том, что несколько ее друзей из соседнего села без вины попали в тюрьму, и сразу же решила дать племяннику наглядный урок, «каким преследованиям может подвергнуться добродетель во времена политических волнений».

«Подобные уроки, данные при таких обстоятельствах, глубоко и навсегда западают в молодой ум», — писал потом Беранже.

Однако эти уроки не охладили патриотического пыла юного республиканца. Тетка и не ставила своей целью очернить в его глазах республику. Она осуждала лишь клеветников, приносящих вред общему делу. И воспитательница и ее воспитанник оставались преданными сторонниками республики в грозные времена, когда политическая атмосфера в стране достигла наивысшего напряжения.

В те годы закладывались основы личности Беранже. Первая и самая большая его любовь была отдана революционному отечеству. Первыми волнениями его были волнения за судьбы Франции, за судьбы революции.

«Когда пушки возвестили о том, что мы отбили Тулон, я был на валу. С каждым выстрелом сердце мое билось сильнее, так что я вынужден был сесть на траву, чтоб перевести дыхание…»

Он впервые услыхал тогда имя молодого офицера Бонапарта, выигравшего битву за Тулон, и это имя связалось в сознании Беранже с победоносным движением революции.

* * *

И от тетушки и от других пероннских жителей Пьер Жан много слышал о Баллю де Белленглизе.

— Это гордость Перонны, — говорила тетка, — ученый, юрист, оратор, философ! Вот подожди, он приедет, увидишь и сам поймешь, что это человек!

Так же отзывались о нем и друзья гетушки Тюрбо. Они не преувеличивали. Баллю де Белленглиз был действительно человек выдающийся.

Дворянин по происхождению, он порвал со своим сословием и перешел на сторону революции; к этому подготовило его страстное и давнее увлечение философией Руссо. Перонцы единодушно избрали своего нотариуса депутатом в Национальное собрание.

Когда окончился срок его полномочий, Белленглиз возвратился домой, вновь занялся юридической практикой и развернул в городке просветительную деятельность.

Еще до знакомства с Белленглизом Пьер Жан не раз встречал его: бывший депутат любил прогулки по окрестностям. Уже издали фигура его привлекала внимание прохожих. Высокий, прямой, в широкополой шляпе, в темном камзоле до пят, застегнутом на все пуговицы, он шел неспешным шагом, а рядом с ним, по обе стороны, семенили две маленькие собачки, и он по очереди брал то одну, то другую на руки.

Все встречные кланялись ему, он отвечал на их поклоны, окидывая каждого спокойным доброжелательным взглядом.

Где видел Пьер Жан этот взгляд? Почему внушительный облик нотариуса кажется ему таким знакомым? Когда он узнал Баллю де Белленглиза ближе, то понял: именно таким представлял он себе Ментора, мудрого учителя юного Телемака, книгу о похождениях которого перечитывал столько раз. Наставник Телемака, строгий и требовательный, снисходительный и всегда справедливый, будто сошел со страниц книги и вступил в жизнь юного Беранже.

Тетушка Тюрбо была издавна знакома с Белленглизом и не раз прибегала к его юридическим советам. Он охотно откликнулся на ее просьбу пристроить на работу Беранже. Незадолго перед тем тетка попробовала определить племянника в ученье к ювелиру, но толку из этого не вышло. Ювелир охотно рассказывал о своих любовных похождениях, а делу и не думал учить.

Белленглиз принял Беранже посыльным в свою нотариальную контору. На должности этой Пьер Жан, однако, оставался недолго. Той же осенью Белленглиз определил его в школу, которую открыл в Перонне.

Это была необыкновенная школа. Здесь не зубрили молитв, не заучивали латинских вокабул и даже не вносили платы за ученье. Дети бедняков сидели на скамьях рядом с детьми зажиточных буржуа..

Основатель школы видел главную ее задачу в воспитании активных граждан-патриотов, а не ученых педантов, равнодушных к тому, что творится вокруг, чем живет страна. Школа строилась по образцу маленькой республики. Каждый ученик-гражданин имел равные с другими права и обязанности. Каждый мог быть избран на почетную должность мэра или судьи. Да, у них был свой суд, свой муниципалитет и свое войско, вооруженное пиками, саблями и настоящей маленькой пушкой.

Сердцем школы был клуб. И это понятно. Где, как не в клубах, оттачивали в то время граждане молодой Французской республики свою речь, выращивали политическую мысль?

В знаменитом парижском Клубе якобинцев выступали вожди республики: Друг народа Марат, Неподкупный Робеспьер. (Какие прозвища! Может быть, еще тогда они стали для Беранже высшим мерилом достоинств человека.) Клубы рождались и множились в каждом городке и селении Франции.

Нет сомнения, что песни и споры влекли пероннских школьников гораздо сильней, чем уроки грамматики. Грамматика, увы, была в загоне. Трудно было найти хороших учителей, занятия французским языком вел старый священник, присягнувший республике. Пьер Жан так и не одолел правил орфографии за короткое время своего пребывания в школе Белленглиза.

Зато он научился петь революционные песни и выступать с речами перед публикой, преодолевая свою застенчивость. Не раз его избирали председателем клуба и поручали ему составлять и произносить приветствия членам Конвента, проезжавшим иногда через Перонну, или писать торжественные адреса самому Максимилиану Робеспьеру.

Вместе с другими школьниками Пьер Жан участвовал в организации национальных праздников.

На площади собирались граждане Перонны и крестьяне из соседних деревень. Матери семейств в на крахмаленных чепцах с трехцветными кокардами приводили за руку малышей в красных фригийских колпачках. А девушки! В праздничных платьях, украшенные цветами, они смеялись, пели, танцевали. Самую красивую и статную выбирали «богиней свободы». Она поднималась на высокий помост, увитый гирляндами зелени. Трехцветный флаг республики трепетал над ее головой. Пьер Жан, не отрываясь, смотрел на нее, и ему казалось, что это

действительно сама Свобода, сама Республика улыбается ему, как родному сыну…

Когда приходила его очередь подняться на трибуну, чтоб произнести приветствие от учеников школы, в горле почему-то начинало першить, лица расплывались перед глазами. Но он начинал говорить, и смущение проходило, сменяясь радостным воодушевлением: его слушали, его одобряли, ему рукоплескали! Он чувствовал себя частицей народа, одним из его голосов. Он, такой маленький, хворый, незаметный, становился в эти минуты сильным, смелым, большим!

Прослушав речи, все собравшиеся на площади пели хором революционные песни, и, конечно, прежде всего «Марсельезу».

Вперед, сыны отчизны милой!..

Песня неслась широко, высоко. И, наверное, где-нибудь в высоте встречалась и сливалась с той же песней, которую пели в это время бойцы революционных армий на фронтах республики, и парижане на широких площадях, и члены Конвента после заседания.

Вперед, плечом к плечу шагая!
Священна к родине любовь.
Вперед, свобода дорогая,
Одушевляй Час вновь и вновь…

* * *

Новые и новые песни рождались в революционной Франции. Сатирические куплеты, бесстрашные, веселые и яростные, ринулись в бой со старым режимом еще в первые годы революции. Они продолжали разить врагов пиками острот, шквалами грозного смеха и после свержения монархии.

А вслед за ними вместе с установлением республики встали в строй героические, возвышенные песни-гимны, песни-марши. «Марсельеза» была самой популярной из патриотических песен революции. Но рядом с ней, иногда по ее образцу, создавалось множество других, утверждавших величие республики, воодушевлявших ее граждан, ее защитников.

Их сочиняли и безвестные песенники — не профессиональные поэты, но пылкие патриоты — и поэты с известными именами, такие, как Лебрен-Пиндар и Мари Жозеф

Шенье.

Убежденный якобинец, член Конвента, Мари Жозеф Шенье доблестно служил республике своим пером как драматург и как поэт-трибун. Он создавал революционные оды, тексты гимнов для республиканских праздников — «Гимн Равенству», «Гимн Свободе», «Гимн Верховному существу». «Песнь выступления в поход», написанную им в 1794 году, называли второй «Марсельезой». Стихи Шенье перекладывали на музыку видные композиторы той поры.

Может быть, именно любовь к песням, выражавшим чувства, которые переполняли юного республиканца, и вызвала в нем неодолимое желание сочинять самому, попробовать передать в стихах то, что его волновало.

Манили и направляли его к этому и те книги, которые он читал и перечитывал. Вольтер, Расин и любимые его Мольер и Лафонтен — все они писали стихами.

Беранже было двенадцать лет, когда он начал свои стихотворные опыты.

Как добиться того, чтобы слова звучали так, будто сами просятся на музыку? Он долго думал над этим, и, как ему казалось, пришел, наконец, к удачному решению задачи. Главное, чтоб строки были равной длины! Для этого взять лист чистой бумаги, аккуратно разлиновать его, а по бокам провести две жирные продольные линии. Теперь остается обуздывать слова и фразы, чтобы они покорно ложились в отгороженные для них загоны.

Это оказалось не так просто. Но вот слова как будто выстроились ровными рядами: строки совершенно одинаковой длины! И все-таки, если прочесть вслух, они звучат совсем не так, как у настоящих поэтов. Он сличал свои строчки со строками Лафонтена и опять и опять с огорчением убеждался: нет, совсем не то…

Когда он поступил в школу, дело не пошло вперед, в школе он ни слова не услышал о правилах стихосложения и продолжал сочинять «своим способом». Он предпочитал никому не показывать свои стихи, пока не научится писать по-настоящему.

* * *

На следующую осень Пьер Жан уже не пошел в школу: она неожиданно закрылась. Эго произошло, как говорили в Перонне, по вине каких-то клеветников и доносчиков.

Школа перестала существовать, но ее основатель уцелел. По

инициативе Баллю де Белленглиза в Перонне была основана типография, владельцем которой сделался местный житель дядюшка Лене. В эту типографию и поступил работать Беранже. Он вошел под ее крышу с трепетом в сердце и с обнаженной головой. Еще бы! Здесь печатаются книги, и он сам будет участвовать в свершении этого чуда.

Учителем его был рабочий-наборщик Болье. Живой паренек, вечно вымазанный типографской краской, усердно посвящал подопечного в тайны ремесла. Пьер Жан под таким руководством мог бы сделаться заправским наборщиком, если б поперек дороги не стали его нелады с орфографией. Тех, кто был силен в правописании, мастер Лене охотно допускал к наборной кассе и верстатке. А Беранже маялся вместе с малограмотными учениками у типографского пресса и выполнял всякие мелкие поручения и подсобные работы. Но и тут нельзя было зевать и мечтать. Живей! Живей! Надо быть расторопным, чтоб не получить от мастера увесистую колотушку.

У хозяина типографии был сын, долговязый балагур лет шестнадцати. Когда Пьер Жан познакомился с ним поближе, то узнал, что Лене-младший ловко сочиняет веселые куплеты. Как он достигает этого? Лене охотно поделился с товарищем секретами своего мастерства, от него первого Беранже услышал о правилах стихосложения. Скоро Пьер Жан сравнялся со своим учителем в искусстве сочинения куплетов, а немного погодя и превзошел его.

Добродушный Лене-сын гордился успехами своего ученика. В свободные часы они вместе заглядывали в клуб или гуляли по окрестностям Перонны. К ним присоединялись Болье и Кенекур.

С Кенекуром Беранже подружился еще в школе Белленглиза. Бледный, кроткий, он напоминал ангелочка, каких рисуют в старинных книгах. Рот сердечком. Голубые глаза так и светятся добротой и невинностью. Прежде чем вставить слово в разговор, он робко покашливал, прикрывая рот маленькой ладошкой. Но вставлял словцо всегда кстати, с толком.

Любил и понимал шутку и восхищался остроумием Беранже, его куплетами и его речами в клубе.

Местный клуб продолжал свою шумную жизнь. Но теперь там уже не читали приветствий Робеспьеру. Робеспьер, перед которым совсем недавно благоговели, был неожиданно казнен. После государственного переворота 9 термидора (27 июля 1794 года) уже не якобинцы, а совсем другие люди встали во главе республики. Богачи и дворяне снова подняли головы.

В Перонне стали появляться фигуры, давно исчезнувшие с горизонта. Прислал письмо и отец Пьера Жана, о котором так

долго ничего не было слышно.

Беранже де Мерси, оказывается, сидел в тюрьме за участие в одном из монархических заговоров. Тетка знала об этом и раньше, но скрывала от Пьера Жана, чтоб не огорчать и не тревожить его.

После 9 термидора Беранже де Мерси выпустили на свободу, и в начале 1795 года он собрался навестить родных в Перонне.

Тетушка Мари Виктуар звала брата приехать на ее свадьбу. Да, ей надоело быть одинокой вдовой, она решила связать свою судьбу с неким гражданином Буве, имевшим в Перонне репутацию человека образованного и высоконравственного. Пьер Жан, с которым тетка не преминула посоветоваться, прежде чем сделать такой рискованный шаг, предостерегал ее. Он заметил, что жених обладает своеобразным и, наверно, нелегким для окружающих нравом. Уж слишком горазд допекать ближних поучениями и назиданиями (Пьер Жан почувствовал это на себе). Тетка потом жалела, что не послушалась совета своего питомца. Брак не принес ей счастья. Но свадьбу справляли весело. Беранже де Мерси привез в подарок сестре новые башмаки из настоящей кожи! Это была роскошь для тех лет: большинство граждан Перонны ходило в деревянных сабо.

Чуть ли не в первый день по приезде брата Мари Виктуар повела его в клуб, где выступал с патриотической речью Пьер Жан. Красноречие сына польстило самолюбию де Мерси, но содержание речи пришлось ему не по душе. Он решил выбить из головы Пьера Жана «санкюлотские бредни».

Но как ни подступался он к сыну, как ни петушился, доказывая ему преимущества дворян перед плебеями, превосходство монархии над республикой, сын упорно оставался на стороне плебеев и республики и, что было обиднее всего, побеждал в спорах отца.

Разбитый наголову, раздосадованный отец пожимал плечами, искоса поглядывая на своего непобедимого противника. Ишь ты, на вид смирен, тщедушен, и откуда только такая прыть? Смышленый мальчишка! Может стать помощником в делах, надо будет взять его в Париж, а там уж заодно и перевоспитать.

До поры до времени отец ничего не говорил об этом юному Беранже, но спорить с ним перестал, обратив свой полемический пыл на сестру. Споры с ней он затевал обычно в присутствии сына. Один из образчиков их диалога Беранже приведет потом в своей «Автобиографии».

«— Сестра, — сказал он ей, — этот ребенок заражен якобинством.

— Лучше скажи, брат, вскормлен республиканскими

взглядами…

— Якобинец или республиканец — это для меня одно и то же. Мальчишке привиты самые вредные взгляды.

— Они принадлежат мне и всем лучшим гражданам…

— Сестра, мы, аристократы, должны стоять за трон и алтарь. Служа им, я больше года таскался по тюрьмам и, не будь особой милости божией, умер бы на эшафоте.

— Скажи лучше, что тщеславие заставило тебя присоединиться к людям, нисколько тобой не дорожившим…

— Боже мой! Неужели ты ничего не хочешь понять? Вашей республике осталось жить каких-нибудь полгода. Я уже говорил тебе, что наши законные государи скоро вернутся к нам… Когда Бурбоны возвратятся, я надеюсь пристроить сына в число пажей его величества.

— Право, Беранже, ты сумасшедший! Если, по несчастью, к нам возвратится эта династия, вооружившая всю Европу против Франции, неужели ты полагаешь, что последний из ее членов удостоит тебя малейшего внимания?

— Конечно, да. Я докажу свои права на дворянство.

— Опять эта чушь! Не забывай, что ты родился в простом кабаке. Наша добрая мать была служанкой, что вовсе не мешало ей обладать здравым смыслом. Эта достойная женщина, правда, соглашалась иногда шутки ради, что в жилах твоих и твоего отца течет дворянская кровь. «Ведь мой муж, — говаривала она, — бездельничал всю жизнь и напивался пьян вином из своего кабака, как добрый деревенский помещик. А сын мой не может жить без долгов, словно аристократ».

— Сестра, все эти твои россказни не помешают моему сыну, который после меня станет главой рода, сделаться пажом ее величества.

— Твой сын никогда не захочет стать лакеем…

— Сестра, клянусь тебе, что, когда Бурбоны возвратятся, я представлю своего сына нашим превосходнейшим принцам.

— Берегись, чтоб он не спел им «Марсельезу»!»

# ФИНАНСИСТ ПОНЕВОЛЕ

Прощай, Перонна! Прощайте, речи в клубе, и прогулки с друзьями, и фартук типографского подмастерья! Пьер Жан уезжает, отец вызвал его в Париж. Тетушка утирает покрасневшие глаза, напутствуя свого воспитанника. Пьер Жан тоже не может удержаться от слез.

И вот уже звенит колокольчик почтового дилижанса. Дальше, дальше! Чужие постоялые дворы, чужие лица. Ночь сменяется новым днем. Машут крыльями мельницы, приветствуя путешественников, мычат стада, несутся клубы пыли… Часть его существа как будто еще там, в Перонне, но с каждым оборотом колес Париж все ближе, все сильнее притягивает его мысли и пробуждает воспоминания.

Запах пыли в мастерской деда. Крики разносчиков на пестрой улице Монторгей, темные классы в тупике Бутылки, хохот забияк в пансионе. И самое памятное — высокая крыша, а внизу толпы народа: «Вперед! К Бастилии!» Он тогда еще ничего толком не понимал, но теперь-то он знает — в тот день все и началось. А потом из Парижа неслись зажигательные песни, и речи, и вести. Там санкюлоты штурмовали королевский дворец Тюильри. Там заседал Конвент. Оттуда с трибуны Якобинского клуба звучали голоса гигантов.

Париж! Здравствуй, Париж!

Они поселились в предместье Пуассоньер. Всей семьей — отец, мать, Пьер Жан и бабушка Шампи (только сестра Софи осталась где-то в деревне). С матерью Пьер Жан почти не знаком.

А бабушка Шампи все такая же хлопотливая, добрая; только стала как будто поменьше ростом, и голова трясется, и глаза плохо видят. «Господина де Вольтера» бабушка теперь уже не так часто вспоминает. Пьер Жан тоже охладел к Вольтеру с тех пор, как прочел его «Орлеанскую девственницу». («И как мог Вольтер насмехаться над Жанной д'Арк, национальной героиней Франции, перед которой преклоняются все патриоты!» — возмущался юный Беранже.)

В Париже шумно и с первого взгляда весело. Но если всмотреться пристальней, то можно заметить, что лица у людей, особенно в предместьях, сумрачные, истощенные. Около хлебных лавок с вечера выстраиваются длинные очереди. Каждый боится, как бы не упустить свою дневную порцию — полуфунтовый ломтик хлеба. Дети умирают от голода. Нищие дежурят на каждом углу.

А на Елисейских полях в открытых ландо, в изящных фаэтонах катаются сытые нарядные барыни, нагло выставляя напоказ бриллианты, золото, меха, бархат и перья (таких не назовешь гражданками, не подходит к ним это слово!). Барыни эти — жены новоявленных богачей, нуворишей, как их называют в Париже, аферистов, спекулянтов, нажившихся на голоде народа. Противно смотреть на этот бесстыдный парад.

Пьер Жан сворачивает в сторону, бежит по незнакомой пустынной улице. Навстречу ему стая каких-то ряженых молодчиков. Ну и костюмы, ну и прически! Волосы на затылках выбриты, как у приговоренных к гильотине, а спереди взбиты и густо напудрены. (Эта прическа называется а-ля виктим{*Victime (франц.)* — жертва; имеется в виду жертва террора.} и особенно модна у парижских щеголей 1795–1796 годов.) Одеты они в серые четырехугольные фраки с желтыми или черными воротниками, как у шуанов{Реакционные повстанцы в Бретани.}, или совсем без воротников. И у каждого в руке суковатая дубинка вместо трости.

— Бей проклятых якобинцев! — горланят они, размахивая своими тростями-дубинами.

Пьер Жан слышал об этих «мюскаденах». Золотая молодежь, сынки нуворишей изображают из себя дворянчиков и забавляются охотой на якобинцев, избивают людей, бесчинствуют на улицах, и все сходит им с рук: полиция закрывает глаза на их разбой.

Во время своих прогулок Пьер Жан предпочитает не приближаться к Гревской площади. Там чуть ли не каждый день работает гильотина. Одного за другим казнят участников недавнего восстания против термидорианского Конвента.

Да, Париж уже не тот, каким мечтал увидеть его юный Беранже. Якобинский клуб наглухо заколочен. Статую Геракла, попирающего гидру, сровняли с землей. Замолкли голоса гигантов. И народ на площадях уже не пляшет «Карманьолу», не поет «Ça ira».

Правда, городские власти устраивают в дни республиканских праздников процессии, зрелища, танцы, но всем этим распоряжаются сверху; толпы народа уже не хозяева, а зрители на торжествах и парадах.

* * *

А дома постоянные ссоры. Мать не ладит с отцом; больная, раздражительная, она недовольна всем на свете, ко всем придирается по малейшему поводу. Достается и сыну.

— И на кого похож этот маленький увалень? Что за

воспитание! Что за манеры! Фи! Башмаки в пыли, голова растрепана. Пора бы принять, наконец, приличный вид, уже шестнадцать лет исполнилось!

Мать всячески старается пробудить в нем вкус к щегольству, к моде, но Пьер Жан не терпит щеголей, он с отвращением вздрагивает, вспоминая мюскаденов, их пустые, наглые глаза, манерную, сюсюкающую речь, шутовские наряды, суковатые дубинки.

Нет, он никогда, ни в чем не будет походить на них — ни в одежде, ни в мыслях, ни в поведении. Пусть его называют провинциалом, но никто не назовет его фатом и щеголем.

Мать отворачивается с пренебрежительной гримасой. Ей, модистке, которая всю жизнь шила на щеголих и мечтала о нарядах, о развлечениях, этот мальчишка непонятен. И в кого он только пошел? Ни в мать, ни в отца. Беранже де Мерси, несмотря на все глупости, которые он творил, всегда был изящен, любезен, обладал замашками аристократа, потому-то он и приглянулся ей… А сын? Она горестно вздыхает. Вот они, плоды воспитания провинциальной трактирщицы!

Ему так и не довелось найти общий язык с матерью. Болезнь все сильнее одолевала ее, а скоро и совсем подкосила. В 1797 году Жанна Беранже умерла, прожив всего около года под одним кровом с мужем и сыном.

Мать вздыхала над его манерами, отец не переносит его взглядов. При каждом удобном случае де Мерси норовит «перевоспитывать» сына, опять и опять долбит ему о «законных правителях» Франции, которые скоро вернутся, о «легитимной монархии», которая должна быть восстановлена.

Но если в политических спорах сын по-прежнему не сдает позиций отцу, то в практической жизни Пьер Жан принужден ему повиноваться и помогать. Это оказывается тяжелее всего.

Беранже де Мерси основал «дело», о котором мечтал со времени выхода из тюрьмы: открыл небольшую «меняльную» контору. Какими-то секретными путями ему удавалось добывать звонкую монету из Англии (англичане охотно помогали в те годы французским заговорщикам и дельцам с репутацией монархистов). Приплачивая за валюту два-три процента сверх установленного курса, новоявленный «банкир» все же оставался в выигрыше. Курс ассигнаций падал во Франции с каждым днем, и операции с обменом приносили немалые барыши.

Де Мерси сам удивлялся своим удачам и признавал, что в большой степени обязан ими сообразительности сына.

Пьер Жан с грехом пополам знал элементарные арифметические правила, но быстро научился считать в уме,

изобретал свои «способы» и скоро стал самостоятельно заключать финансовые сделки с клиентами отца. Первое время работа в конторе даже увлекала его, как новая игра, требовавшая умственного напряжения и сметливости. Ему нравилось чувствовать себя на равной ноге со взрослыми, слушать похвалы отца, давать ему советы.

Впрочем, он довольно скоро убедился, что разумные советы не идут отцу впрок. Легкомысленный и тщеславный, Беранже де Мерси любил пускать клиентам пыль в глаза и расшвыривал деньги, иногда безвозмездно ссужая их «друзьям»-аристократам. А они играли на его легковерии, так и охаживали его, так и подталкивали на новые безрассудства.

Пьеру Жану иногда хотелось заткнуть уши, чтоб не слышать разглагольствований отца. Как он заносится, как бахвалится, как рассыпается перед титулованными клиентами! Все больше и больше он напоминает сыну мольеровского Журдена, мещанина во дворянстве. Прямо из кожи готов вылезть, чтоб потрафить этим проходимцам, чтоб прослыть среди них «своим»!

Пьер Жан постоянно в беспокойстве и напряжении. Но самое горькое даже не это. Хмель первых удач, ребяческое увлечение игрой в финансиста быстро улетучились, и он начинает отдавать себе отчет, что работает не только на отца, на семью, но и на целую свору проходимцев-монархистов, которые трутся в конторе, шипят, клянчат, торгуются и замышляют заговоры. И его, республиканца, они пытаются затянуть в свои сети, опьянить, обморочить.

Каких только вымыслов и домыслов не пришлось наслушаться ему в этом финансово-политическом притоне! Тут околачивались не только роялисты, сторонники Бурбонов, но и приверженцы всяких других, порой фантастических претендентов на престол Франции — мелкие заговорщики и интриганы разных мастей. Но все они чем-то походили друг на друга, а вместе взятые удивительно напоминали стаю мелких хищников.

Как шакалы, лязгая зубами, подбираются они к самому лакомому куску — к звонкой монете. Запасшись ею, можно вцепиться в горло республике, пуститься на любые авантюры, на любое предательство, чтоб вернуть назад свои норы-поместья, чтоб повернуть все на старый лад и стать хозяевами положения.

Как они чванливы и как глупы! Послушать только старого франта шевалье де Ла Картери. Вот он присаживается к столу Пьера Жана, бесцеремонно кладет ему на плечо руку в перстнях и, обдавая запахом коньячного перегара и гнилых зубов, начинает сипеть над ухом о наследниках «железной маски»:

— Да, да, в Бретани живет дворянин де Вернон, законный

наследник первенца Людовика XIII, несчастного принца, погибшего в подвалах Бастилии…

Пьер Жан не искушен в истории Франции, но здравый смысл помогает ему увидеть нелепость этих бредней.

А Беранже де Мерси, глядя, как аристократические клиенты беседуют с его сыном, потирает от удовольствия руки. Он надеется, что они «перевоспитают» мальчишку, и как раз больше всего рассчитывает на влияние шевалье де Ла Картери.

Пьер Жан пытается отвести душу, сочиняя эпиграммы на виконтов-авантюристов, на выживших из ума приверженцев несуществующих династий. Эпиграммы получаются хлесткие, даже отец хохочет.

Смех помогает держаться юному Беранже, но не избавляет его от тревоги и горечи.

* * *

Еще чаще, чем аристократы, в контору заглядывали бедняки из окрестных кварталов. На заработанные тяжким трудом деньги рабочий человек не может прокормить семью. Ассигнации завтра же упадут в цене, и каждый старается скорее обменять их на монету.

Пьер Жан был бы рад помочь и этой прачке, высохшей от недоедания, — дома у нее куча детей, муж убит на фронте. И этому инвалиду, который снял с себя залатанную куртку, чтоб заложить ее в ломбарде, но ломбарды не берут бедняцких лохмотьев, и он принес куртку в меняльную контору, чтоб получить под залог хоть ничтожную ссуду. И сотням других исстрадавшихся людей. Тайком он одалживает беднякам понемногу из наличных денег конторы, делая это на свой страх и риск. Иногда выпрашивает у бабушки Шампи ее старые платья, чтоб сунуть их какой-нибудь обносившейся до дыр матери семейства. Но разве это помощь? Он понимает, что милостыней этих людей не спасешь, а постоянные мелкие ссуды только еще больше опутывают бедняка.

Здесь, в меняльной конторе, Беранже встретил тетушку Жари, пожилую швею, которая присутствовала при его рождении. Она знала деда и бабушку Шампи и покойную мать Пьера Жана.

Потом, когда Беранже поселится один, тетушка Жари часто будет заглядывать к нему — помогать штопать белье, убирать комнату. Она расскажет ему грустную историю своей жизни.

Лишь несколько ясных дней выпало ей в юности, а дальше сплошное горе…

Умирающий от чахотки муж снес их новорожденного ребенка в воспитательный дом. У нее не было молока, чтобы кормить малыша, в доме не было денег. Муж умер. Она, когда немного оправилась, хотела взять сына назад, но следы его затерялись. Начальство воспитательных домов не считало нужным уведомлять бедняков, где и как содержатся их дети.

Всю жизнь тетушка Жари искала сына. Она знала только его имя (его назвали Поль). Всю жизнь она надеялась, что найдет его, и мысленно представляла, какой он сейчас. Но увидеть его довелось ей лишь в предсмертном бреду: она приняла за своего сына пожилого доктора, который делал обход больницы, где она умирала.

Рассказ о жизни тетушки Жари Беранже через много лет поместит в своей «Автобиографии». По одному этому можно судить, какое значение придавал он встрече и дружбе со старой женщиной из парижского предместья, которая помогла ему глубже заглянуть в душу народа.

* * *

Как-то утром в конторе появились жандармы, перерыли все бумаги и увели отца. Незадолго перед тем полиция раскрыла очередной монархический заговор, и «роялистского банкира» (так называли Беранже де Мерси) заподозрили в участии и помощи заговорщикам.

Пока шло следствие, отец сидел в тюрьме, а все дела в конторе и вся ответственность за семью свалились на плечи семнадцатилетнего Пьера Жана.

Цифры плывут, скачут перед глазами. Голова болит все сильней. Уйти бы, убежать куда-нибудь на волю из этой полутемной комнатушки, где он сидит целыми днями, как паук… Но что будет с отцом, с сестрой, с бабушкой Шампи? И с теми людьми, которые доверили конторе свои деньги? Чувство долга связывает его по рукам и ногам. Он не может бросить эту опостылевшую контору и с лихорадочной энергией заключает все новые и новые сделки.

Отца скоро выпустили за недостатком улик. Он вернулся все такой же беззаботный, будто и не бывал в тюрьме.

— Ну и делец! Голова! — похваливал он сына, узнав, что тот в его отсутствие заключил сделок на 200 тысяч франков.

— Вот помяните мое слово, — говорил он приятелям, — этот мальчишка станет когда-нибудь первым банкиром Франции!

Но похвалы уже не радуют юношу, а легкомыслие отца все

больше раздражает. Пьер Жан предчувствует катастрофу и, по совести говоря, готов принять ее. Лучше разорение, чем дальше так жить!

Пьеру Жану не нужны ни богатство, ни роскошь, ни комфорт. Больше всего на свете он хочет одного: быть независимым, обладать чистой совестью и заниматься тем, к чему его тянет, а не работать по принуждению.

Он решил поселиться отдельно от своих, а в конторе выполнять лишь роль счетовода и не вмешиваться в дела, пусть отец сам отвечает за них!

А отец будто и не видит, что касса скудеет, что он на пороге разорения. Ему только бы покрасоваться, пошиковать в ресторане, с головой окунуться в пьянящую атмосферу «большой игры», погони за наслаждениями, которая царит в кругах «новых богачей», нажившихся на спекуляциях, на грабеже национальных имуществ, на жульнических поставках для армий, на аферах со звонкой монетой.

* * *

Франция еще называется республикой, но слова «республиканец», «патриот», «гражданин» уже совсем не в моде. Снова пошли в ход старые обращения: «мосье», «мадам». Хорошим тоном считается не казаться республиканцем.

В Париж толпами возвращаются бывшие эмигранты — аристократы, попы. А нувориши стараются во всем подражать «бывшим», женятся на герцогинях и графинях, скупают поместья, гербы, титулы — того и гляди призовут короля!

Вместе с большинством французов Пьер Жан ненавидит Директорию — лживых и распутных правителей Франции во главе с Баррасом, способным продать все на свете для своей выгоды — и принципы и родину.

Монархические заговорщики копошатся внутри самой Директории и во всех углах страны. Республика в опасности. Кто же спасет ее от монархистов, от внешних врагов и внутренних неурядиц?

Многие возлагают надежды на Бонапарта. Имя молодого полководца гремит во Франции и во всей Европе.

Беранже запомнил это имя еще с того дня, когда пушечные залпы возвестили о подавлении реакционного мятежа в Тулоне. «А сколько услуг республике оказал молодой генерал за прошедшие с тех пор годы!» — думает Беранже. Это он во главе республиканских армий разгромил коалиционные войска,

одержав блестящие победы в Италии и Австрии. Это он вывел на чистую воду изменника генерала Пишегрю, занимавшего один из важнейших постов в государстве и тайно продавшегося Бурбонам. И теперь, расширив границы Франции, Бонапарт заключил почетный мир.

Весть о мире встречена народным ликованием. Несметные толпы собрались 10 декабря 1797 года у Люксембургского дворца, где Директория во всем составе торжественно встречала Бонапарта.

Вскоре после того Пьеру Жану удалось увидеть победителя вблизи. Рядом с отелем Шантерен, где поселился Бонапарт в тот свой приезд, жил один из аристократических клиентов Беранже-отца, граф де Клермон. Пьер Жан как-то зашел к нему по делу и, выглянув в окно, увидел невысокого человека в сером сюртуке и треуголке, проходившего по аллее сада. Это был Бонапарт.

О чем думал этот человек с хмурым, бледным лицом, когда шел неторопливым шагом, заложив руки за спину? Ни юный Беранже, ни большинство французов не могли проникнуть в его мысли, догадаться о его намерениях.

Пьер Жан молча смотрел на Бонапарта. Потом обратился к графу Клермону:

— Какой великий воин!

— Да, но республика его убьет, если он не убьет республику, — ответил граф.

— Он провозгласит себя диктатором, — сказал Беранже.

— Это предсказание школьника, молодой человек. Для таких республик, как эта, достаточно нескольких взмахов метлы, чтоб очистить место законным государям.

— Уж не думаете ли вы, господин граф, что Бонапарт захочет играть роль дворника Бурбонов? — насмешливо спросил Беранже.

Именно на такую роль прочили Бонапарта заговорщики-роялисты. Этот генерал, мол, сковырнет республику, а «законные государи» тут как тут — сядут на трон.

Предположения Беранже были ближе к истине, но ему и в голову тогда не приходило, что Бонапарт, если он станет диктатором, окажется вовсе не защитником революции, а ее душителем.

* * *

Пьер Жан бредет по предместьям Парижа, путается в каких-то чужих улицах и переулках, даже не представляя себе, где он находится. Дальше!

Еще дальше! Лишь бы уйти, убежать от позора, не встречаться с теми, кто может схватить его за полу, закричать: «Ага! И ты виноват в моем разорении!»

Катастрофа, которую он предвидел, разразилась в 1798 году. Предприятие отца лопнуло. Касса пуста. Кредиторы подают в суд. Многие из них винят и младшего Беранже, хотя уже почти целый год, как он вдали от руководства делами.

И он и тетушка Мари Виктуар давно предсказывали такой исход. «Богатство твоего отца непрочно», — писала ему из Перонны тетка. Пьеру Жану ничуть не жаль этого богатства, но его угнетает мысль, что пострадала не только их семья, но и много других людей.

Приятели отца предлагали молодому Беранже взять денег в долг, попытаться спасти «дело». Он отказался.

Пусть они твердят о его талантах финансиста, ни за что и никогда он не вернется к денежным делам. Воспоминания о бирже, о сделках, о подсчетах отвратительны ему. Он все стерпит, только бы не кривить душой, не «ловчить», быть в ладу с самим собой.

Как жалеет он теперь, что не обучился типографскому делу! Ведь он мог бы стать хорошим наборщиком, если б захотел по-настоящему, если б занялся как следует изучением языка. А сейчас — к чему он пришел в восемнадцать лет?

Никакой специальности! Никакого образования. Неизвестно, чем и как зарабатывать на жизнь.

Он идет по лабиринту грязных переулков. Торопится, будто хочет нагнать что-то. Голова опущена, пальто забрызгано, ботинки промокли.

Талая вода бежит ручьями. В их гребешках сияет солнце, лужи ослепительно голубые. Весна. А он и не замечал ее!

Пьер Жан поднимает голову, удивленно щурит близорукие глаза, оглядывается вокруг. Оборванные мальчишки пускают в ручей бумажные корабли. На деревянное крыльцо выходит девушка и развешивает во дворе белье.

Весна! И он свободен и еще молод. Неужели это правда, что он навсегда освободился от этой проклятой конторы? И цифры уже больше не будут прыгать перед его глазами, сверлить мозг, заслонять солнце, небо, людей, песни?

«Жить одному и писать стихи, когда тебе вздумается, — да ведь это же настоящее блаженство!»

# МАНСАРДА

Неунывающий Беранже де Мерси выпутался и на этот раз. Кое-как поладив с кредиторами, вышел из тюрьмы и на остатки своего «состояния» открыл библиотеку-читальню на улице Сент-Никез. На себя он возложил «общее управление», а сыну поручил практическую работу, определив ему в помощники кузена из Перонны, веселого малого Форже. Помощник предпочитал втихомолку развлекаться в других местах, в то время как Пьер Жан усердно обслуживал читателей.

За работу отец дает ему гроши — хватает только на то, чтоб не умереть с голоду, но он и не претендует на большее, ведь отец сам теперь беден. Пьер Жан снял мансарду на седьмом этаже на бульваре Сен-Мартен. Ни печки, ни мебели. Хромой стол, два шатких стула да старая кровать. Крыша течет, от стен дует. Не беда! Зато никто не мешает ему, он может до позднего вечера сидеть у окна, любоваться на Париж, писать стихи, читать.

Книги! Они окружают Беранже, беседуют с ним, заменяют ему учителей, профессоров. Он хочет наверстать упущенное и наметил себе обширную программу. Ведь чтобы сделаться поэтом — а он твердо решил это для себя, — нужны не только способности и влечение к литературному делу, нужно знать его до тонкости, проникнуть и в свойства языка и в тайны стиля.

Язык и поэтика занимают главное место в его «программе». Он изучает их на живых образцах литературы. Но и учебники грамматики и теоретические труды тоже не обходит стороной. Понять особенности каждого жанра поэзии, в каждом жанре испробовать свои силы и в конце концов выработать собственную практическую поэтику — далеко идущие планы!

В знаменитой книге Буало «Поэтическое искусство» установлены «правила» для каждого жанра. Этими правилами руководствовались в XVII веке, им подчинялись поэты XVIII века.

Но ведь времена меняются, думает Беранже, почему же и теперь, как в век Людовика XIV, поэты уснащают свои оды мифологическими именами и сравнениями, боятся просторечья, избегают «слов-плебеев»? Конечно, Пьер Жан чувствует себя учеником и не осмеливается поднять руку на «скрижали» классицизма, незыблемые для стольких поколений. Но ему не по душе высокопарность и напыщенность. К чему напихивать в стихи жеманные перифразы, надутые олицетворения, мифологический реквизит? Не лучше ли называть вещи своими именами? В спорах, которые иногда завязываются в библиотеке, Пьер Жан отстаивает свои взгляды. Читатели старшего поколения обычно

привержены традициям и неодобрительно относятся к «дерзким» выпадам против них.

— Ну вот, если вы, например, хотите сказать в стихах о море, — обращается к Беранже пожилой любитель поэзии. — Как вы поступите в таком случае?

— Так и напишу «море», — отвечает Пьер Жан.

— Как? А Нептун, Борей, Фетида? Неужели вы с легким сердцем поставите крест на всем этом?

— Безусловно!

Старик укоризненно качает головой.

Среди прославленных поэтов прошлого Беранже привлекают те, которые умели сочетать великое с простым, с обыденным и, поднимаясь на Парнас, протягивали руку простому смертному, а не одним «избранным».

Он преклоняется перед великим Корнелем и Расином («Гофолию» Расина он еще в Перонне переписал несколько раз, чтобы понять, как построена эта трагедия), но предпочитает им Мольера. Мольер для него высший образец, «солнце поэзии». Только Лафонтен, по его мнению, в какой-то степени приближается к Мольеру. Лафонтена Беранже почти всего знает наизусть. А из прозаиков прошлых веков он особенно любит Рабле.

Античную литературу Беранже может читать только в переводе, так как не знает древних языков.

Это удручает его, ведь человек, не изучивший латыни и греческого, в глазах высокообразованной публики — ученых, писателей — всегда будет профаном, недорослем. Благо что на французский переведены некоторые шедевры античности. Беранже читает жизнеописания Плутарха, сатиры Ювенала, комедии Аристофана. Плутарх воспевает царей, полководцев, героев; Пьер Жан критически относится ко всем этим великим мужам, да и к самому Плутарху, «этому греку, не осмелившемуся признать ни политическое величие Демосфена, ни гений Аристофана».

Вот Аристофан — это настоящий друг народа. Беранже восхищается его комедиями. Прямо трудно поверить, что они написаны так давно — в V веке до нашей эры! И сейчас они живут и разят ложных мудрецов, надменных олигархов, мерзких «паразитов» новых времен.

А Ювенал! Появись бы такой поэт во Франции времен Директории, он нашел бы здесь не менее подходящий материал для сатиры, чем у себя в древнем Риме. Он сумел бы отхлестать нынешних предателей, распутников и грабителей, оседлавших нацию.

Пьер Жан проводит долгие часы у окошка своей мансарды за сочинением сатирических стихов. И пишет их не столько для овладения жанром, сколько по велению сердца. В «гневных александринах» он клеймит Директорию во главе с Баррасом.

Политическая сатира — один из первых жанров, которому отдал дань Беранже, начиная свой поэтический путь. К сожалению, ранние его опыты в этом жанре не сохранились.

* * *

Он вздрагивает и просыпается. Брр!.. Холодные мутные капли, просачиваясь сквозь щели в крыше, падают ему на лоб, на шею. Дождь! Надо передвинуть кровать, чтоб избегнуть в будущем таких душей. Поневоле вскочишь чуть свет! Пьер Жан быстро одевается, туже подтягивает пояс — ой, как хочется есть! «— и сбегает вниз по бесконечной темной лестнице, распугивая стаи голодных кошек. Из дверей уже доносятся смех, ругань, воркотня — дом просыпается. И предместье проснулось. Оно как будто и не засыпало: опухшие или осунувшиеся от недоедания лица прохожих выглядят как-то не по-утрен-нему хмуро. У дверей лавок очереди. Пронзительно кричат мальчишки-газетчики:

— Последние новости! Заседание Совета пятисот! Положение в Италии!

В Париже выходит более 60 газет — утренних и вечерних. Печатают их так быстро, что речи, произнесенные с трибуны, через два часа уже опубликованы. Но людям надоело читать о войне.

— Вот если б мы услышали о мире, газеты бы расхватали мигом, — говорит один из прохожих. — Войны да голод! Хватит с нас. Мы хотим такого режима, при котором едят. — Эти слова Пьер Жан постоянно слышит в предместьях.

— Директор Баррас небось жрет трюфеля, купается в винах вместе со своими дружками-казнокрадами, а тут трясись над хлебной коркой!

Да, думает Пьер Жан, дела идут все хуже. В то время как Бонапарт одерживает победы в Египте, русский генерал Суворов бьет французов в Италии, отвоевывая занятые Бонапартом земли. А в Бретани снова подняли голову шуаны. Все больше известий о гибели получают солдатские семьи. Матери без сыновей, жены без мужей, рабочие без хлеба, армия без сапог. Зато директор Баррас сыт и пьян. Успел растратить вместе со своими собутыльничками миллионы, которые Бонапарт добыл кровью французских солдат в Италии…

Дождик усиливается. Дырявые подошвы Беранже промокли. Ускорить шаг. Библиотека уже близко. Пока нет посетителей, можно спокойно почитать самому.

В тот день в библиотеке собралось много читателей. Человек тридцать сидели за книгами, когда дверь распахнулась как-то особенно порывисто:

— Вы слышали, господа, какая новость! Бонапарт вернулся из Египта* высадился во Фрежюсе и уже на пути к Парижу!

Читатели вскакивают с мест все, как один.

— Ура! Виват!

Книги захлопываются. Скорее на улицу! Может быть, в газетах уже есть подробности?

* * *

Бонапарт без всяких предупреждений вернулся во Францию, твердо решив захватить власть, и быстро достиг своей цели. Через три недели после его высадки во Фрежюсе, 18 брюмера (9 ноября 1799 года), был совершен государственный переворот.

С помощью своих сторонников — заговорщиков и преданных ему войск — Бонапарт без особого труда разогнал Совет пятисот. Напуганная Директория под давлением событий сама подала в отставку. Без промедления было образовано временное правительство из трех консулов, и первый из них, Бонапарт, стал диктатором в стране.

Переворот не вызвал протеста и возмущения в народе. Почва была уже подготовлена. Директорию ненавидели. К тому же во Франции в это время не было ни одной достаточно авторитетной, опирающейся на широкие круги партии. Большинство якобинцев было гильотинировано, сослано в колонии или внутренне сломлено, деморализовано. Рабочие и городская беднота не имели политических руководителей.

Голодные, обнищавшие массы города и деревни хотели одного — хлеба и спасения от грабителей-спекулянтов. Буржуазия требовала сильной власти и уповала на железную руку Бонапарта. А роялисты продолжали втайне рассчитывать, что новый правитель, удушив республику, расчистит путь для возвращения Бурбонов.

Все с надеждой обращали взоры к Бонапарту. «Молодежь, в восторге от славы молодого консула, готова была выполнять его намерения и не думала даже спрашивать, каковы они», — вспоминал потом Беранже.

Девятнадцатилетний Пьер Жан, как ему казалось, «вместе со

всей нацией» рукоплескал государственному перевороту. «Наконец-то Франция поднимется, выбравшись из той бездны, в которую ввергла ее Директория», — надеялся он.

В первые месяцы после переворота Беранже подумывал: не уехать ли в Египет, где оставались части французской армии? Уж очень туго ему приходилось, совсем обносился, изголодался. Может быть, в чужом краю удастся стать на ноги? Но не поехал, не смог поставить крест на всех надеждах, мечтах, планах, отказаться от занятий поэзией, в которых видел смысл жизни. И все осталось по-прежнему — читальня, мансарда, урчащий от голода желудок, головные боли и непрестанный ежедневный подвиг труда, воли, напряжения всех духовных и физических сил.

* * *

Как-то в зимние сумерки Беранже зашел погреться к отцу (он теперь редко заглядывал туда) и встретил в его доме графа де Бурмона и еще двухтрех роялистов, знакомых ему со времен работы в меняльной конторе. Они сидели у камина и о чем-то спорили приглушенными голосами. «Неужели снова конспирируют и втягивают в свои заговоры отца?» — подумал Пьер Жан.

С его появлением разговор затих; по лицам собравшихся было видно, что единодушия среди них нет. Все недовольно косились на графа де Бурмона, который вскоре откланялся.

Через несколько дней, 3 нивоза (24 декабря 1800 года), Пьер Жан шел вечером по улице Сент-Никез в читальню. Мимо него промчалась закрытая карета. Он нагнулся, чтобы счистить с подола брызги, как вдруг раздался грохот, улица впереди вздыбилась, и резкий порыв откуда-то налетевшего вихря отбросил Беранже, сбив его с ног. Когда он вскочил, дым уже рассеялся. На мостовой в нескольких шагах от него лежали тела убитых и раненых. Если б он вышел на несколько секунд раньше или шел немного быстрее, он тоже лежал бы здесь, стал бы одной из жертв неудачного покушения заговорщиков на жизнь Бонапарта.

Да, в карете, проехавшей мимо Беранже за десять секунд до взрыва адской машины, сидел первый консул. Карету повредило, но она не остановилась. Кучер, нахлестывая лошадей, домчал своего седока до здания Оперы, и Бонапарт с непроницаемым лицом направился в ложу.

В тот же вечер полицейские ищейки стали рыскать по Парижу в поисках виновников покушения. Бонапарт подозревал

якобинцев. Их одного за другим бросали в тюрьму по списку, составленному министром полиции Фуше. И даже когда выяснилось, что покушение было организовано роялистами, заключенных якобинцев не освободили; без всякой вины и без всякого суда их отправили на каторгу или в ссылку в Гвиану, откуда редко кто возвращался назад.

Роялисты пострадали меньше. Казнили лишь непосредственных виновников — Карбона и Сен-Режана, а граф де Бурмон уцелел. Беранже де Мерси не был в числе заговорщиков, но, по-видимому, был осведомлен об их планах. Полиция взяла под наблюдение квартиру бывшего «роялистского банкира».

— Да, если по богатству банкира можно судить о богатстве партии, — говорил Беранже, — то банкротство ее неминуемо.

* * *

Он сидит у окна и обдумывает план пасторальной поэмы. Осторожный стук в дверь нарушает тишину. Кто это? Может быть, тетушка Жари? Она иногда заглядывает к нему вечерком, справляется по поводу розысков сына Поля: Беранже помогает ей вести их. А может быть, кто-нибудь из друзей?

Нет, перед ним молодая девушка; по близорукости и от неожиданности он не сразу узнает ее.

— Ха-ха-ха! Не ждал? Ну что ж, принимай гостью!

Она развязывает ленты шляпки, сбрасывает накидку, быстрым взглядом окидывая его чердачок. Круглое лицо ее разрумянилось, кудряшки задорно взбиты, глаза так и мечут искры.

Это Аделаида Парой, его кузина из Перонны. Она старше Беранже на два года и раньше всегда казалась ему взрослой и недосягаемой. Недавно она приехала в Париж, чтоб устроить здесь свою судьбу, и нанялась продавщицей в лавку. Пьер Жан уже не раз встречался с ней в читальне, куда Аделаида заходила поболтать с ним. Живая, кокетливая, она не прочь испробовать на маленьком кузене свои чары. О чем-нибудь серьезном она едва ли помышляет. Можно ли связывать свою судьбу с таким бедняком? Да и собой он неказист и здоровье никуда. Отец его, глядя на тощую фигуру сына, покачивает головой: «Не жилец ты на этом свете». А он только улыбается в ответ. Несмотря на болезни и нужду, Пьер Жан никому не докучает жалобами, всегда весел и остроумен. Может быть, это и привлекло к нему хорошенькую кузину.

Она усаживается на шаткий стул и перебирает листки рукописи.

— Стихи? Наверно, про любовь?

Ну что ж, по этому вопросу она могла бы дать неплохие советы. Они ему пригодятся, не правда ли? Он краснеет. Она смеется. Потом они смеются оба. На прощанье он с удовольствием целует ее руку. Какая она мягкая, душистая!

И это не в последний раз. Аделаида навещает его еще и еще. Визиты ее затягиваются… Любят ли они друг друга? Едва ли. То, что их связывает, во всяком случае, не похоже на ту большую любовь, о которой Беранже знает по книгам и рассказам.

И дружбы между ними нет. Ей далеки его мечты и планы. Она только удивляется, почему он не поищет работы повыгоднее, чем кропанье стишков, которых никто не печатает. Беранже-отец ей гораздо понятнее и ближе, чем этот чудак, нищий поэт.

Связь их порвалась бы безболезненно для обоих, но дело осложнилось. Аделаида ждет ребенка. Она прекрасно понимает, что в теперешнем его положении Пьер Жан никак не годится на роль главы семьи. Себя и то едва может прокормить. К тому же его в любую минуту могут взять в солдаты.

В январе 1802 года Аделаида родила сына. Его назвали Фюрси Парон. Она не собиралась с ним нянчиться и с благословения Беранже-старшего, который взял под покровительство хорошенькую племянницу и обещал вносить плату за ребенка, отдала новорожденного в деревню кормилице, а сама поселилась у дядюшки в качестве его домоправительницы. Визиты ее на чердачок к кузену прекратились. Отчуждение между ними постепенно превращалось у Аделаиды в глухую вражду к Беранже. Он чувствовал это и стал еще реже наведываться к отцу. Тяготило его и то, что он у отца в долгу и неизвестно, когда сможет расплатиться с ним.

Да, тревог у него более чем достаточно! Пришел срок призыва в армию. Пьер Жан патриот и с радостью бы отдал жизнь за Францию. Но нужны ли Франции те войны, которые затевает первый консул? К тому же он, Беранже, не годится в солдаты по здоровью. Если он пойдет на призывной пункт, его там наверняка забракуют. Ну что ж, тогда он сможет с чистой совестью оставаться в Париже, продолжать свои занятия поэзией. Но тут возникают новые трудности, препятствия, сомнения: если его освободят от военной службы, отец, владелец читальни, человек с имущественным цензом, должен поставить на его место другого рекрута. А у отца нет на это денег. «Ты меня совсем разоришь», — стонет он.

Что же делать?

«Успокоив свою совесть тем, что я решительно был не способен к военной службе, я нашел только одно средство избавить отца от издержек, связанных с рекрутчиной: я не внес себя в списки подлежащих призыву, что тогда было еще возможно. Но, поступив так, я ставил себя под угрозу почти неизбежного ареста», — читаем мы в «Автобиографии» Беранже.

Пьер Жан каждый день теперь может угодить в тюрьму — власти строги к уклонившимся. Одно обнадеживает его: от недоедания, головных болей, напряженных трудов он выглядит гораздо старше своих лет. Лицо совсем потеряло юношескую округлость, вместо щек — впадины, и ко всему на голове появилась заметная лысина. Встречая на улице жандарма или полицейского офицера, Беранже широким жестом снимает шляпу и раскланивается. Его окидывают равнодушным взглядом и проходят мимо, не проверяя документов. Может ли блюстителям порядка прийти в голову, что этот лысеющий, изможденный человек едва достиг призывного возраста? Сколько еще лет придется ему приветствовать таким образом встречных жандармов!

И все-таки он не стал мрачным нелюдимом, забившимся в свою нору. Приступы тоски, которые порой находят на него, Беранже скрывает от друзей, как постыдную слабость. Он учится побеждать свои горести, возвышаться над ними. Природная жизнерадостность и общение с людьми, близкими по духу, такими же молодыми бедняками, как он сам, помогают ему в этом.

* * *

За колченогим столом сидят три друга. Все трое бедно одеты, худощавы, все трое чуть-чуть под хмельком и очень веселы. На середине стола возвышается одинокая бутылка, она почти пуста: дешевое белое вино разлито в глиняные кружки.

Хозяин мансарды и запевала дружеского кружка Пьер Жан Беранже самый худой и самый веселый из троих.

Второй — на вид помоложе и порозовее — быстро подхватывает острые словца Пьера Жана и хохочет, закидывая вверх кудрявую голову. Это Бенжамен Антье, тоже начинающий поэт; он оттачивает свое перо преимущественно в «легких» комических жанрах: сочиняет водевили и застольные песенки, вечно спешит и всегда голоден.

Третий — бледный, длинноволосый и не очень говорливый — музыкант Гийоме Бокийон, или Вильгем, — так он подписывает

свои композиции, так называют его друзья.

Вытянув тонкую шею и устремив вдаль глаза, он как будто прислушивается к чему-то, что слышно ему одному, но это не мешает Вильгему прекрасно слышать, что говорится здесь за столом, смеяться и петь вместе с друзьями. Он с удовольствием кладет на музыку песни, которые сочиняют Беранже и Антье, а на жизнь зарабатывает уроками.

Как и Беранже, Вильгем называет себя сыном республики. Вместе с тремя сотнями сирот и детей бедняков он рос и воспитывался в национальной школе, помещавшейся в старинном замке. Не хватало ни обуви, ни еды. Он вспоминает, как зимой 1793 года они отогревали дыханием замерзшие оконные стекла, чтоб поглядеть, не везут ли для школы муку. И какая была радость, когда ее привозили! Нет, они не оставались без хлеба, республика, как могла, заботилась о них.

Учителем музыки в национальной школе был старый барабанщик папаша Гетт. У старика не хватало времени, чтоб отдельно заняться с Вильгемом, но он поощрял пыл и рвение способного ученика.

— Бери самоучитель, бери флейту — и дуй! — говорил папаша Гетт. И Вильгем «дул», и в конце концов что-то получалось! Он научился наигрывать на всех инструментах и однажды в весенний день с пятью франками в кармане и великими надеждами в душе отправился пешком в Париж к композитору Госсеку. Композитор прослушал его и принял в ученики!..

— За песни и музыку! — провозглашает очередной тост Беранже. Друзья сдвигают «бокалы» и делают по нескольку глотков. Торопиться не стоит, все равно на вторую бутылку нет денег. Они больше хвалятся своим пристрастием к вину, чем пьют на самом деле. Послушать их песенки, так можно подумать, что они осушают его бочками, а на деле довольствуются одной бутылкой. Но зато с каким пылом они чокаются!

Следующий тост: «За Францию без трона!» Нет, они вовсе не политические заговорщики, эти молодые бедняки; и, увы, не от них зависит ход событий во Франции, которая совсем потеряла республиканское обличье. Теперь уже ни для кого не секрет, что первый консул, закрепивший за собой это звание пожизненно, скоро сделает следующий шаг — прямиком к трону. Поэтому тост, предложенный Беранже, ох-ох, как попахивает «крамолой»! Но в тесном своем кружке они могут позволить себе редкое по тем временам удовольствие — говорить, что думаешь, быть таким, каков есть на самом деле. Здесь можно отдохнуть от цензоров и менторов и от всяческих античных котурн, которые

нынче в такой чести.

Засилье античной бутафории в политической жизни и в искусстве бесконечно раздражает Беранже.

— Консулы, трибуны, префекты, пританеи, лицеи — все эти слова как будто состоят в заговоре против нового мира, порожденного 1789 годом, — говорит Пьер Жан. — Самое гибельное дело — это борьба против нового мира!

Где-нибудь в другом месте над горячими его речами, вероятно, посмеивались бы, а кое-кто и донес бы, куда положено, но друзья не смеются, они согласны с ним.

Может быть, оппозиция их и не очень глубока. Эти юноши, как и большинство французов, оглушены громом побед Бонапарата, ослеплены блеском французской славы. Им ли поднимать голос против покорителя Европы? Но они не станут слагать ему дифирамбы. Они предпочитают воспевать не богов и полубогов, а простых смертных и напыщенным речам всегда предпочтут свободную шутку.

«Свободная шуточка» — так и назовет одну из своих песенок Пьер Жан.

Где же, где наш вольный пыл?
Где наш дух народный?
Всю веселость иссушил
Славы луч бесплодный.
Чем лечиться, гражданин?
Знаю я рецепт один:
Шуточкой свободной,
Шуточкой свободной!

Часто они собираются всей компанией у доктора Мелле на улице Бельфонд; к ним присоединяются молодые художники — Герен и Эврар, и вместе с семьей доктора (у него жена и две хорошенькие дочки) молодежь превосходно проводит время.

Мелле не обычный доктор. По утрам в его доме слышны жалобы, кашель и кряхтенье, по утрам он лечит больных. А по вечерам на весь дом звенит смех здоровых. Здесь друзья собственными силами разыгрывают маленькие водевили, здесь за обеденным столом исполняют свои новые песенки Беранже и Антье. Тощий Вильгем садится за фортепьяно и, вытянув шею, подыгрывает им. А потом начинаются танцы — дочки доктора любят потанцевать.

Доктор Мелле иногда добывает для Беранже заказы — планы комедий или водевилей для любительских спектаклей — все-таки хоть и небольшой, а заработок!

— Эх, если б я был обеспечен, — говорит Беранже друзьям, — я, кажется, занялся бы только сочинением песен!

Песни, свободные, как эти ласточки, что стремительно проносятся за его окном, песни, неподвластные цензорам и менторам, фривольные, лукавые, озорные, гораздо ближе его сердцу, чем надутые оды, плаксивые идиллии, слащавые пасторали, тяжеловесные поэмы — все эти высокомерные дщери привилегированных «высоких» жанров поэзии. А именно над высокими жанрами должен он терпеливо корпеть, если хочет приобщиться к числу поэтов и получить признание.

Песенки можно сочинять для друзей, может быть, изредка удастся сунуть одну-другую в какой-нибудь альманах, но это не дает ни денег, ни имени. Песенки ведь не имеют прав поэтического гражданства. На французском Парнасе к ним относятся свысока, как к бедным родственницам, как к нечиновным плебеям, обреченным вековать в подвальных этажах литературы, издавна отведенных теоретиками и законодателями вкусов для «низших жанров». На сочинение застольных песенок смотрят как на забаву, не требующую большого искусства; их сочиняют обычно мелкие писаки, ремесленники. А Беранже хочет стать настоящим поэтом.

* * *

Дружба, любовь и веселье — эта нераздельная триада царит в песенках молодого Беранже. И во главе ее всегда стоит дружба — истинное богатство бедняка. Без дружбы — Пьер Жан уверен в этом! — нет ни настоящего веселья, ни настоящей любви. Конечно, он не противник любовных утех, неразлучных с молодостью, и пылко воспевает их. Но лишь в соединении с дружбой любовь к женщине может превратиться для него в большое и прочное чувство.

«Я никогда не смотрел на женщину ни как на жену, ни как на любовницу, а это часто делает ее рабою или тираном, но видел в женщине подругу, дарованную нам богом», — напишет он в «Автобиографии». И Беранже нашел такую подругу.

Ее зовут Жюдит Фрер. Он познакомился с ней еще в детстве. Приятельница его бабушки мадам Редуте иногда приводила с собой маленькую родственницу, дочь кондитера. Эта синеглазая девочка была немного старше Пьера Жана, но охотно играла с ним. Как-то раз Жюдит навестила его в пансионе Шантеро. После того он много лет не видел ее. Она оставалась в Париже, он жил в Перонне.

Вторичное их знакомство состоялось в 1796 году. Пьер Жан встретился с Жюдит у одной из своих теток и в первую минуту не узнал ее. Вместо худенькой девочки с косичками перед ним — статная девушка. Ей было тогда восемнадцать лет. Застенчивый Пьер Жан не решался поднять на нее глаза:

О боги, как она красива!
А я… а я — такой урод!

Вдоль нежных щек ее вьются каштановые локоны, движения плавны. А голос! Мягкий, глубокий, звонкий, чарующий! Никто из его родных и друзей не пел так, как она.

Загруженный работой в отцовской конторе, Пьер Жан редко встречался с Жюдит. Но потом, когда переселился в мансарду и стал свободнее распоряжаться своим временем, он иногда прохаживался по улице, где она жила, и не раз стоял на другой стороне, напротив ее окна, ожидая, не выглянет ли она, оставив на минутку свое шитье.

Жюдит давно уже сирота (родители ее умерли, когда она была еще ребенком). Чтоб зарабатывать на жизнь, она изучила ремесло швеи и очень искусна в нем, но ее интересуют не только фасоны платьев, всякие там бантики и оборочки. Она много читает, любит музыку; родители, а потом опекунша сумели дать ей неплохое образование. У Жюдит есть вкус к поэзии, с ней можно разговаривать, не боясь остаться непонятым. И она добра и так внимательна к Пьеру Жану. Он гордится ее дружбой, гордится тем, что она серьезно смотрит на его поэтические опыты, верит в его будущее, это так важно для него!

Жюдит не из тех, кто завязывает мимолетные любовные связи, она совсем не похожа на маленьких гризеток, которые с легкостью и быстротой могут упорхнуть от одного к другому. Беранже ничуть не осуждает этих изменчивых и своенравных перелетных пташек, если они бескорыстны и правдивы в своих чувствах: он видит их своеобразное очарование и охотно делает их героинями своих песенок (любимая его героиня Лизетта — из их числа!).

Жюдит совсем другая — строгая, недоступная. И все-таки некоторыми сторонами — теми, которые он особенно ценит в человеке, — она близка его Лизеттам и Жанеттам: своей независимостью и жизнерадостностью, гордостью и стойкостью, бескорыстием и чудесной любовью к песне.

После разрыва с Аделаидой Беранже все чаще стал видеться с Жюдит, искал встреч с ней, искал у нее душевной поддержки. Потом, вспоминая о первых днях их любви, он напишет песенку

«Как она красива»:

О боги, как она красива,
А ей всего лишь двадцать лет!
И губы пухлы, точно слива,
И у волос каштана цвет.
И сложена она на диво,
И этого не сознает.

О боги, как она красива!
А я… а я — такой урод!

О боги, как она красива!
И все же — чудо! — я любим.
Она покоится стыдливо
Под взором пламенным моим.
Любовь была ко мне ленива,
Но вот настал и мой черед.

О боги, как она красива!
А я… а я — такой урод!

В самые трудные дни его жизни Жюдит приходит к нему, протягивает ему руку. И это не порыв, не мимолетное увлечение. Это стойкое чувство, любовь и дружба нераздельны в нем.

# ПОИСКИ САМОГО СЕБЯ

Часы давно заложены в ломбард, панталоны светятся на коленках. Рубашки настолько обветшали, что все три давно бы расползлись в клочья, если б не искусные руки Жюдит, которые неустанно чинят их. По утрам Беранже с трепетом обследует свои дырявые башмаки: прослужат ли еще день? А дальше? Что будет завтра?

Он подходит к столу, ворошит рукописи. Поэмы, пасторали, идиллии (песен он не записывает, они роятся в голове, но всерьез он работает только над «высокими» жанрами). Сколько напряженных часов, дней, месяцев ушло на сочинение, обработку, переписку двух эпических поэм «Потоп» и «Восстановление культа»! Трудно счесть. И все же — он прекрасно понимает это — обе его поэмы, хоть они и вымерены и отшлифованы и как будто отвечают всем правилам и требованиям поэтики, чрезвычайно далеки от совершенства… Но, может быть, в них теплится хоть искорка таланта? Кто же разглядит ее, кто поддержит? Рискнет ли хоть один издатель вынуть из кармана деньги, чтоб напечатать стихи безвестного начинающего поэта? Гордость не позволяет ему становиться в позу просителя, околачиваться у дверей влиятельных лиц, пытаясь заинтересовать их своей персоной и своими стихами. Он просто возьмет свои поэмы, запечатает их в конверт и, сопроводив небольшим письмом, пошлет… Кому же? Он сидит, охватив голову руками. Потом решительно берет перо и пишет на конверте: «Сенатору Люсьену Бонапарту».

Младший брат первого консула известен не только как политический деятель и красноречивый оратор, но и как покровитель изящных искусств. Он и сам пописывает. В 1799 году вышел его роман под живописным заглавием «Индейское племя, или Эдуард и Стеллина», сочиняет он и стихи. И что больше всего привлекает Беранже, младший Бонапарат слывет убежденным республиканцем.

Люсьен Бонапарт выдвинулся на политическом поприще еще в ранней молодости, при Директории. В 1798 году двадцатитрехлетний политик занял высокий пост — стал президентом Совета пятисот. Республиканские убеждения, однако, не помешали ему помочь старшему брату в совершении переворота 18 брюмера.

В критическую минуту именно председатель Совета пятисот отдал войскам приказ разогнать непокорных депутатов, которые не пошли навстречу притязаниям Наполеона. А потом, когда депутаты разбежались кто куда, Люсьен по совету Наполеона

велел организовать за ними погоню, и солдаты буквально за шиворот притащили перепуганное меньшинство Совета, которое после таких передряг немедленно проголосовало за принятие новой конституции.

Захватив власть, первый консул продолжал выдвигать младшего брата. Но, к досаде и удивлению Наполеона, Люсьен оказался гораздо более норовистым, чем другие его братья. Он то и дело перечил, фрондировал и продолжал твердить о своей преданности республике (после того как сам же помог Наполеону вцепиться ей в горло!).

Этот упрямец собственными руками портил свою карьеру, выкидывая неожиданные фортели. Женился, не посоветовавшись с первым консулом, не спросив его разрешения. И на ком же? На вдове биржевого маклера. По любви. Но ведь он прекрасно знал, что Наполеон собирался сочетать его с принцессой крови и посадить на какой-нибудь из тронов Европы. Нет. Люсьен определенно срывал политические планы старшего брата и не выказывал никакого желания «образумиться», развестись со своей маклершей.

Наполеон гневается, а Люсьен стоит на своем!

* * *

Вот уже два дня прошло, как Пьер Жан послал сенатору по почте свои поэмы. Придет ли когда-нибудь ответ? Пока что Беранже никому не говорит об этой попытке. Жюдит и та ничего не знает.

Январский вечер. В маленькой комнатке Жюдит тепло и уютно. Потрескивают дрова в камине. Беранже задумчиво всматривается в язычки пламени, а Жюдит раскладывает на столе карты, искоса поглядывая на своего друга. Чем он так взволнован? Что у него на душе?

— Слушай, да послушай же, наконец, что я тебе скажу!

Он не верит в карточные гаданья и все-таки с улыбкой прислушивается к ее словам:

— Письмо! Ты получишь письмо, и оно принесет тебе радость! — шутливо-торжественным тоном возвещает Жюдит. — Интересно знать, сударь, от кого вы ждете письмеца! — грозит она ему тонким пальцем, исколотым иголкой.

Ну, конечно, Жюдит хочет ободрить его. Карты ведь постоянно предвещают письмо, дорогу или исполнение желаний; жаль, что редко предсказания эти совпадают с тем, что ждет тебя в жизни! И все-таки от звонкого голоса Жюдит, от ее смеха на

душе у Пьера Жана становится веселее. Жюдит прямо-таки волшебница.

Наутро, проснувшись в своей мансарде, он, как всегда, осматривает башмаки и панталоны. Новые дыры! Придется взяться за иглу, благо что он, внук портного, знает, как обращаться с ней. За починкой он складывает стихи. Строки выходят какие-то унылые, мрачные… Вдруг дверь открывается, и привратница протягивает ему конверт, надписанный незнакомым почерком.

«Стихи, иголка, панталоны — все разом исчезло. Я был так взволнован, что не смел распечатать письмо… Наконец трепещущей рукой ломаю печать: сенатор Люсьен Бонапарт прочел мои стихи и желает меня видеть».

Скорей, скорей одеться — и на прием к сенатору! И тут снова перед глазами возникают игла и не-дочиненные дыры на панталонах. Что надеть? Нельзя же появиться во дворце оборванцем!

В костюме с чужого плеча, взятом напрокат у старьевщика, Беранже появляется в приемной сенатора.

Люсьен Бонапарт, человек небольшого роста, с энергичным лицом, слегка напоминает по внешности первого консула. Только нет той четкости профиля, гой непроницаемости взгляда. Движением руки сенатор приглашает Беранже присесть.

Да, да, он прочел обе поэмы. Эпическая поэма — это как раз тот жанр, который нужен для героического времени. Пусть господин Беранже и дальше совершенствует свое перо в высоких жанрах. Как отнесется он, например, к теме «Смерть Нерона»? Читал ли он древних? О, изучение античных классиков необходимо для молодого поэта. Именно здесь следует искать образцы для подражания. Не так ли?

Беранже краснеет и бледнеет. До чего же трудно ему сознаться перед сенатором в том, что он читал Гомера и Аристотеля, Вергилия и Ювенала только в переводах, но не изучал ни латыни, ни греческого! Кажется, признать себя виновным в каком-нибудь тяжком преступлении и то было бы легче.

Под конец беседы сенатор обещает поэту позаботиться о его судьбе.

Беранже выходит из приемной, окрыленный надеждами, хоть он и смущен своим незнанием латыни и немного ошарашен заданной темой. Сказать по совести, его совсем не тянет погружаться в переживания коронованного лицедея, прославившегося в веках своими мерзостями, и разглагольствовать обо всем этом в высоком стиле. Муза его явно

противится тому, чтоб ее рядили в античную тогу.

Вскоре Беранже получил еще одно письмо от Люсьена Бонапарта, на этот раз не из Парижа, а из Рима. В письме была доверенность на получение жалованья академика, которым мосье Люсьен не пользовался со дня своего избрания в члены Французского института. За три года накопилась порядочная сумма — три тысячи франков. Право получения жалованья (тысяча франков в год) по доверенности передавалось Беранже и на будущее.

Наконец-то он сможет расплатиться с долгами и в первую очередь рассчитаться с отцом! А на остаток денег он купит башмаки с толстыми подошвами, что-нибудь из одежды и уж, конечно, устроит с друзьями «пир на весь мир»!

Через несколько месяцев сенатор появился в Париже и снова пригласил к себе Беранже. Поэма «Смерть Нерона» была уже почти закончена; автору казалось, что в ней есть несколько неплохих мест.

К огорчению его, именно эти места вызвали замечания сенатора, показались ему излишне смелыми.

Расхаживая взад и вперед по зеркальному паркету, мосье Люсьен с привычным красноречием рассуждает о преимуществах испытанных классических форм в литературе. Вот хотя бы поэт-академик Делиль. Сколько живописности и изысканности в его творениях! Переводы Вергилия — божественные «Георгики» послужили Делилю блестящей школой. Что скажет об этом молодой поэт?

Сенатор с любопытством посматривает на своего собеседника.

Ого! Да он, оказывается, не из робкого десятка, этот маленький Беранже! Не боится идти наперекор господствующим мнениям и вкусам, не боится перечить сановным особам!

Беранже отдает должное мастерству Делиля — переводчика древних, но он не поклонник од и дифирамбов.

— В их напыщенных красотах есть что-то мертвое, фальшивое и опасное для французской поэзии! — говорит он. — Нам нужны стихи, противоположные манере Делиля, такие, где мысль развивается без надутой риторики, ясно и точно.

Он читает сенатору отрывки из собственных стихов, в которых, как ему кажется, он сумел избежать ложных прикрас.

Вот, например, строки о событиях современной истории:

…И солнце, обозрев с высот края земные,
Увидит во дворцах династии иные,
И гибель их узрит — династий и дворцов… —

горячо произносит Беранже и вдруг умолкает. Не перехватил ли через край? Читает стихи о гибели дворцов и династий, сидя во дворце на приеме у одного из представителей новой династии… Нет, ничего.

На лице сенатора все та же любезная улыбка. Ему нравится, что стихи написаны в добротной классической манере. Пусть Беранже и впредь присылает ему свои опыты. Он познакомит молодого поэта со старшими собратьями по перу, введет его в артистические круги.

Сдержать свои обещания мосье Люсьену не довелось. По-видимому, во время этой беседы он еще не предполагал, что надолго расстанется с Францией и следующая встреча его с Беранже отодвинется более чем на десять лет.

* * *

Строки стихов Беранже о новой династии не были поэтическим вымыслом. 2 декабря 1804 года под звон колоколов всех парижских церквей в соборе Нотр-Дам состоялась коронация Наполеона. Для совершения этой церемонии в Париж прибыл папа Пий VII. По старинным традициям глава католической церкви должен был собственноручно увенчать короной, принадлежавшей Карлу Великому, нового французского императора.

Но в самый торжественный миг, когда папа медленно приподымал тяжелую корону, Наполеон неожиданно вырвал ее из рук его святейшества и вопреки традициям надел на свою голову сам. Растерянному Пию VII пришлось сделать вид, что все совершилось, как положено.

Звонят колокола, гремят оркестры. В свите императора шествуют короли многих европейских стран, вельможи, государственные мужи, маршалы. Среди этих знатных особ немало родственников императора. Только непослушного Люсьена не видно здесь. Ссора его с братом еще больше углубилась, и Люсьен предпочел удалиться из Франции в добровольное изгнание.

Празднества в честь коронации идут несколько дней. На бульварах гулянье, на площадях под музыку пляшет молодежь, театры переполнены, во дворцах пируют, поэты срочно изготовляют помпезные оды во славу империи.

Беранже сидит в своей нетопленной мансарде. Ох, как болит

у него голова от всего этого шума и звона! Как трудно смириться с мыслью, что республика больше не существует!

«Я оплакивал республику не чернильными слезами, со многими знаками восклицания, на которые так щедры поэты, но слезами, которые душа, жаждущая независимости, проливает в действительности при виде ран, нанесенных родине и свободе… Мой восторг перед гением Наполеона нисколько не уменьшал моего отвращения к его деспотическому режиму», — читаем мы в автобиографии Беранже.

* * *

Поворачивается тяжелое колесо истории, перемалывая то, что еще недавно казалось людям нерушимым и прочным.

Вместо республики — самодержавная империя. Вместо былых статуй свободы в Париже и других городах Франции воздвигают изваяния самодержца. Скоро вырастет та одной из парижских площадей надменная Вандомская колонна, слитая из чугуна и стали трофейных орудий.

Отбрасывая мечтания о равенстве и братстве, империя возводит усовершенствованную иерархическую лестницу чинов и титулов, званий и состояний. А санкюлоты снова барахтаются в самом низу, придавленные неимоверной тяжестью.

Вместо революционного патриотизма растет и раздувается национальная спесь. Империя ловко наигрывает на струнах народных чувств!

Наполеон стремится искоренить в народе память о революции. Пусть забудут о ней и другие народы, подвластные Франции. Республики срочно превращены в королевства.

В придачу к золотой французской короне император возлагает на свою голову вторую — железную миланскую, оказывая тем «особую честь» жителям этого королевства. А в прочих подвластных Франции королевствах на престолы посажены подручные Наполеона, его родственники, его вассалы. Он может переставлять их, как пешки на шахматной доске.

Все оглушительнее треск барабанов. Все новые рекруты становятся под ружье. Идут, идут. От Ла-Манша к Дунаю. От Сены к Эльбе. Идут, чтоб оросить своей кровью чужеземные поля, поля битв и побед империи.

1805 год — Аустерлиц. 1806-й — Иена. Европейские коалиции разгромлены. Австрия и Германия у ног победителя. Кто там еще смеет идти наперекор? Гремит слава императорских орлов, несется по всему свету, оглушая прежде всего самих

французов.

Затихла в стране борьба партий. Умолкли политические споры. Число газет и журналов сократилось до предела, цензура бдительно надзирает за их благонадежностью. Лучшим чтением для подданных империи считается официальная правительственная газета «Монитер», где публикуются указы, военные сводки и придворные новости.

И на Парнасе Наполеон стремится установить военные порядки, железную дисциплину. По-прежнему в чести высокие классические жанры, особенно оды. Но если во времена революции образцом для политиков и писателей была республиканская античность, то теперь они держат равнение на цезаристский Рим. Республиканский дух преследуется и вытравливается повсюду. Всяческое свободомыслие в опале. Излишний либерализм опасен для империи.

Еще во времена Консульства из Франции была изгнана писательница Жермена де Сталь, осмелившаяся в своем трактате «О литературе» поднять голос против деспотизма, дерзнувшая задеть Наполеона. Вслед за ней выслан и ее друг, либеральный писатель Бенжамен Констан.

Писатели-монархисты вызывают у властей меньше опасений, на них смотрят снисходительнее, чем на либералов и республиканцев. Вот, например, Шатобриан, аристократ, роялист, бывший эмигрант, благополучно вернулся во Францию в самом начале нового века. Его трактат «Дух христианства» полон ненависти к просветительству, к революции. Что ж, это на руку империи, это помогает ей бороться против якобинской «крамолы».

Трудно дышать и расти в этом разреженном воздухе молодым поэтам. Трудно найти свою тропу, заговорить своим голосом, не поддаться муштре, не омертветь душой.

* * *

После отъезда из Франции Люсьена Бонапарта Беранже послал поэму «Смерть Нерона» другу бывшего сенатора, писателю Антуану Арно.

Автор нескольких драм в классическом духе и сатирических басен, Арно приобрел литературное имя еще в годы республики. Люсьен Бонапарт в бытность свою могущественным сенатором привлек Арно в министерство внутренних дел на должность заведующего отделением народного образования. Гуманный и просвещенный писатель был здесь на месте. И все же

благоволения Наполеона он не сумел снискать. На него бросала тень близость с мосье Люсьеном.

Как раз те качества Антуана Арно, которые вызывали угрюмые подозрения у Наполеона, приходились больше всего по сердцу Беранже.

Тон письма молодого поэта, чуждый лести, полный достоинства, понравился Арно. Прочитав поэму «Смерть Нерона», он пригласил к себе автора.

И вот они беседуют, сидя в просторном кабинете. Хозяин с интересом присматривается к гостю, гость — к хозяину. Они совсем не похожи друг на друга. Один — плотный, осанистый, на вид лет около сорока, в хорошо пригнанном к полнеющей фигуре форменном мундире. Другой — худощавый, подвижный, в длиннополом мешковатом сюртуке, наверно, с чужого плеча. Возраста на первый взгляд неопределенного. Голова лысеет, но голубые глаза глядят молодо, весело, смело.

Да, разница ощутительная — и в положении, и в костюме, и в наружности.

Но скоро собеседники устанавливают, что есть у них и нечто сближающее. Оба восхищаются Лафонтеном и совсем не в восторге от прославленных одописцев прошлого и современности. Оба чуждаются людей, которые с завидной легкостью способны менять свои взгляды и убеждения.

Общий язык найден. Встречи становятся все чаще, беседы непринужденнее. Старший собрат по перу охотно дает советы младшему. Они не так категоричны, как советы Люсьена Бонапарта, вкусы Арно несколько шире, но и этот советчик не открывает перед молодым поэтом новых горизонтов. Арно направляет его по тому же обкатанному пути привычных традиций. Собственный путь Беранже придется искать самостоятельно, прислушиваясь к голосу своей музы, дочери французского народа, обладающей, по признанию самого поэта, вкусами вполне современными.

Но если дружба с Арно не открыла перед Беранже новых творческих дорог, она все же помогла ему в жизни.

Антуан Арно ввел Беранже в литературные круги Парижа и, что было очень важно, обещал ему подыскать службу. Академического жалованья господина Люсьена, которое Беранже продолжал получать, не хватало на жизнь, да к тому же оно могло быть в любой день отнято у него.

Друзья познакомили Беранже с художником Ландоном, предпринявшим выпуск художественных изданий, так называемых «Анналов музея». Это были сборники гравюр и

штриховых рисунков с картин и статуй Луврского музея. К рисункам требовались пояснительные тексты, за составление их и взялся Беранже. Статьи его, как и других сотрудников «Анналов», печатались без подписи, анонимно. Работа поглощала уйму времени: приходилось рыться в справочниках, изучать мифологию, историю искусств, целые часы проводить в библиотеках и в музее, чтоб написать небольшую заметку.

Но Беранже не сетовал на это. Он любил Луврский музей, гордился собранием сокровищ искусства, которыми владела его родина. Луврский музей чрезвычайно вырос и пополнился в последние годы. Туда поступали захваченные сокровища побежденных стран. После египетского похода открылся новый, египетский отдел музея. Из Италии было вывезено немало великолепных античных статуй и живописных полотен эпохи Возрождения.

Пьер Жан ходил по тихим залам Лувра и не уставал любоваться и изумляться. Для долгих бдений перед созданиями бессмертной красоты у него не хватало времени, но все-таки он приобщился к ним, сжился с ними за время своей работы в «Анналах».

Плата за работу была невелика — 1800 франков в год, но если присоединить сюда жалованье академика, то получалась сумма, достаточная для того, чтоб прожить самому без голода и унижений и даже помочь родным. При скромных его потребностях Беранже казалось, что он прямо-таки богач. Можно, наконец, отдохнуть от штопки дыр, от грызущего беспокойства о завтрашнем дне. У него появился собственный, недорогой, но зато прочный сюртук, который он старательно чистит по утрам. Пьер Жан помогает теперь и отцу, и бабушке Шампи, и сестре Софи, и тетке Шампи, с которой живет сестра. Опека немалая!

И он строчит, строчит об Аполлонах и других античных божествах, о библейских персонажах и о художниках разных времен. Конечно, он устает, хоть и не жалуется на это никому. В часы досуга от работы для «Анналов» он снова пишет, но это уже для себя. Он шлифует свои поэмы и пасторали, отчеканивает каждую строчку. И все же — что скрывать! — он, как и прежде, совсем не в восторге от своих творений.

Порой ему хочется сжечь все эти густо исписанные листы бумаги, корпя над которыми он истратил столько драгоценных часов жизни, молодости. Ну, какой он поэт, если после стольких трудов не смог до сих пор создать ничего значительного!

Об этих приступах тоски и внутреннего разлада знает, может быть, только одна Жюдит. И она умеет вовремя прийти на помощь. Жюдит верит в него, и не на словах! Она действительно

не сомневается в том, что он выбьется, победит, достигнет вершин.

Трудиться, трудиться и не вешать голову — это ее девиз.

Нет, он не вешает голову, он смотрит в ее синие глаза и подхватывает песню, которую запевает она. Жюдит чудесно поет все его песенки, а их нельзя петь с мрачной миной. И он улыбается. Смех! Как помогает он жить и верить в жизнь!

На людях Беранже почти всегда весел. Никому и в голову не придет, что у этого остроумного, жизнерадостного человека на сердце кошки скребут.

* * *

Сотрудники «Анналов музея» не теряли времени. За два года выпущено тринадцать томов. Издание заканчивается, а вместе с ним и заработки Беранже. Постоянной службы все нет и нет. Опять ему придется влезать в долги, штопать дыры и поднимать свой дух, прославляя в застольных песенках преимущества бедняков перед богачами.

Несколько его песенок напечатано в каком-то новогоднем сборнике, их пристроил туда отец без ведома самого автора. Первое появление в печати нисколько не радует Беранже. Песенки эти не из лучших, он не придавал им никакого значения и не удивился, что они потонули в море других. Имя его осталось незамеченным. Его путают с однофамильцем, подвизающимся на том же поэтическом поприще. Есть два Беранже — один в Париже, другой в Лионе, но ни тот, ни другой не блещет.

Пьер Жан вовсе и не собирался выступать в печати с песенками. Другое дело, если б удалось опубликовать серьезные поэтические труды! Он пытался сделать это. Собрал все свои пасторали, написал к ним красноречивое вступление, обращенное к Люсьену Бонапарту, и предложил рукопись издателям. Но лица издателей и цензоров вытягивались и замыкались после первой же страницы вступления — дальше они читать не хотели, имя опального Люсьена действовало на них, как пугало. Не помогли и рекомендации Арно. Сборник был отвергнут.

Может быть, испробовать свои силы в драматических жанрах? Беранже надеется, что Мольер и Аристофан вдохновят его, выведут из пыли древних гробниц, из тупика, в который завели его эпические и пасторальные поэмы.

В который раз перечитывает он великих мастеров комедии. Мольер для Беранже — «солнце поэзии»; великолепен и предшественник Мольера — Реньяр, мастер легкого остроумного

диалога.

Вдохновившись, Беранже набрасывает планы пяти комедий и над двумя из них тотчас же начинает работу. В первой он собирается высмеять нравы жрецов науки, риторов и менторов, драпирующихся в античные тоги, в другой, под названием «Гермафродиты», он ударит по женоподобным, сюсюкающим щеголям. С юности сохранил он ненависть к мюскаденам.

Комедии он, конечно, напишет в стихах.

Строки множатся, автор тщательно отделывает их, но действие толчется на месте, конфликты не развиваются с достаточной энергией. Беранже ясно видит это, придирчиво перечитывая несколько написанных актов и сравнивая их с великими образцами. Нет, кажется, драматург из него не выйдет! Наброски комедий летят в дальний ящик, где хранится целая груда незаконченных его произведений.

* * *

Ему уже недалеко до тридцати, а до известности, до признания, кажется, будто еще дальше, чем было в двадцать лет. Каким легким и приятным представлялось ему ремесло писателя, когда он поселился в мансарде на бульваре Сен-Мартен! Быть свободным и писать стихи — остальное приложится, так думалось ему тогда. И стихи лились сами собой; он не представлял еще себе, какие требования ставит перед поэтом собственное его стремление к мастерству. Не предвидел и тех трудностей, тех ограничений свободы творчества, какие возникают при деспотическом режиме.

А теперь чем глубже он погружается в работу, чем пристальнее изучает высокие образцы, тем неумолимее становится его взыскательность к себе.

Учиться у мастеров прошлого, но не делаться их подражателем, найти свой путь, заговорить своим голосом. Удастся ли ему когда-нибудь достигнуть этого?

Не отдавая себе в том ясного отчета, молодой поэт движется в своем творчестве сразу по двум дорогам. Главная из них — до поры до времени он уверен в том, что она для него главная! — это проторенная многими поколениями, образцово расчищенная и подстриженная аллея высоких жанров, классических традиций. Все здесь размерено, расчерчено, высчитано, предуказано. Не отклоняйся в сторону! Берегись нарушить чинный ритуал! Но какой же она стала скучной, плоской, казенной, эта когда-то цветущая гордая аллея! Не гиганты Мольеры и Расины шагают по

ней. Нет! В начале XIX века здесь семенят эпигоны Делили и Лебрены. Та ли это самая аллея? Не сбились ли уважаемые современники Беранже с настоящего пути? Но где же он, верный путь современного искусства?

Беранже ищет. Может быть, Шатобриан, имя которого уже гремит во Франции, укажет ему этот новый путь?

Беранже читает велеречивый трактат «Гений христианства», читает повести Шатобриана «Атала», «Рене», со страниц которых встает разочарованный герой, бегущий от современности в дикие леса Нового Света. Шатобриан отвергает культ разума, воздвигнутый просветителями, и с красноречивым пылом проповедует культ веры, возвеличивает и прославляет поэзию религиозного таинства.

Пьеру Жану с его республиканской закваской, с его трезвостью и жизнерадостностью подобные идеи враждебны. Но во время приступов тоски, порой одолевавших его в те трудные годы, начитавшись Шатобриана, он даже пробовал захаживать в церкви, выбирая часы, когда они были пусты: а вдруг на него найдет религиозное озарение? Оно не находило. Беранже написал Шатобриану. Шатобриан не откликнулся. И вылазки молодого поэта в область мистики прекратились, не оставив никакого следа, кроме нескольких плохих стихов, которые заброшены в самый дальний угол его ящика с неудавшимися опытами. «Разум остался хозяином в доме», — говорил Беранже. Впрочем, он и не пытался всерьез становиться на шатобриановский путь, слишком этот путь был чужд ему, не переносившему позы и фразы, с детства скептически относившемуся к обрядам. Пьер Жан всегда считал непростительной глупостью кичиться верой, которой у тебя нет, выставлять напоказ фальшивые драгоценности (наверное, он подозревал, говоря об этом, что и Шатобриан не слишком-то верующий!).

Итак, новый и настоящий путь все еще не найден. Спотыкаясь и вздыхая, Пьер Жан продолжает плестись по торжественной аллее классических традиций. Задумывает поэму из времен Жанны д'Арк, набрасывает план монументальной эпической поэмы об основателе древней галльской империи Хлодвиге, пишет пасторали, идиллии. Перед поэтом маячат книжные образы, пыльные гробницы, а его так и тянет к сегодняшнему, живому, простому, близкому!

Где-то там, по обочинам парадной аллеи высокой поэзии, вьется, блуждает, теряясь в нехоженой траве, веселая песенная тропка. И он то и дело выбирается на нее; здесь можно освежиться, размяться, отдохнуть от приступов тоски. Нет, нет, это только на время, это невсерьез, он вовсе не собирается

покидать главную аллею. Застольные песенки — это же просто забава! Но именно здесь, на песенной тропке, он чувствует себя самим собой, может хоть на время обрести то чувство независимости, которое необходимо ему как воздух.

Только на песенной тропке — пусть ненадолго — освобождается он от груза наболевших вопросов: как выстоять, как сохранить свое достоинство в эпоху деспотизма? Вопросы оставались неразрешенными, но они как бы отодвигались, отходили в сторону перед лицом дружбы, любви и веселья.

Ведь есть же на свете доброта, и смех, и мирные естественные радости, по которым так изголодались люди, оглушенные барабанным боем, утомленные непрестанными жертвами на алтарь воинствующей империи!

Простые человеческие радости не умирают даже в самые тяжелые времена, думает Беранже. Это драгоценное достояние неподвластно деспотам и собственникам, оно дороже всех богатств мира. Владея им, любой бедняк становится богаче богача, счастливей и свободнее власть имущих. И больше того — как раз среди неимущих живут, растут и хранятся во всей своей красе, правде и чистоте истинно человеческие чувства. Собственность, чины, привилегии душат, убивают, грязнят дружбу, любовь и веселье.

Эти мысли воплотятся в его песнях.

Создавая свою философию противостояния жестокому миру, он приникает к источникам народной поэзии — здесь исстари живет дух народа, задорный, веселый, истинно французский! И Беранже чувствует себя одним из его носителей. Пусть молодой поэт считает, что песни — это только отдых, а не главное его дело, — именно на песенной тропе складывается его миросозерцание, проявляется истинный его характер с присущими ему жизнерадостностью, лукавым юмором и колкой иронией.

Революционные песни, которые восхищали Пьера Жана в дни отрочества, теперь умолкли, они под запретом, и молодой Беранже лишен возможности обратиться к их традициям. Нет, он не забыл их, но времена не те. А вот застольные песенки вне сферы политики, их не преследуют, и они вновь возродились и ожили в годы империи.

В песенках Колле, Панара и других родоначальников «Погребка», знаменитого песенного содружества XVIII века, в «легкой» поэзии Парни, старшего современника Пьера Жана, слышались мотивы, которые влекли молодого поэта; в них пробивался тот задорный галльский дух, который был так близок Беранже.

«Замечательно, что подобные произведения родятся обыкновенно в эпоху деспотизма, — напишет потом Беранже. — Ум наш испытывает такую потребность в свободе, что когда он лишен ее, то прорывается через границы наименее защищенные, рискуя залететь чересчур далеко в своей независимости».

Обращение к легкой поэзии с ее эротическими мотивами, тяготеньем к веселой непристойности, воспевание мирных радостей означало своеобразный протест против деспотизма, торжествующей военщины, против цензоров и всяческих блюстителей благолепия, против всего помпезного стиля империи.

Из легкой поэзии Беранже почерпнул первоначальное представление об эпикуреизме. Конечно, он им не удовольствовался и попытался глубже проникнуть в суть учения знаменитого древнегреческого философа о человеческом счастье. В системе жизненных и нравственных взглядов молодого поэта эпикуреизм приобрел новое, демократическое толкование. Не человек вообще, некий просвещенный мудрец, а неунывающий бедняк (санкюлот, как сказали бы во время революции), стойкий и чистый душой обитатель трущоб, чердаков и хижин по-настоящему способен наслаждаться жизнью с ее простыми, «естественными радостями». Бедняк, плебей и притом «истый француз» становится носителем высшей мудрости и подлинного счастья, центром песенной вселенной Беранже и ее героем.

Он сочиняет песню за песней, но все еще не хочет признать это серьезным делом; ведь за него берутся преимущественно ремесленники и дилетанты, которые пишут по трафарету, кое-как. Чтоб убедиться в этом, стоит только перелистать песенные сборники начала XIX века: «Альманах сердец», «Репертуар любовников», «Букет любви», «Посланец любви», «Портфель любящих» и так далее в том же духе. Печатаются в таких сборниках наряду с традиционными песенками всякие ремесленные поделки сомнительного вкуса: песенки-финтифлюшки, песенки-«тюрлюрлетки», сахарно-чувствительные, гривуазные, двусмысленные, а иногда и откровенно непристойные и к тому же откровенно бесталанные. Правда, встречаются среди песенников и люди, не лишенные таланта, но их продукция тонет в море дешевого варева.

Нет, нет, Пьер Жан не собирается стать профессиональным песенником, он вовсе не думает сворачивать с утрамбованной аллеи высокой поэзии!

И так продолжается много лет: движение по двум дорогам, которые все никак не сольются в одну, свою собственную, определившуюся.

# «МОНАСТЫРЬ БЕЗЗАБОТНЫХ» И НОВЫЕ ЗАБОТЫ

Позвякивают колокольчики почтового дилижанса. Не спеша проплывают мимо поля и рощи. Знакомая дорога! Теперь она не кажется Беранже такой бесконечно длинной, как в детстве. И дилижансы стали двигаться быстрее, и время как будто ускорило свой ход. Особенно летит оно, когда сочиняешь по дороге стихи!

Вот уже виднеется впереди крепостной вал, поросший травой, — любимое место прогулок перонннских школьников. Сюда взбегал когда-то юный республиканец и, замирая от волнения и восторга, прислушивался к отдаленным пушечным выстрелам, возвещавшим о победах революционных армий…

Перонна. В напряжении и сутолоке парижской жизни Беранже не забыл этого маленького городка. Не забыл и свою воспитательницу тетушку Мари Виктуар и друзей, которые остались там. Он постоянно переписывается с Кенекуром, а с тех пор, как кончилась работа в «Анналах», он то и дело приезжает погостить в Перонну.

Как-то он приехал сюда на традиционный праздник типографов, который ежегодно справлялся в Перонне в день св. Иоанна, слывущего покровителем печатников. Среди рабочих типографии Лене есть еще некоторые из товарищей его юности. И Пьер Жан остался для них «своим парнем», хотя и носит теперь сюртук, а вместо белесых вихров на голове его светится солидная лысина, прикрытая парижским котелком.

Долой котелок! На его месте водружается бумажный колпак, а потертый сюртук надежно прикрыт передником подмастерья. Преобразившийся, сияющий Пьер Жан, окруженный рабочими, выступает с большим букетом в руке. Поздравительные куплеты уже подготовлены по дороге:

Надел колпак я и передник…
Почтенье, дядюшка Лене!
Ваш ученик и собеседник
Не позабыл об этом дне.

Куплеты поются на знакомый старинный мотив, и участники торжества быстро и дружно подхватывают припев:

Если в сердце дружба
Запечатлена —

Напечатать нужно,
Что велит она!

Воздев глаза к потолку, Беранже с шутливым пафосом обращается к небесному патрону типографов:

Святой! Вернуть меня ты вправе
К наборной кассе… Ведь давно
Искусство это близко к славе,
Меня кормило бы оно!

Каждый приезд Беранже в Перонну превращается в праздник песни. Родные и друзья наперебой приглашают его.

Выпрыгнув из дилижанса, он тотчас же попадает в объятия Кенекура. И дом, и сердце, и кошелек школьного друга всегда открыты для Беранже. На вид Кенекур все такой же скромный, смирный, ангелоподобный. Все так же тихо покашливает и удивленно округляет голубые невинные глаза. Но сколько живого юмора таится в нем!

Это Кенекур основал в Перонне песенное содружество; по предложению Лене они назвали его «Монастырь беззаботных». Кенекур — приор «обители». Остальные шестеро ее членов — равноправные «братья-иноки». Каждый из них получил прозвище.

Весельчак — так окрестили в «обители» Беранже. Брат Потисье, ключарь монастыря, всем известный забияка и упрямец, носит имя Азинар, что означает Ослятя. Балагур Лене, приобщивший когда-то Беранже к тайнам стихосложения, славится выдающимися способностями к застольным бдениям и соответственно наречен Полуштофом. Вихрастый Болье, обучавший Беранже наборному делу, не уступает Лене в застольных доблестях и зовется в обители Кутилой. Дефранс, не раз выручавший приятелей в затруднительных денежных обстоятельствах, приобрел прозвище Благодетель.

Иногда на песенные сборы «Монастыря беззаботных» приезжает поэт Антье, парижский приятель Пьера Жана. Его прозвали в обители Желанным.

На этот раз Пьер Жан приехал один. Антье не смог выбраться, он спешно строчит новый водевиль для одного из бульварных театров.

— Надо зарабатывать, особенно если собираешься жениться, — посмеивается Беранже.

Глядишь, скоро все члены обители станут женатыми! У Кенекура тоже есть прехорошенькая невеста мадемуазель Жюли.

Беранже всегда шлет ей приветы в письмах к другу.

Гурьбой они идут к дому Кенекура, здесь обычно останавливается Пьер Жан, здесь происходят сборы «братьев» и их застольные «бдения».

Длинный стол весь уставлен яствами и питиями. «Приор» и его домашние постарались не ударить в грязь лицом. И вот уже играет вино в бокалах, поднятых для приветственного тоста.

Сходки братьев-песенников начинаются с исполнения куплетов, сочиненных Беранже в честь основания содружества:

Мы братством беззаботных
Свой монастырь зовем.
Сбираемся охотно
Обычно вшестером.
Тут заповедь одна:
Садись и пей до дна!

Обычай установлен:
Кто хочет к нам вступить —
Под нашей мирной кровлей
Обязан петь и пить…

К каждому своему приезду и отъезду брат Весельчак готовит новые куплеты для «обители». Песни собственного сочинения (любой из «братьев» сочиняет их!) чередуются в застольном круге со старинными народными. Есть такие старые песни, которые не блекнут, не ветшают.

Разве исчезли в нынешнем веке красотки? Разве они менее обольстительны, чем те, которых славили певцы прошлых веков? И та же страсть в сердцах современных юношей. И так же страдают влюбленные в разлуке. Живы и доблесть, и задор, и остроумие — лучшие качества французов.

Не исчезли и невзгоды, о которых поется в старых народных песнях: гнет, унижения, голод. А войны? А деспотизм?

И все-таки наперекор всем бедам и смертям бедняк не разучился смеяться, не потерял вкуса к радостям жизни!

Сегодня Беранже в первый раз пропоет друзьям свою новую песню, она называется «Беднота», или «Нищие».

Кенекур стучит по столу: «Внимание!»

И Пьер Жан начинает:

Хвала беднякам!
Голодные дни
Умеют они

Со счастьем сплетать пополам,
Хвала беднякам!

Это не простая застольная импровизация, в этой песне — заветные мысли Беранже. В этой песне он сам, его стремление выстоять во что бы то ни стало, его гордость бедняка и его поиски счастья. Он сам и вместе с ним множество других таких же неимущих, от лица которых бросает он вызов тучным обитателям чертогов:

Вы сыты докучною одой,
Ваш замок — мучительный плен.
Вольно ж вам! Живите свободой,
Как в бочке бедняк Диоген!

Легендарная бочка мудреца Диогена и мансарда парижского бедняка противостоят пышным дворцам. Костыль и сума Гомера дороже золота и воинской славы. Собственность — это ярмо, это постылый и докучный плен. С ней несовместимы спокойствие духа, веселый смех, истинное счастье.

Эта песня — своеобразный манифест молодого Беранже. Здесь впервые с блеском, с задором он провозглашает свой демократический эпикуреизм, свою философию противостояния миру собственников и деспотов.

Впоследствии песня «Беднота» с ее поэтизацией нищеты вызовет отповедь преемников Беранже, поэтов Парижской коммуны. «Нищие — счастливый народ! Только уж не говорите им этого, — с укором скажет Жюль Валлес. — Если они поверят, они не станут бунтовать, они возьмут в руки посох и суму, а не ружье».

Критика Валлеса хотя и справедлива, но одностороння. Да, песню «Беднота» нельзя назвать революционной. В ней нет призывов к борьбе, но молодой поэт уже развертывает здесь свое знамя демократизма, проводит линию размежевания двух лагерей — неимущих и собственников, и заявляет о том, что истинная человечность на стороне неимущих, к которым принадлежит он сам.

* * *

1809 год начался для Беранже с траура. От апоплексического удара умер отец. Средств на похороны не было. Все свое

достояние де Мерси завещал любимой племяннице Аделаиде Парон, которая последние годы вела его хозяйство. Аделаида не пожелала взять на себя хотя бы часть погребальных расходов. С какой стати? У покойного есть сын, пусть он и позаботится о похоронах.

Она смотрит на Беранже с нескрываемой враждебностью, видя в нем претендента на доставшееся ей наследство. А вдруг станет оспаривать завещание, затеет судебный процесс?

Беранже, конечно, не думает заводить тяжбу, хотя и возмущен поведением Аделаиды. Он взял в долг у Кенекура, чтоб похоронить отца, а на остатки занятых денег купил на распродаже имущества, затеянной наследницей, старые часы покойного в память о нем.

«Что бы я делал без вас? — пишет Пьер Жан Кенекуру. — Весь в долгах. Что за будущее? Как! Неужели всегда придется мне зависеть от других!»

Вместе с сестрой Софи он наносит траурные визиты родственникам. Софи, худенькая, скромная, вся в черном, похожа на монашку, она и хочет уйти в монастырь. Как Беранже ни отговаривает ее от этого шага, девушка упрямо стоит на своем: видно, боится быть в тягость брату. Ведь он еле перебивается, даже за квартиру заплатить нечем. Не сняв траура, вынужден сочинять веселенькие куплеты к предстоящему карнавалу, чтоб хоть немного заработать.

Неужели он так и не выбьется и все мечты его разлетятся прахом?

«Ах, мой друг, напрасно я стараюсь рассеяться, отвлечься, — пишет Беранже тому же верному Кенекуру, — годы идут. Скоро будет потеряна всякая надежда…»

Но об этих его горьких мыслях не должен подозревать никто, кроме самых близких. «Не показывайте это письмо нашим друзьям, — тут же спохватывается Беранже, — не то они усомнятся в моей веселости».

Да, он дорожит своей репутацией Весельчака и постарается оправдать ее, несмотря ни на что.

«Изгнать печаль еще важнее, чем изгнать бедность», — говорит он. Помогает ему в этом Жюдит.

— Ничего не потеряно. Трудись. Поэзия — твое призвание, — твердит она, вторя тому внутреннему голосу, который не умолкает в нем самом.

Весной 1809 года Беранже пишет песню «Мое призвание». Хилый и некрасивый герой песенки затерт жизнью.

Грязь в пешего кидают

Кареты, мчася вскачь;
Путь нагло заступают
Мне сильный и богач.
Нам заперта дорога
Везде их спесью злой.
Я слышу голос бога:
«Пой, бедный, пой!»

Беранже пропоет эту песню друзьям в «Обители беззаботных». Они поймут и не осудят брата Весельчака за горькие ноты, прорывающиеся сквозь юмор.

Содружество провинциальных песенников становится для него трибуной и оплотом. Здесь впервые получили признание любимые его герои.

Вот один из них, вооружившийся против всех невзгод веселым смехом, маленький человек под хмельком:

Как яблочко, румян,
Одет весьма беспечно,
Не то, чтоб очень пьян —
А весел бесконечно.
Есть деньги — прокутит;
Нет денег — обойдется,
Да как еще смеется!
«Да ну их!» — говорит,
«Да ну их!» — говорит.
«Вот, — говорит, — потеха!
Ей-ей, умру,
Ей-ей, умру,
Ей-ей, умру от смеха!»

Как похож герой этой песенки на молодого Беранже! И каморка на чердаке та же — с дырявой крышей, с зимним холодом. И одежда та же и веселость, которая не изменит до конца. Перед смертью, когда поп будет сулить ему ад кромешный, герой-бедняк раскатисто захохочет:

Ей-ей, умру от смеха!

А вот еще один, из того же стана неунывающих:

Всю жизнь прожить не плача,

Хоть жизнь куда горька…
Ои ли! Вот вся задача
Бедняги-чудака.

В наследство от отца-республиканца бедняге-чудаку досталась шляпа, украшенная когда-то трехцветной кокардой. И он не станет ломать ее перед знатью. Он горд и весел, несмотря на всю скудость своего достояния.

Жизнерадостным беднякам из песен Беранже под стать их подруги, молоденькие гризетки из парижских предместий — швейки, модистки, продавщицы: веселые и стойкие, насмешливые и ветреные, дерзкие и нежные — Марго, Жанетты, Колетты… И во главе этой щебечущей стайки — Лизетта, любимая героиня Беранже, спутница всей его песенной жизни, которая будет расти, мудреть, изменяться вместе с автором, но никогда не потеряет жизнерадостности и бескорыстия.

Беранже не выдумал своих героев и героинь, они живут рядом с ним, ссорятся в своих каморках, а потом целуются, как голуби; трудятся от зари до зари, страдают от безденежья и голода, но все же поют и смеются. Он не выдумал, а открыл их, типизировал и ввел в песенную поэзию, воплотив в них собственные скорби и радости, любовь к жизни и стремление выстоять, сохранив внутреннюю независимость.

* * *

После долгих хлопот и ожидания Беранже получил, наконец, скромную должность экспедитора в университетской канцелярии. Ректор университета Фонтан, несмотря на все лестные рекомендации Антуана Арно, не очень-то благоволил к Беранже и всячески оттягивал зачисление его в штат. Вместо обещанных двух тысяч в год Беранже назначили одну. Он не слишком огорчен и утешает себя тем, что служба оставит ему силы и время для занятий поэзией.

— Держись, друг, — шутливо приговаривает он, чистя по утрам свой старый сюртук.

Будь верен мне, приятель мой короткий,
Мой старый фрак, — другого не сошью…

Он обязательно сложит песню о старом фраке и его обладателе. И это будет одна из лучших его песен, но над ней

придется порядком потрудиться. Постепенно и песенки он начинает так же тщательно шлифовать, как поэмы. Сколько превосходных, никем не початых сюжетов встает перед его глазами и просится в песни! Он учится, не уходя от прозы жизни, переплавлять ее в поэзию (это получается у него лишь на песенной тропе, а не в чинной аллее высоких жанров!). И он уже отлично научился — и в жизни и в песнях — побеждать мелкие невзгоды смехом.

В воскресенье, 3 декабря 1809 года, в соборе Парижской богоматери должна состояться торжественная месса в честь возвращения Наполеона из Вены. У Беранже есть, входной билет, но нет подходящего костюма. Старый фрак еще держится, а вот с панталонами дело хуже. Он сочиняет шутливое письмо в стихах другу Вильгему:

Пять королей сберутся в храме
Хвалу всевышнему гнусить,
Меня, надеюсь (между нами),
Не позабудут пригласить.
Рубашка чистая готова,
Чулки и галстук сменены,
И фрак есть черный, хоть не новый, —
Но где парадные штаны?
…
Вильгем, ты щедр, всегда радушен,
Ты чуток к горестям чужим.
Ты — сам бедняк — великодушен
И не найдешь меня смешным.
Судьбы коварство мне знакомо,
В деньгах мы оба стеснены…
Не можешь ли остаться дома
И мне отдать свои штаны?

* * *

Вернувшись со службы, он обычно погружается в свои рукописи, забывая обо всем.

Так было и в один из январских дней 1810 года.

Стук в дверь и раздраженный женский голос, донесшийся с лестницы, заставили Беранже вскочить. Он распахнул дверь и увидел какую-то незнакомую крестьянку, а рядом с ней мальчика лет семи-восьми.

— Это вы будете мосье Беранже?

— Да, что вам угодно?

— Ох, наконец-то я вас разыскала! Примите своего сынка. Я его кормилица, привезла мальчишку из деревни, а мамаша его, госпожа Парон, отказались принять сынка к себе, говорят: «Веди к отцу». Дали адрес, я и привела…

Можно себе представить, как был ошеломлен Беранже.

А мальчишка глядел исподлобья и переминался с ноги на ногу — вероятно, замерз. Может быть, Пьер Жан вспомнил в эту минуту, как он сам, брошенный родителями, стоял когда-то перед взором незнакомой тетушки Тюрбо?

Отпустив кормилицу, Беранже взял мальчика за руку и повел в комнату.

Зимние сумерки. Холодно, неуютно в одинокой каморке холостяка. Где будет спать малыш? Чем его кормить? Кто позаботится о нем, когда отец уйдет завтра на службу?

Выручила Жюдит. Она согласилась взять мальчика к себе и заменить ему мать.

Беранже дал сыну новое имя — Люсьен (в честь Люсьена Бонапарта) и принялся вместе с Жюдит за его воспитание. Это оказалось делом нелегким. Ленивый, туповатый, упрямый, Люсьен не отличался ни сообразительностью, ни послушанием и, увы, мало радовал отца и приемную мать. Но Беранже и его подруга не теряли надежды, что старания их еще принесут свои плоды.

* * *

Торопит время нас собою,
Морщины сея на челе…
И. — как ни молоды душою,
Мы старики уж на земле!

Жюдит невольно вздыхает, подперев голову рукой, и гости, сидящие за столом, старые друзья Антье и Вильгем с женами, затихли и как будто пригорюнились. А в уголках губ Беранже уже скользит улыбка. Нет, он не собирается лить слезы о невозвратном.

Но — новых роз ценить цветенье,
Хоть не для нас их пышный цвет,
И видеть в жизни наслажденье,
Друзья, — не старость это, нет!

Еще не старость. Но тридцать лет жизни уже миновало. За тридцать первым идет тридцать второй, тридцать третий… А во внешнем течении жизни Беранже никаких перемен.

Все гак же каждое утро ровно в 9 часов 15 минут появляется он в университетской канцелярии и скрипит там пером; все так же мучается головными болями, простудами, насморками и все так же не вылезает из долгов.

То и дело приходится просиживать ночи за спешным изготовлением текстов для какой-нибудь оперетты или водевиля, но заработки эти нерегулярны, и снова и снова Пьер Жан прибегает к помощи добросердечного Кенекура.

Что поделаешь! Надо заплатить за лекарство для бабушки Шампи, купить новые ботинки Люсьену, хоть изредка сводить в театр Жюдит… И, право же, трудно отказать себе в чашке крепкого кофе после обеда, чтоб разогнать усталость и посидеть за шлифовкой очередной поэмы.

Пусть занятия поэзией не приносят ему ни денег, ни славы (он знаменит только в Перонне!), но именно в этих занятиях он видит внутренний смысл своей жизни.

«Если б не поэзия, которая меня утешает, я не был бы счастлив», — признается он в одном из писем Кенекуру. И далее: «Если самолюбие не ослепляет меня, то, кажется, я начинаю понемногу понимать, что такое настоящая поэзия, но сколько еще надо учиться!»

Кропотливо, придирчиво, тщательно чеканит он каждую строчку в своих поэмах. Арно удивляется: почему Пьер Жан не издаст их наконец? Но Пьер Жан стремится к совершенству, которого все никак не может достигнуть.

«Я научился терпеливо высиживать свою мысль, ждать, пока она проклюнет свою скорлупу, и старался схватить ее там, где это выгоднее всего. Я пришел к убеждению, что любому сюжету должен соответствовать свой грамматический строй, свой словарь и даже своя манера стихосложения», — напишет он, оглядываясь на эти годы.

Мысль, содержание прежде всего — это первый принцип Беранже. Содержание определяет и повороты сюжета, и манеру стихосложения, и выбор слов. Но для того, чтобы совершилось чудо художественного творчества, чтоб мысль обрела жизнь в поэтическом произведении, надо ее «поймать там, где это выгоднее всего».

Открытия, сделанные в поисках своего метода, Беранже начинает применять не только в поэмах и пасторалях, но и в

песнях. И оказывается, что в этом «низком» жанре они дают под его пером больший эффект, чем в высоких!

А почему, собственно, теоретики причислили песню к низким жанрам? Ведь она может нести в себе и мудрость басни, и нежность пасторали, и жало сатиры! Такие мысли все чаще приходят в голову Беранже. Два пути, по которым он движется, начинают постепенно сближаться.

Рой песен его растет, хотя автор все еще не записывает их; только иногда некоторым песенкам повезет. Так случилось, например, с песней «Старость», которую он переписал и отправил в письме Кенекуру.

Лучшие его песни подхвачены друзьями и уже гуляют в списках по стране, но имя автора их известно немногим. Музыку для них он не пишет; подбирает подходящий популярный мотив (иногда это мотив старинной песенки или какой-нибудь ариетты из всем известной комической оперы или эстрадных куплетов), «сажает на него верхом» свою песенку и пускает гулять по свету. Лишь некоторые песни, приближающиеся к романсам, положены на музыку Вильгемом.

Жизнерадостный юмор Беранже все чаще перемежается сатирическими нотками. Но к прямой политической сатире поэт предпочитает не обращаться, а если и обращается, то припрятывает жало ее поглубже. Он выбирает невинные, на его взгляд, морально-бытовые темы. Издевается в своих песенках над обжорами, пресыщенными гурманами, которые, кажется, вот-вот лопнут. Смеется над старыми сластолюбцами, соблазняющими молоденьких служанок; над людской пошлостью, скудоумием, низкопоклонством.

В университетской канцелярии ему постоянно приходится наблюдать, как трепещут перед начальством маленькие, робкие чиновники, как стремятся они продвинуться хоть на ступеньку по служебной лестнице.

В песенке «Сенатор»{В переводе Курочкина — «Знатный приятель».} Беранже и рассказал о таком безмозглом и раболепном человеке-червяке. Герой песенки, скромный чиновник, настолько ослеплен «милостивым отношением» к нему сенатора, что готов расстелиться под ноги знатному «приятелю», который наставляет ему рога.

Песенка «Сенатор» была объявлена антиправительственной сатирой — из-за ее названия, как полагал Беранже. Но дело заключалось не только в названии. Блюстители порядков при наполеоновском режиме чуяли, что за критикой нравов кроется и нечто более серьезное, да и сама критика нравов, если она идет от жизни и метит в цель, неизбежно соприкасается с критикой

общественного строя.

* * *

Мысль собрать и записать свои песни, по собственному признанию Беранже, впервые пришла ему в голову 12 мая 1812 года. В этот день он навестил своего заболевшего друга художника Герена и остался на ночь дежурить у его постели. Чтоб развлечь больного, он вполголоса стал напевать ему одну из своих старых песенок, тех, которые они пели когда-то, собираясь в мансарде на бульваре Сен-Мартен.

Лицо Герена просветлело.

— Браво! Еще, еще! — просил он, уверяя Беранже, что лучшего лекарства нельзя и придумать. И щедрый друг пел больному песню за песней, а когда, тот задремал, Беранже, вдохновленный похвалами, присел к столу и, разыскав бумагу, начал вспоминать и записывать свои песни одну за другой. Некоторые из них он не мог восстановить: в памяти остались лишь отдельные строчки, иногда одно название. Потом он очень жалел, что не удалось вспомнить сатирические куплеты «Тучный бык» и «Чистильщик сапог, сопровождающий двор»; обе песенки были направлены против наполеоновского режима.

За дни и ночи, проведенные у постели Герена, Беранже вспомнил и записал не менее сорока песен. И потом он продолжал делать это по просьбе друзей.

Беранже к этому времени вполне убедился в том, что словарь песни может быть гораздо богаче, чем словарь высоких жанров. Для песенки нет слов-плебеев, ей принадлежит все живое богатство французского языка — научись только выбирать нужное слово! И грамматический строй песни гораздо ближе к живой народной речи, чем скованный условностями и устаревшими правилами строй высокой поэзии.

Беранже продолжает еще шагать по главной аллее «высоких жанров». Но недалек тот день, когда рукописи «Потопа», и «Смерти Нерона», и «Хлодвига», и других его эпических и пасторальных поэм вместе с набросками од, идиллий и незаконченных пьес полетят в огонь и превратятся в пепел, в воспоминание.

## *«ПОГРЕБОК» И БОЛЬШОЙ МИР*

Обмороженные, изувеченные, в лохмотьях, возвращались во

Францию из русского похода немногие из уцелевших ветеранов. Кавалеристы без коней, бойцы без оружия — жалкие остатки былой «великой армии».

Отчаянье и растерянность царили во Франции и в других странах, подвластных Наполеону. Казалось бы, императорские орлы должны поникнуть, а неуемное честолюбие Бонапарта — захлебнуться в море пролитой крови, в позоре поражения.

О мире мечтали миллионы тружеников Европы, о мире мечтал французский народ, изнемогший после двадцатилетия почти непрерывных войн.

Но Наполеон и не помышлял о мире. Любой ценой стремился он удержать под своей властью захваченные прежде земли, сохранить насильственно раздвинутые им пределы своей державы.

В начале 1813 года на военную службу было досрочно призвано 140 тысяч французских юношей, почти детей. Матери лишились единственных сыновей, крестьянские хозяйства — рабочих рук, зато в распоряжении императора оказалась новая, как из-под земли возникшая армия. И снова он повел ее в поход.

В мае 1813 года в Париж приходили вести о победах при Люцене, при Бауцене, одержанных французскими войсками над объединенными силами австрийцев и русских.

— Нет, звезда императора еще не померкла, — говорили одни.

«Но не спалят ли в конце концов Францию злокачественные лучи этой звезды?» — думали про себя другие. Говорить о подобных сомнениях открыто, вслух воздерживались. Полицейские агенты в мундирах и без мундиров внимательно прислушивались к разговорам.

С особым рвением охотились парижские полицейские за листками с переписанным от руки текстом одной сатирической песенки, которая в те дни пользовалась огромным успехом. Ее переписывали тайком, нашептывали слова на ухо друг другу, пели при закрытых дверях на дружеских вечеринках. Песенка на первый взгляд как будто совсем невинная: про какого-то сказочного короля Ивето, который носил вместо короны колпак и на ослике верхом объезжал свое государство.

Некоторые, слыша имя короля Ивето, вспоминали кабачок под таким названием, существовавший в одном из парижских предместий. Другие же припоминали старинную легенду о том, как в незапамятные времена французский король Клотарь был проездом в городке Ивето и убил одного местного сеньора, а потом в искупление своей вины даровал наследникам убитого титул королей Ивето. Династия эта правила в городке и

процветала будто бы очень долго.

Но суть дела заключалась не в кабачке и не в легенде, а в том, что песенка звучала весьма злободневно.

Автор прославлял как раз те качества легендарного добряка-короля, каких и в помине не было у современного императора французов.

Ивето был прежде всего миролюбив и скромен.

Он отличный был сосед;
Расширять не думал царства
И превыше всех побед
Ставил счастье государства.
Слез народ при нем не знал;
Лишь как умер он — взрыдал
Стар и мал…
Ха, ха, ха! Ну не смешно ль?
Вот так славный был король!

Как будто ни слова не было сказано здесь против наполеоновской политики, и все-таки каждой своей строфой песня метила в нее: против налогов и поборов, против захвата чужих земель, против бесконечных войн…

Всех, кто слышал, читал, переписывал эту песню, она поражала не только остротой и ясностью мысли, но и изяществом выражения, точностью рифм, непринужденностью и богатством интонаций.

— Не знаете ли вы, кто автор этого маленького шедевра? — спрашивали друг у друга любители песен.

— О, это, вероятно, крупный поэт, птица высокого полета, — говорили знатоки.

Беранже, до которого доходили слухи о всяческих домыслах по поводу авторства песни, попросил друзей, распространявших ее, открыть его имя. Не то еще вместо автора преследованиям подвергнется кто-нибудь другой!

— Разве вы не знаете, что автор песни «Король Ивето» — поэт Беранже? Да, да, тот самый, который сочинил «Сенатора», — шепотом передавалось из уст в уста.

Имя Беранже зазвучало в Париже, понеслось по всей Франции.

На тридцать четвертом году жизни, когда он уже перестал думать о славе, она вдруг постучалась к нему.

— Как, неужели какой-то маленький чиновник дерзнул критиковать властелина полумира? — изумлялись те, кто узнавал имя автора популярной песни.

— Да, уж это действительно новый Диоген — поучает из своей бочки великого полководца!

Рассказывали, что полиция доставила текст песенки императору. Прочитав ее, Наполеон будто бы рассмеялся. Может быть, смех этот и был несколько принужденным, но высочайшего гнева за ним не последовало и кары не обрушились на голову дерзкого поэта.

* * *

— Вы хотели познакомиться с автором «Короля Ивето»? Спешу доставить вам это удовольствие, — сказал Антуан Арно, представляя Беранже кругленькому, невысокому и очень румяному человеку.

— Рад, очень рад, — заулыбался толстячок, пожимая обе руки Беранже, и тут же затараторил с легким провансальским акцентом о том, как некие мирные короли одерживают с каждым днем все новые победы, и сам он, поэт-песенник Дезожье, в числе покоренных.

За обеденным столом обоих поэтов усадили рядом, а к десерту, когда шутки и тосты чередовались с песнями, веселый сосед Пьера Жана успел перейти с ним на «ты» и взял с него обещание прийти на очередную встречу нового «Погребка».

Беранже много слышал об этом литературно-песенном содружестве, которое было основано в 1805 году. Участники его пытались воскресить традиции старинного «Погребка», существовавшего в XVIII веке и прославленного именами поэтов-песенников Панара и Галле, Колле и Кребийона-младшего. Конечно, в новом «Погребке» не было того соцветия талантов, которое отличало старинный. Другие времена!

Легкая гривуазная поэзия совсем было зачахла в годы революции, вытесненная поэзией гражданской, патриотической, заглушенная весенним громом «Марсельезы», яростным прибоем сатирических куплетов. Но уже при Директории фривольный дух застольных анакреонтических песен начал оживать.

В 1796 году в Париже организовалось содружество «Обеды Водевиля». А в годы империи общества любителей застольной песни стали возникать одно за другим — ив Париже и в провинции. Новый «Погребок» был одним из виднейших среди таких содружеств. Члены его выпускали ежегодные сборники под названием «Ключи погребка». Они чуждались серьезных тем, предпочитая сатире легкое салонное остроумие, двусмысленную игривую шутку. Но и фривольная шуточка в костюме

вольнодумного XVIII века несла своеобразную оппозицию господствующему направлению литературы империи.

Дезожье, ученик поэта-песенника Панара, стал во главе нового «Погребка» в 1811 году. Уроженец Прованса, он приехал в Париж еще до революции, затем во времена якобинской республики покинул Францию и несколько лет скитался в дальних краях. Бывал в Сан-Доминго, в Америке; зарабатывал на существование уроками музыки, обучая чужеземцев игре на клавесине и скрипке. Вернулся на родину при Директории и вскоре завоевал известность своими легкими песенками.

Дезожье, привлекавший сердца своей жизнерадостностью, был далек от каких-либо твердых политических убеждений. Через некоторое время эта «всеядность» оттолкнула от него Беранже, но при первой встрече автор «Короля Ивето» был покорен веселостью и непритворным дружелюбием нового приятеля.

До тех пор Беранже чуждался всяких официальных литературных объединений, предпочитая им тесную компанию близких друзей, веселую братию никому не ведомой «Обители беззаботных». Самолюбивый, ценивший превыше всего внутреннюю независимость, он ни за что не стал бы домогаться членства и признания в любом из видных столичных сообществ. Но если члены «Погребка» сами признали его и приглашают войти в их среду, почему бы не откликнуться на их зов?

Осенним вечером 1813 года Беранже в назначенный час переступил порог кабачка Роше де Канкаль, где собирались члены «Погребка». Пьер Жан явился в обычном своем костюме: долгополый поношенный сюртук, клетчатый жилет, башмаки на толстой подошве. Дезожье радушно приветствовал его у входа и тотчас же перезнакомил со всеми присутствующими. За длинным столом, уставленным всякой снедью, бутылками и графинами, восседали корифеи «Погребка»: сочинители водевилей, эстрадных и застольных песенок, занимательных романов, забавных фельетонов; среди них были литераторы с известными именами: Дюкре-Дюминиль, Дюпати, Гуффе, с которыми Беранже раньше не встречался.

Дезожье и здесь усадил Беранже рядом с собой и самолично подливал вино в его бокал. Разговор за столом походил на беглую перепалку: быстрый обмен остротами, шутками, последними новостями, закулисными сплетнями. Однако сквозь веселую непринужденность то и дело проскальзывало скрытое раздражение, желание уязвить соперника, зависть, недоброжелательство. Многое в этой беседе могло ошеломить, показаться непонятным человеку, не причастному к мирку театральных интриг и газетных склок. Но проницательного и

остроумного Пьера Жана ошеломить было не так-то легко. А за десертом, когда перешли к исполнению песен, Беранже почувствовал себя и вовсе в родной стихии.

Наступила его очередь, взоры всех с любопытством устремились на нового гостя. Дезожье ободряюще закивал, постучал по столу, и Пьер Жан запел глуховатым, но верным и приятным по тембру голосом. Немудреный мотив популярной уличной песенки как будто преобразился, вмещая в себя новые слова и чувства. Особенно привлекало в голосе и исполнении певца — да и в самих его песнях — разнообразие, точность и выразительность интонаций, здесь и озорной вызов, и легкая грусть, и лукавая ирония, и дерзость, и нежность, а главное — веселость, настоящая галльская веселость, торжествующая над всем, заразительная, покоряющая.

— Браво! Браво! Бис!

После каждой новой песенки аплодисменты становились все громче, все единодушнее.

— Какой богатый репертуар!

— И как такой мастер до сих пор еще не с нами!

— Он наш! Он наш! — восклицали слушатели.

Приступили к церемонии избрания. Сияющий Дезожье попросил Беранже выйти на несколько минут в соседнюю комнату. С бисквитом в одной руке, с бокалом в другой Пьер Жан стоял у тяжелой портьеры, заглушавшей гул голосов, и сочинял приветственные куплеты по поводу своего приобщения к «песенной академии». Строчки складывались в голове быстро:

Насмешниками сбит с пути,
Я в «Погребок» не смел зайти,
Мне бес нашептывал пугая:
Там — Академия вторая.
И что ж я вижу? Стол накрыт,
Друзей бутылка единит:
«Здесь, — говорят, — желанный гость всегда вы!»
Нет, в Академии совсем другие нравы,
Совсем, совсем другие нравы!

Беранже избрали единогласно. Но через некоторое время стало известно, что один из членов «Погребка», не присутствовавший на встрече, поднял голос против общего решения. Имя недоброжелателя было де Пиис.

Чем вызвана враждебность признанного пожилого литератора к человеку, который никогда с ним не сталкивался? Беранже недоумевал. Потом ему рассказали, что сварливый шевалье де

Пиис препятствовал продвижению молодежи из зависти к восходящим талантам, которые могут окончательно затмить собственную его увядающую славу. Узнал Беранже и о том, что шевалье проявляет преувеличенную подозрительность к людям в связи со своим служебным постом генерального секретаря полицейской префектуры.

— В обществе этого брюзги не стоит говорить лишнего, — предупредил Дезожье, — особенно тому, кто уже состоит на заметке в полиции.

Да, полиция косилась на Беранже; причиной тому был не только «Король Ивето», но и «Сенатор». «И что они привязываются к этой песенке? — думал Беранже. — Ведь раболепие существовало не только при империи, оно сопутствует любому деспотическому режиму!»

Он еще не сознавал до конца значения собственных песен и всех возможностей, которые дает этот жанр, но сквозь жизнерадостный облик мирного эпикурейца уже начинали просвечивать черты будущего бойца; невинная шуточка то и дело оборачивалась острой сатирой.

* * *

30 марта 1814 года войска коалиции с утра начали осаду Парижа. Беранже не отходил от окна своей комнаты: отсюда открывался вид на город с окрестностями и при помощи подзорной трубки можно было следить за ходом боев.

Он знал, что оборона была организована слабо, и тревога его росла час от часу. Во второй половине дня канонада почему-то затихла, а около пяти часов вечера Беранже увидел со своего наблюдательного поста, что какой-то отряд кавалерии направляется к возвышенности Монмартра. Вот головы лошадей повернулись к Парижу…

Боже мой! Ведь это неприятельская конница, и она уже овладевает высотами, так плохо защищенными… Стрельбы не слышно. Что же это? Можно ли сидеть сложа руки и смотреть, как Париж переходит к чужеземцам?

Беранже выбегает на улицу. Пробираясь между носилками, фургонами с ранеными, он спешит к бульварам. Там толпы. Рабочий люд. Многие стоят здесь с утра и так же, как он, думают теперь об одном: где бы раздобыть ружье? Где же люди, которым поручено снабжать оружием добровольцев? Почему никто не заботится об организации добровольческих отрядов, когда Париж в опасности?

Бёранже не вояка, он никогда не бывал в боях. Но в этот день он был уверен, что мог бы воевать храбро, не боясь сложить голову за Францию… Где же достать ружье?

Ружей нет, и линия обороны уже оставлена войсками. Капитуляция! Весть о ней несется по городу. С опущенной головой, со стесненным сердцем Беранже возвращается к себе в мансарду. Ночью он видит из окна пламя и дым костров, зажженных неприятелем на высотах Монмартра.

Назавтра чуть свет он на ногах. По городу расклеены афиши, возвещающие о капитуляции. Наместник Наполеона, его брат Жозеф Бонапарт, вместе с женой императора Марией Луизой покинул столицу еще накануне.

Через несколько часов вражеские войска маршируют по улицам Парижа, и — позор, позор! — Беранже отказывается верить собственным глазам: сытые господа и нарядные дамы, нацепив белые кокарды (белый цвет — цвет монархии Бурбонов), приветствуют чужеземцев с балконов домов, машут платками, издают радостные возгласы.

Рабочий люд возмущается этой демонстрацией раболепства. Кое-где в толпе мелькают листовки с призывом к сопротивлению, но большинство молчит. Единодушия нет.

Народ не поднялся на защиту империи. Слишком он был ошеломлен стремительной сменой политических декораций и, главное — слишком устал от войн. Глухой ропот постепенно замолкал. Убедившись в том, что войска победителей ведут себя миролюбиво, парижане принялись за повседневные дела.

— Что же мы можем сделать? — слышались голоса. — Почему император не подоспел вовремя? Почему Мария Луиза и Жозеф покинули город в критическую минуту?

Наполеон незадолго перед тем вел бои с противником за Марной. 27 марта он узнал, что 110-тысячная армия коалиции движется к Парижу, опередив его на три дня. Он еще рассчитывал продолжать войну и, надеясь, что Париж продержится до того, как он с войсками подоспеет на помощь, быстро двинулся по направлению к Фонтенебло. Весть о капитуляции, полученная 30 марта, привела императора в бешенство.

Но и тут надежда не покинула его. Наполеон спешно выслал в Париж для переговоров герцога Коленкура, а сам начал проводить подготовку к решающей битве, стянув к своей ставке в Фонтенебло 70-тысячную армию.

Союзное командование отказалось от переговоров. Коленкур вернулся ни с чем.

4 апреля Наполеон провел смотр войск. Зажженные речью

императора, солдаты клялись ему в верности и готовы были сложить головы, лишь бы отвоевать Париж. Но совершенно иным было настроение маршалов. Собравшись после парада в кабинете Наполеона, они стояли молча, опустив головы. Долго никто не решался заговорить первым. Наконец маршал Ней от имени собравшихся заявил, что, по их мнению, дальнейшее сопротивление бессмысленно и опасно для Франции и для Парижа. Император ради блага страны должен отречься от престола.

Напрасно пытался Наполеон переубедить маршалов, старые соратники отказывались идти вместе с ним.

После короткого раздумья император составил акт отречения в пользу своего трехлетнего сына под регентством Марии Луизы. Таким образом он рассчитывал по крайней мере сохранить основанную им династию.

Коленкур, Ней и Макдональд выехали в Париж. Но и на этот раз попытка переговоров оказалась безрезультатной. Дальнейшие политические судьбы Франции были уже предрешены не в пользу династии Бонапартов.

При активном участии ловкого и беспринципного политика князя Талейрана, служившего поочередно республике, затем империи, а теперь новым властителям, уже было создано Временное правительство, и спешно собранные сенаторы не без влияния того же Талейрана вотировали низвержение империи. Измена наполеоновского маршала Мормона, перешедшего со своей армией на сторону коалиции, ускорила ход вещей.

Русский и австрийский императоры, отбросив всякие колебания, отказались от предложенной Наполеоном идеи регентства.

Узнав об этом, Наполеон провел бессонную ночь. Шагая по пустым залам дворца Фонтенебло, он раздумывал, как поступить. Если б дело было за ним одним, конечно, он бы продолжал бороться. Но ему уже было ясно, что сами исторические обстоятельства требуют его ухода со сцены. «Мое имя, мой образ, моя шпага наводят страх», — говорил он Коленкуру. Он видел, что страна слишком устала от бесконечных жертв. Больше миллиона французов погибло за годы войн. А сколько людей других наций! Все жаждут мира — и земледельцы, и промышленники, и сами воины.

Наутро Наполеон созвал маршалов и прочитал им текст безоговорочного отречения.

В тот же день, 6 апреля 1814 года, сенат провозгласил королем Франции Людовика XVIII, брата казненного Людовика XVI.

Дряхлая династия Бурбонов, реставрированная иностранцами, вернулась к власти.

* * *

И снова звонят во всю мочь колокола собора Нотр-Дам и других церквей Парижа. В столицу торжественно въезжает король Франции, прибывший в английском обозе, в карете герцога Веллингтона.

Беранже стоит в толпе парижан. До чего же старомодным и жалким кажется ему облинялое и ощипанное великолепие кортежа пришельцев прошлого, сметенных революцией и теперь снова вылезших на свет из эмигрантских подполий!

И особенно больно уязвляет мысль, что эти возомнившие себя живыми мертвецы посажены на шею Франции чужеземцами вопреки воле народа. Это унижает честь страны, поднявшей впервые в истории знамя демократии. А принцип демократии, провозглашенный революцией, неотделим для Беранже от истинного патриотизма. Самая большая вина Наполеона, по мнению Беранже, заключалась в том, что он угасил в народе революционный патриотизм, задушив демократию. Через много лет, подводя итоги пережитому, Беранже напишет следующие строки об этих тревожных для него и для всей Франции днях: «… если б император мог читать тогда в умах народа, то он, конечно, признался бы себе в одной из самых больших ошибок, которую он совершил в силу особенностей своего гения. Он зажал рот прессе, отнял у народа всякую возможность свободного вмешательства в дела и таким-то образом изгладил принципы, которые глубоко запечатлела в гражданах наша революция; и это привело к тому, что в нас совершенно замерли ставшие столь естественными чувства. Его счастье долго заменяло нам патриотизм. Но так как он поглотил всю нацию, то и вся нация пала вместе с ним, и поэтому перед лицом врага мы оказались теми, в кого он нас превратил».

С падением Наполеона как будто разорвалась, рассеялась перед глазами французов дымовая завеса, так долго замутнявшая реальные исторические горизонты. И Беранже с небывалой до того отчетливостью увидел действительное положение вещей во Франции.

К чему привела страну империя с ее громом побед? К попранию принципов революции. К национальной катастрофе — политической, хозяйственной, моральной.

Как! Неужели напрасны были все жертвы и подвиги народа,

поднявшегося когда-то на штурм Бастилии, на штурм старого феодального мира? Неужели смириться с ярмом, надетым на Францию?

Тревога начала нарастать в нем, когда враги еще только вступили на французскую землю, в январе 1814 года.

Я не могу быть равнодушен
Ко славе родины моей.
Теперь покой ее нарушен,
Враги хозяйничают в ней.

Эту песню, в которой впервые зазвучала его тревога за судьбы родины, он назвал «Моя, может быть, последняя песня».

Но как и большинство его соотечественников, Беранже тогда не осознавал до конца всей опасности, нависшей над Францией. «Нет, это немыслимо, чтоб иностранцы одолели французов на их родной земле и вошли в Париж», — думал он и пытался отгородиться от политических волнений испытанным своим щитом — беззаботной шуткой. Во второй строфе песни снова слышатся привычные мотивы «Погребка». Как подобает относиться к врагам и опасностям сыну веселого «эпикурова стада»?

Я их кляну, но предаваться
Унынью — не поможет нам.
Еще мы можем петь, смеяться…
Хоть этим взять, назло врагам!

Так ответил на этот вопрос Беранже. Давно ли это было? Всего два-три месяца назад. А вот теперь, когда враги вошли в столицу почти без сопротивления и нашлись французы, которые встретили их приветствиями, теперь, когда национальный позор стал неприкрытой явью, а «колосс», так долго охмелявший Францию, пал, Беранже чувствует, что испытанный его щит дал трещину. Он годился и, может быть, еще пригодится для защиты от личных горестей, но он не спасет, когда страдают гражданские, патриотические чувства, те чувства, которые долгие годы дремали в глубинах его сознания, а теперь, разбуженные гигантским толчком национальной катастрофы, пробудились, поднялись, заговорили в нем.

Да, видно, идеал счастья, возведенный неунывающим бедняком в тиши мансарды, чем-то не совершенен. Позиция обороны, которую занимал Беранже, скрываясь в царстве простых

человеческих радостей, не может больше удовлетворить его.

Он не отрешается от духовных твердынь, завоеванных им в годы безвестности, нужды, одиноких бдений над никому не нужными рукописями. Стойкость духа, сила сопротивления, стремление к независимости и оружие смеха — все это остается, все это дорого и необходимо ему, но теперь уже для более высоких целей, чем те, которые он ставил раньше. Правда, главная цель его жизни и песен еще не определена, политические позиции еще не утвердились; он переживает как бы переходную пору в своем внутреннем развитии, но толчок вперед дан, и движение все ускоряется.

В мае 1814 года Беранже выступает с новой песней «Истый француз» перед адъютантами русского императора. Он чувствует себя прежде всего частицей своего народа, и это слышится в его песне: Бонапарты, Бурбоны проходят, а Франция остается, и долг истого француза служить ей, быть верным ей и, следовательно, себе самому.

* * *

Омерзение вызывают у Беранже те, кто готов во имя личной карьеры лизать пятки новым господам, гнуть спину перед чужеземцами и перед эмигрантскими «сиятельствами», прибывшими во Францию за спинами иностранцев. «Они ничего не забыли и ничему не научились», — говорил о вернувшихся аристократах-эмигрантах Талейран. Этот политический пройдоха, умевший обвести вокруг пальца любого венценосца и дипломата, отличался незаурядным даром острословия, многие меткие афоризмы его переходили из уст в уста.

Действительно, опыт революции и империи как будто прошел даром для дворян, отсиживавшихся в эмиграции: они были уверены, что историю можно благополучнейшим образом повернуть вспять, достаточно лишь нажать сверху.

Политика Людовика XVIII казалась им непоследовательной. Для чего сохранять нововведения в гражданской жизни, в порядках страны, установленные революцией и кодексом Наполеона? Пора вернуть имущества, конфискованные в пользу государства, назад дворянам и духовным особам! Пора выгнать из армии всех тех, кто выдвинулся при Наполеоне, и поставить вместо них эмигрантов, участников вандейских мятежей! Следует упразднить деление на департаменты, упразднить все местные гражданские власти, посаженные Наполеоном, и вернуться к феодальным порядкам, существовавшим до революции.

Таковы были претензии «ничему не научившихся» эмигрантов.

Отпрыски знатных фамилий, вернувшиеся во Францию еще при Наполеоне и безудержно льстившие императору, чтоб закрепить за собой теплое местечко при его дворе, теперь во всю глотку клянут былого повелителя.

— Тиран! Чудовище! Деспот! Узурпатор! — вопят они в своих салонах, при дворе и на правительственных заседаниях, стремясь снискать благоволение новых господ.

***Кто сапоги лизал тирану, ему же пятки стал кусать.***

Первая сатирическая песня, направленная Беранже против чванливых, трусливых и продажных «героев» Реставрации, называлась «Челобитная породистых собак о разрешении им свободного входа в Тюильрийский сад».

«Герои» из аристократического Сен-Жерменского предместья приобрели в песенке облик псов, кичащихся своей породой, а вожделения их выразились в форме челобитной — униженного прошения к властям. Беранже впервые применил здесь новую форму своей сатиры — пародию на официальный документ. «Челобитная породистых собак» — это коллективное письмо, в котором «герои» сообща выбалтывают свою подноготную. К приему саморазоблачающего монолога, коллективного или индивидуального, Беранже потом будет не раз прибегать в песнях-сатирах.

Тирана нет — пришла пора
Вернуть нам милости двора.

Эти строки служат рефреном, в них сосредоточена суть прошения псов, адресованного властям. Рефрен в песенках Беранже заканчивает каждую строфу, служит переходом к следующей, подчеркивает главную мысль, объединяет всю песню и помогает ее запомнить. Беранже придает большое значение рефрену, «этому родному брату рифмы».

Жадные до всяческих благ и милостей псы клянутся вести себя примерно: лизать сапоги иностранцам, бросаться с лаем на плебеев-дворняг и исполнять любые фокусы по приказу властей.

Раболепие перед вышестоящими, враждебность, презрение к простонародью и полное равнодушие к судьбам родины — вот они, «принципы» и нормы поведения аристократических собак из аристократического предместья.

Что нам до родины, собачки?..
Пусть кровь французов на врагах, —
Мы, точно блох, ловя подачки,
У них валяемся в ногах.

Песня была закончена в июне 1814 года и быстро донеслась до салонов Сен-Жерменского предместья и до Тюильрийского дворца.

Разъяренные оригиналы породистых собак рады были бы загрызть дерзкого песенника. Однако, несмотря на их рычанье, власти не принимали карательных мер против Беранже. Людовик XVIII склонен был многое прощать автору «Короля Ивето», надеясь, что поэт, из-под пера которого вышла антибонапартистская сатира, пригодится еще династии Бурбонов.

Аристократических «псов» возмущало, что автор злой сатиры на них сам происходил, как они думали, из дворянского рода. Как! Дворянин де Беранже мечет стрелы в аристократов? Отступник! Целится в своих! — негодовали они.

Беранже действительно, подписывая стихи, присоединял к своей фамилии частицу «де», за которую так цеплялся некогда его отец, но делал это вовсе не из желания прослыть дворянином, а для того, чтоб его не путали с поэтом Беранже из Лиона, выступавшим тогда в печати. Частица «де» была проставлена в метрике Пьера Жана, и он считал возможным без зазрения совести пользоваться ею, хотя и раньше, бывало, не раз посмеивался над претензиями своего отца.

Теперь же, когда аристократы стали опорой реставрированной монархии и ради кастовых и личных интересов пресмыкались перед чужеземцами, Беранже увидел в них врагов Франции, ее народа, заклятых врагов всего нового, что некогда открыла и призвала к жизни революция. В песенке «Простолюдин», бросая вызов чванливым представителям древних родов, Беранже во весь голос заявил, что он, Беранже, не имеет с ними ничего общего ни в происхождении, ни в образе мыслей, ни в отношении к родине.

В моей частичке *de* знак чванства,
Я слышу, видят: вот беда!
«Так вы из древнего дворянства?»
Я? нет… куда мне, господа!
Я старых грамот не имею,
Как каждый истый дворянин;
Лишь родину любить умею.
Простолюдин я, — да, простолюдин,

Совсем простолюдин!

Предки его из тех, что, вероятно, не раз восставали против жестоких властителей. И, конечно, прапрадеды Беранже никогда не угнетали народ, не грабили его, не разжигали в стране гибельные междоусобицы и не продавали интересы родины чужеземцам, как это делали аристократы.

Оставьте ж мне мое прозванье,
Герои ленточки цветной,
Готовые на пресмыканье
Пред каждой новою звездой!
Кадите, льстите перед властью!
Всем общей расы скромный сын,
Я льстил лишь одному несчастью,
Простолюдин я, — да, простолюдин.
Совсем простолюдин!

Появление этой песни еще больше обозлило титулованных «псов».

— Ага! Он потому и нападает на родовитых дворян, что сам безродный! — лаяли недруги. Они были убеждены, что в основе всякой борьбы всегда лежат личные побуждения — зависть, корысть, соперничество, месть.

Именно такой и должна быть логика героев «Челобитной», подобные рассуждения вполне в их духе, посмеивался Беранже, слушая рассказы о том, как честят его в великосветских кругах.

# ПРОЩАНИЕ О ПРОШЛЫМ

В Париже шли толки о том, что аристократы готовятся праздновать в марте 1815 года первую годовщину взятия столицы иностранными войсками.

Беранже складывал новую песню-памфлет под названием «Белая кокарда». Он говорил, что преподнесет ее «юбилярам» для хорового исполнения на их празднествах.

Так же как и в «Челобитной», поэт применил здесь прием коллективного монолога. Во все горло прославляют господа роялисты национальное поражение и пьют «за триумф чужих побед».

День мира, день освобожденья,—
О счастье: мы — побеждены!..
С кокардой белой, нет сомненья,
К нам возвратилась честь страны.

В песне пародируются интонации торжественной кантаты, исполнители ее выкладывают свои чувства с полной серьезностью, и это делает сатиру особо ядовитой. Как же не славить добрым роялистам врагов Франции? Не приди враги вовремя, над страной, чего доброго, развевалось бы трехцветное знамя!

Аристократам, однако, так и не удалось отпраздновать первую годовщину Реставрации. Не до банкетов им было в эти дни!

1 марта Наполеон с небольшим отрядом войск бежал с острова Эльба, высадился на французском берегу в маленькой бухте Жуан близ Канна и горными альпийскими тропками двинулся в глубь страны. Напрасно король со своими министрами сочинял грозные ордонансы, объявлявшие Бонапарта изменником, бунтовщиком и повелевавшие каждому французу содействовать погоне за ним.

Крестьяне приветствовали императора, видя в нем избавителя от ненавистных господ-помещиков, вернувшихся вместе с реставрацией. Королевские войска, бывшие солдаты Наполеона, целыми армиями переходили на его сторону. Толпы народа радостно встречали его в Гренобле и Лионе. Жители предместий выбивали окна во дворцах аристократов с криками: «Долой попов! Смерть роялистам!»

И народ и армия были враждебны режиму реставрированной

монархии. Этим и объяснялся успех дерзкого предприятия Наполеона. Без единого выстрела он дошел до Парижа и вечером 20 марта в Тюильрийском дворце на месте королевских лилий снова водворились императорские пчелы.

Бурбоны едва успели унести ноги вместе со своим двором. Началась неожиданная интермедия в политической истории Франции, продолжавшаяся сто дней.

Тревожной, судорожной, хмельной была для французов эта весна. Даже человеку мыслящему трудно было собраться с мыслями. Всплывало на поверхность, оживало то, что казалось навсегда похороненным. Гибли репутации, рвались установленные связи. В стремительной смене гербов, властей, надежд и символов обесценивались недавние ценности. Взлеты энтузиазма чередовались с сомнениями.

Вспоминая в автобиографии о дне 20 марта, Беранже писал: «…в этот день ожидания можно было прочесть на челе всякого способного к размышлению человека, — а такие люди бывают во всяких классах общества, — какую-то озабоченность, которая мешала радости быть всеобщей, несмотря на околдовывавшую силу этого последнего чуда великого человека».

Разрешит ли возврат империи во Франции наболевшие политические вопросы и прежде всего вопрос о мире? Сумеет ли Наполеон перемениться и стать тем «народным императором», о котором мечтали массы? Беранже сомневался. Он и в этот раз не примкнул к стану льстецов и песнопевцев Наполеона, хотя и видел в падении монархии Бурбонов «дело вполне народное».

В песне «Политический трактат для Лизетты» полусерьезно, полушутливо он попытался выразить то, что волновало его, предостеречь Наполеона от возвращения на путь тирании и войн, высказать ему свои пожелания, пожелания большинства французов.

Не стремиться к завоеваниям, не губить своих подданных, уважать их свободу — такие советы дает песенник своей героине, за легкой фигуркой которой нетрудно усмотреть совсем другого адресата.

Избранная форма не соответствовала теме, Беранже сам видел это и не был доволен песней, хотя она имела немалый успех и была напечатана в нескольких газетах.

* * *

Вскоре после возвращения Наполеона Беранже получил по городской почте письмо от художника Герена, у постели которого

он когда-то впервые записал свои песни. Они не встречались несколько месяцев. Герен, принятый после реставрации в аристократических салонах, был упоен своими успехами в обществе, лестью и похвалами знатных персон.

Беранже быстро пробежал глазами письмо. Что это, шутка или вызов? Герен предлагает встретиться с ним после того, как вернутся Бурбоны. На такое письмо не стоит отвечать. Приходится сознаться себе, что старая дружба гибнет из-за политических разногласий и, как это ни прискорбно, сломанное уже не склеишь.

Той же весной Беранже довелось встретиться с человеком, память о котором он благодарно хранил со времен своей бедной молодости.

В Париже вслед за Наполеоном появился Люсьен Бонапарт. Распри братьев отошли в прошлое, Люсьен готов поддерживать «обновленного» Наполеона, некоего вымышленного «друга народа», забывшего свой деспотизм, наследника республиканских идеалов. Именно таким хотел император казаться народу, чтоб укрепить свои позиции.

Верил ли в такого Наполеона Люсьен? Едва ли. Но меньшой брат любимца славы ценил эффектную позу, к тому же ему надоела роль изгнанника, и он охотно готов был сменить ее на роль соратника обновленного и улучшенного повелителя.

Люсьен вспомнил о Беранже и дал знать, что хочет его видеть. Встреча состоялась.

Принц окидывает внимательным взглядом песенника. Да, он порядком постарел за прошедшее десятилетие. И как будто все тот же просторный старый сюртук на его плечах. Но в глазах ни тени былой робости. Впрочем, и раньше Беранже не склонен был двигаться по указке, был не из тех, кто подобен мягкому воску в руках ваятеля. А теперь перед Люсьеном сложившийся человек; за внешним добродушием его кроется железное упорство. Напрасно пытается господин Люсьен принять испытанную позицию ментора и покровителя. Никакого эффекта.

— Грустно видеть, что человек, подававший надежды стать творцом больших эпических поэм, отдает свои силы и талант сочинению песенок для улицы, — укоризненно покачивая головой, говорит господин Люсьен. Беранже предпочитает не вступать с ним в спор и любезно отшучивается.

Он всегда будет признателен за поддержку, оказанную некогда могущественным принцем бедняку, но дальнейших встреч с принцем песенник не будет искать. Впрочем, встречи эти скоро опять станут невозможны.

Конец стодневной интермедии приближался. Воскресшая

империя неспособна была чудесно преобразиться, стать «народной», дать счастье и мир своим подданным. Не такова была натура Наполеона, не таково было его историческое амплуа; и сами обстоятельства складывались для него роковым образом.

Энтузиазм первых дней быстро остыл. Народ ждал от Наполеона революционных преобразований, но император ограничивался посулами. Конституция, которую было поручено составить известному либеральному деятелю и писателю Бенжамену Констану (подобно Люсьену Бонапарту, Констан в пору «ста дней» примирился с императором), была далека от мечтаний якобинцев и лишь немногим отличалась от хартии, данной французам Людовиком XVIII после его восшествия на престол.

Недовольство, оппозиция, вражда назревали, наступали на империю Бонапарта. Хитрые и ловкие предатели министры Талейран и Фуше снова втерлись в доверие к Наполеону и уже сторговывались за его спиной с Бурбонами. Роялисты молили бога и иностранцев о вторичном «спасении» Франции.

В уста продажных девиц вложил Беранже в новой своей песенке «суждения» и пожелания роялистов.

Опять враги к нам на постой!
Так это правда? Лишь нагрянут,
Вверх дном все ставить станут,
Пале-Рояль, наш край родной,
Так оживится!
Да и для нас расчет прямой.
Все наши говорят девицы:
«Как рады мы своим друзьям,
Своим друзьям-врагам!»

Они, эти «девицы», заранее представляют, как будут махать платками, приветствуя «друзей-врагов», вступающих в Париж…

Отгремела решающая битва при Ватерлоо. Французские армии разбиты. Наполеон в плену у англичан, сослан на далекий остров в океане. И снова, как год назад, враги топчут Францию. В Булонском лесу — лагерь англичан, в Люксембургском саду расположились пруссаки. Париж отдан на разграбление Блюхеру и Веллингтону. С ужасом узнает Беранже, что лорд Веллингтон собирается перевозить в Англию сокровища Лувра.

Поднявшие головы роялисты могут радоваться: монархия Бурбонов реставрирована вторично. Под покровительством чужеземцев роялисты именем короля расправляются со всеми, в ком видят своих политических противников. Резня, казни, белый

террор свирепствуют во Франции.

* * *

А на обедах «Погребка» в Роше де Канкаль как будто ничего не переменилось. Все те же сплетни и пересуды за обедом, а за десертом игривые песенки. По-прежнему ослепительны улыбки собутыльников и неуемны аппетиты сотрапезников.

Говоря по правде, большинству из членов «Погребка» безразлично, кто сидит наверху, лишь бы им самим не мешали петь и пить. Беранже коробит от той легкости, с которой коллеги его по «песенной академии» готовы менять свои политические принципы и симпатии.

Ему уже и раньше многое не нравилось в обычаях и тоне «Погребка». Однажды Беранже получил письмо от Балена — хозяина Роше де Канкаль — с приглашением к обеду. Решив, что Бален хочет на славу угостить его, как секретаря «Погребка», хорошо справившегося со своими обязанностями, Беранже явился в назначенный час. Он увидел, что Балена за столом почему-то нет, а вместе с некоторыми членами «Погребка» обедают какие-то совершенно незнакомые люди. Беранже бросился к очагу, где орудовал Бален, и потащил его к столу. Тот упирался, а все присутствующие с недоуменными улыбками взирали на эту сцену. После обеда Дезожье, отведя Пьера Жана в сторонку, объяснил, что приглашение исходило вовсе не от самого Балена, аот этих незнакомцев. По обычаям «Погребка» клиенты Роше де Канкаль, заказывая за несколько дней вперед меню обеда или ужина, могут пригласить к столу за определенную плату и песенников.

— Как? Значит, песенника можно «заказать», как индейку, трюфели или какую-нибудь редкую рыбу? — воскликнул возмущенный Беранже.

Дезожье рассмеялся.

— Так знай же, недотрога, многие наши товарищи жалуются, что их недостаточно часто приглашают. Бален мог бы подать сегодня блюдо не такое кислое, каким оказался ты, неблагодарный.

После этой неудачной пробы Бален, однако, больше не осмеливался «подавать» Беранже в виде угощения клиентам.

На своих сборах члены «Погребка» обычно воздерживались от разговоров о политике.

— Довольно, довольно! Надо отдохнуть! Поперек горла у всех стоит эта политика! — кричали они, если кто-нибудь заводил

речь о положении Франции, о последних событиях. — Наше дело — петь и смеяться!

«Довольно политики!» — так назвал Беранже свою новую песню и все-таки пропел ее как-то на очередной сходке «Погребка».

Он пел о том, что поэт не станет больше докучать милой собеседнице, читая в ее салоне стихи о судьбах родины:

Пускай в бреду страна родная
И враг свирепствует все злей —
Не огорчайтесь, дорогая,
Не будем говорить о ней!

Контраст взволнованных, полных любви и сдержанной скорби строк о былой славе и нынешних бедах Франции с равнодушно-беззаботным рефреном «Не огорчайтесь, дорогая…» особенно усиливал впечатление от этой песни с ее колкой иронией и гражданской болью.

В «Погребке» вежливо поаплодировали и заговорили о другом, но в парижских предместьях песня имела успех, неожиданный для автора.

«Песня «Довольно политики!» сильно отличается по тону и настроению от «Моей, может быть, последней песни», которая была написана год назад при подобных обстоятельствах», — признавал сам Беранже.

Тогда он, обеспокоенный несчастьем родины, пытался найти утешение в смехе и шутке «назло врагам». Теперь же беспокойство уступает место негодованию, веселая шутка — едкой сатире.

«Успех этой песни укрепил автора в мысли, что народ, переживший революцию, научился разбираться в происходящих событиях», — напишет потом Беранже в примечании к песне «Довольно политики!». Поэт понял, что «жанр, который должен дать выражение духа народных песен, обязан передать все оттенки, чтоб удовлетворить народным чувствам. Восхваление любви и вина должно быть не чем иным, как рамой для идей, выразительницей которых с этих пор становится песня».

Да, только теперь, после пережитых вместе с народом катастроф, после жестокой внутренней встряски, только теперь, когда он ощутил и осознал себя живой неотделимой частицей своего народа, его голосом определился окончательно путь Беранже в поэзии.

Прихотливая тропка, на которой он стремился найти когда-то душевный отдых и ощущение внутренней свободы, превратилась

в большую дорогу его творчества и бесконечно раздвинулась.

Беранже один из немногих поэтов, который в эпоху расцвета книгопечатания приобрел славу в массах, не издав ни одной книги. Только в 1815 году он впервые задумал издать сборник своих песен: хотел заработать этим изданием хоть немного денег. Несмотря на все возраставшую известность, он оставался таким же бедняком, каким был в начале своего поприща, даже, пожалуй, еще беднее, так как перестал получать академическое жалованье, передав пользование им тестю господина Люсьена, нуждавшемуся в деньгах.

Сборник, озаглавленный «Песни нравственные и другие», вышел в конце 1815 года. Беранже включил сюда прежние песни, написанные им в годы империи, и те из новых, которые были далеки от политики. Осторожные друзья посоветовали ему обойти молчанием опасные темы. Ни одной из политических сатир, ни одной из тех песен, которые касались больших национальных событий, пережитых Францией в последние годы, не вошло в эту книгу. Здесь царят и блистают дружба, любовь, жизнерадостный смех и вольная шуточка.

Первая книга песен Беранже оказалась как бы прощанием автора со своим прошлым.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

# МАРКИЗЫ, ПАЯЦЫ, ИУДЫ…

Длинный январский вечер казался друзьям чересчур коротким: о стольком надо было вспомнить, переговорить. Неизвестно, когда они свидятся следующий раз. Назавтра Арно, внесенный в «рескрипционные» списки как «враг монархии», должен покинуть пределы родины.

Беранже проводил его до городка Бурже, который стал после второй Реставрации пограничным: дальше начиналась зона, оккупированная иностранными войсками.

Здесь, в Бурже, в маленькой гостинице друзья и коротали свой прощальный вечер. Третьим за столом был молодой офицер из местного гарнизона. Арно и Беранже только что познакомились с ним, но, разговорившись почувствовали, что по взглядам на самое главное, на то, что больше всего сейчас волновало и задевало их, этот молодой человек им близок. Офицерик, преисполнившись доверия к этим, на его взгляд, пожилым, но таким простым и дружелюбным в обращении парижанам, изливал нм свою душу, оплакивая судьбы Франции и судьбы армии.

Да, не удивительно, что столько горечи в его сло вах, думал Беранже. Мольеровский герой Альцест приходил в негодование от безделицы, а на глазах современных Альцестов совершаются колоссальные мерзости. Террор, массовое изгнание лучших сынов Франции, убийства. Расстрелян маршал Ней… Расстреляны, зарублены своими же соотечественниками сотни солдат и офицеров, бывших бойцов республики, участников наполеоновских походов.

Дважды реставрированная монархия мстит французам и за

«сто дней» и за всю последнюю четверть века. Вот какой она оказалась вблизи, монархия Бурбонов! Многие французы надеялись, что она принесет, наконец, мир и отдых утомленной, истерзанной стране. Беранже вспомнил о том, как незадолго до первой реставрации легитимисты пытались залучить его, автора «Короля Ивето», в свой лагерь, прельщая всякими орденами и наградами, когда Бурбоны придут к власти. «Пусть они дадут нам свободу взамен славы, пусть они сделают Францию счастливой, и я тогда буду воспевать их бесплатно», — ответил он. Конечно, Беранже не слишком-то верил, что Бурбоны могут сделать Францию счастливой, но, как и весь народ, он хотел мира и не испытывал еще ненависти к дряхлой монархии. А теперь… Нет, не воспевать Бурбонов, а помочь народу разнести в щепы их трон — вот в чем задача! «Конечно, королей и их приспешников учат не песнями и стихами, — думал Беранже, — но и поэты должны делать свое дело!»

— Спойте, Беранже, спойте! — сказал Арно, как бы подслушав его мысли. — Ту песню, которую вы посвятили мне.

И Беранже запел грустную песенку о птицах, изгнанных с родины холодной зимой. Они унесли с собой и любовь и песни… Грусть становилась все щемительнее, но рефрен песенки шел ей наперекор, упорно отстаивая надежду. И в последней строфе надежда побеждала:

Они на темную лазурь
Слетятся с громовым ударом,
Чтоб свить гнездо под дубом старым,
Но не согнувшимся от бурь.
Усталый пахарь за сохою,
Навстречу вольным голосам,
Зальется песнями — и к нам
Они воротятся весною.

Обычно суховатый Арно, отвернувшись, вытирал глаза платком; офицерик застыл, весь обратившись в слух. В этой песне слышалось как раз то, что хотелось услышать и завтрашнему изгнаннику и тем, кто остается и будет страдать от «зимней стужи».

Весна придет! Но как приблизить ее?

* * *

Песней «Птицы» открылся для Беранже 1816 год.

Когда он вернулся из Бурже в Париж, «Птицы» уже летали по городу и очень быстро допорхнули до ушей полиции и министерства, которое и без того имело претензии к экспедитору университетской канцелярии, только что выпустившему в свет сборник песен. Хотя прямой политической крамолы в этом сборнике будто и не было, но все же он вызывал у властей раздражение и беспокойство. Вино, Лизетта, чердаки, всякие там этакие скользкие штучки и шуточки, гм… гм… — рассуждало начальство. И автор всего этого — государственный чиновник! Пусть маленький, пусть даже совсем незаметный — тем более опасно! Что же тогда начнут делать люди, сидящие на высоких должностях, если какой-то экспедитор позволяет себе такое?

До поры до времени поэта не трогали. Поговаривали, что сборник его песен будто бы понравился самому Людовику XVIII (этот старый подагрик, ох, как любил игривые песенки!). Передавали и слова короля, что, мол, «автору «Короля Ивето» можно многое простить». Людовик еще надеялся, что поэт «образумится».

Но начальство и полиция не очень-то верили в это. Сборник сборником, но есть у этого Беранже и другие песенки, не вошедшие в сборник и весьма подозрительные. А теперь еще нате вам — «Птицы»!

Беранже вызвали в министерство для объяснений.

Место Арно в отделе просвещения занял литератор Петито, ханжа и легитимист, пытавшийся разыгрывать роль благожелательного и благоразумного наставника.

— Ай-яй-яй! Что же это вы ни о себе, ни о нас не заботитесь? — укорял он Беранже. — Ну что дают вам эти песенки? И место вы могли бы получить повыше! Почему бы вам не использовать старые связи вашего батюшки с графом де Бурмоном? Граф ведь теперь занимает немалое положение и мог бы вам быть полезен.

Нежелание Беранже следовать столь добрым советам казалось чиновнику нелепым и злостным упрямством. При дальнейших встречах с Беранже Петито перешел к предупреждениям.

— Имейте в виду, если вы издадите новый сборник, это будет равносильно вашей отставке, — заявил он.

Новые тома Беранже пока что не выпускал — не так-то легко они создаются! Но над новыми песенками работал усердно.

Певец Лизетты и застольных утех рос на глазах, но совсем не в ту сторону, куда хотели бы его заставить расти власти предержащие. Беранже становился политической силой, за обладание которой начали бороться различные партии.

Крайние реакционеры, ультрароялисты, засевшие в палате 1815 года, иронически прозванной из-за своего «отборного» состава «бесподобной палатой», не рассчитывали на то, что автор «Челобитной» вдруг переметнется на сторону осмеянных им «породистых псов». Вопреки чаяниям короля они видели в песеннике опасного врага и рады были бы заткнуть ему рот.

По-другому относились к Беранже «умеренные роялисты» или «доктринеры», отвергавшие крайности реакции сторонники конституционного режима. Они всячески заигрывали с песенником и предлагали ему место штатного сотрудника в газете «Конституционалист».

Беранже ответил на это предложение вежливым отказом, объясняя его тем, что, мол, по свойствам характера и по манере работы он вовсе непригоден для ремесла журналиста. Ответное письмо его в редакцию газеты заканчивалось примечательным постскриптумом:

«*P.S.* При сем «Маркиз Караба». Сочинять песни — мое ремесло. Досадно, что оно малодоходно».

Да, он избрал себе ремесло, смотрит на него уже совсем другими глазами, чем раньше, и не сменит его ни на какое другое. Не безделками для отдыха и развлечения станут его песни, они будут служить большой цели: помогать народу в борьбе с реставрированной монархией. Беранже уже приобрел репутацию песенника оппозиции.

Фронт оппозиции Бурбонам был в то время очень широк и разнороден. К нему присоединялись и левые республиканцы, «якобинцы», как их называли на прежний лад, и умеренные республиканцы, и либералы различных оттенков, и бонапартисты, и даже умеренные роялисты. Их всех объединял протест против феодально-католической реакции, против режима, сковывавшего экономическое и политическое развитие страны.

Каждая из этих партий была бы рада безраздельно овладеть песенником оппозиции, объявить его своим. Сам Беранже считал себя республиканцем, но организационно ни в какую партию не входил. Он стремился сохранять независимость, чтоб выступать не от лица одной какой-нибудь группы, а от большинства народа.

* * *

Песня «Маркиз Караба», посланная вместе с письмом в редакцию «Конституционалиста», была одной из самых острых и ядовитых стрел, пущенных песенником в лагерь врага. Он целился в оплот реставрированной монархии, в матерых

помещиков-феодалов, бежавших некогда от революции, а теперь вернувшихся во Францию, чтоб переделать все на старый лад. Это были те самые алчные и тупые господа эмигранты, которые, по меткому выражению Талейрана, ничего не забыли и ничему не научились. Это они призвали к жизни реакционную «бесподобную палату», это они ратовали за «исключительные законы», за белый террор.

Вот он гарцует на отощавшем скакуне, злобный старый маркиз:

Встречай владыку, голытьба!
Ура, маркиз де Караба!

Беранже наградил его именем персонажа из сказки Перро «Кот в сапогах». Но маркиз де Караба из старой сказки вел свой род от некоего мельника, а его тезка из песни Беранже с негодованием отвергает подобные слухи о своем происхождении. Он, мол, прямой потомок самого Пипина Короткого, его род древнее королевского, и привилегии, которыми он владеет, даны ему «свыше».

Давить и грабить мужичье —
Вот право древнее мое;
Так пусть оно из рода в род
К моим потомкам перейдет.

Как и «породистые псы», маркиз сам выбалтывает все, что у него на душе. Несколько точных деталей портрета, хвастливый монолог — и он весь тут, омерзительный, опасный и в то же время нелепый со своими несоразмерными претензиями, пустозвонством и самохвальством. Смешной и зловещий анахронизм, призванный к жизни реставрацией, человек, лишенный чувства реальности.

Живые оригиналы маркиза увидели себя, как в зеркале, в песне Беранже. Некоторые, даже весьма правоверные роялисты, из числа тех, кто поумнее, не могли удержаться от смеха — так разительно было это сходство. А о том, как хохотали люди из другого лагеря, и говорить нечего.

Имя маркиза де Караба стало во Франции нарицательным.

Главой и вдохновителем маркизов де Караба, поддувалом реакции в стране был родной брат Людовика XVIII граф д'Артуа. Он имел собственный двор, свой штат советников, наушников и прихлебателей, которые участвовали во всех интригах,

затеваемых в высших и прочих сферах.

Твердолобый, ограниченный, фанатичный в своей ненависти к революции, граф д'Артуа любил похваляться тем, что он принадлежит к числу немногих французов, взгляды которых ни на йоту не изменились после 1789 года. Соответственно этим взглядам он не желал считаться ни с ходом истории, ни с интересами Франции и рвался к одному — вернуть страну к дореволюционным порядкам. Вернуть маркизам Караба и их отпрыскам конфискованные поместья и былую власть. Вернуть иезуитам и попам их доходы, паству и земли.

Брат короля был одним из старейших членов и заправил Конгрегации — тайного религиозно-политического общества, образовавшегося еще во времена республики и ставившего своей целью защиту католической религии и восстановление старого, монархического режима.

После реставрации это общество приобрело особую силу и вес. Члены Конгрегации совали носы во все дела французского королевства, негласно заправляли и ходом выборов, и прениями в министерстве, и назначением местных властей.

Конгрегация, руководившая армией избирателей — маркизов де Караба, добилась того, что в «бесподобной палате» 1815 года из 402 членов 350 были матерыми ультрароялистами.

Неистовства дорвавшихся до власти маркизов Караба вызвали возмущение большинства французов. Даже могущественные иностранные державы обеспокоились, не приведут ли Францию крайности реакции к новому революционному взрыву.

Осенью 1816 года порядком перетрухнувший Людовик XVIII под давлением своих советников решился на роспуск «бесподобной палаты». В результате новых выборов вопреки всем происках Конгрегации большинство мест в палате завоевали на этот раз уже не крайние, а умеренные роялисты; среди депутатов появились даже отдельные фигуры «независимых».

Негласным вершителем политических дел во Франции стал королевский фаворит Деказ. Бывший полицейский префект, добравшийся еще молодым до министерского поста, он обладал искусством маневрирования между политическими лагерями и, что весьма ценилось при дворе, был признанным мастером легкой светской беседы. Никто лучше Деказа не мог потешить короля очередной придворной сплетней со всеми пикантными подробностями или новым забористым анекдотцем. Щеки и живот тучного Людовика тряслись от смеха, он с обожанием глядел на своего любимца и всецело полагался на него в государственных делах (сам король ленился вникать в «скучные»

политические вопросы).

Белый террор поутих в стране, правительство взяло более «умеренный» курс. Но Конгрегация продолжала накладывать свою тяжелую лапу на всю внутреннюю жизнь Франции. В согласии с ней действовали и чиновники-роялисты, и господа помещики, и служители церкви.

* * *

Бок о бок с роялистскими «индюками», маркизами Караба на общественной арене реставрированной монархии успешно подвизались хитроумные и корыстные авантюристы, умевшие приспособиться ко всякому режиму.

Сохранять свои личные преимущества при любом «хозяине», ловко применяться к обстоятельствам, соблюдая собственную выгоду, — эта циническая мораль все больше входила в силу. Образцами ее могли служить прославленные государственные мужи Талейран и Фуше. Преемники и подражатели этих виртуозов предательства заседали в палатах и министерствах, в судах и департаментах. Политические флюгера в мундирах, дипломатических фраках, церковных сутанах! И среди людей искусства расплодилось немало марионеток, готовых плясать на потеху сильным мира сего.

«Паяц» — так назвал Беранже новую песенку. Герой ее сам повествует о своей карьере.

Шутом на свет я был рожден.
Отец, без проволочек,
Дал мне пинка и выгнал вон:
«Скачи, мол, сам, сыночек!..
Ты толст, плечист
И неказист,
Не прыгай вполовину…
Смотри, дружок:
Сперва прыжок,
Потом — пониже спину!..»

Так паяц и прыгал всю жизнь: сначала перед вельможей — вместо собачки, потом перед братом вельможи, «вытолкавшим» прежнего хозяина, потом перед «законным сыном» нового властителя, потом снова перед прежним хозяином:

Чего тужить? —

Мне лишь бы жить
В тепле, на даровщину!

Что ему принципы? Он думает только о своем благе.

Что б ни случилось — я всегда
Доход считаю целью…

Паяц из песенки Беранже не карикатура на какую-нибудь определенную личность. Это социальный тип. Такие вот «попрыгунчики», процветающие при любом режиме, охотно пляшут на поводу у маркизов де Караба. Политическая беспринципность, забота о личной выгоде великолепно уживаются с реакцией и готовы служить ей.

«Догадливые» приятели из «Погребка» увидели, однако, в песне Беранже не широкую социальную сатиру, а личный выпад против Дезожье, бывшего в то время директором театра «Водевиль». К Беранже обратились с вопросом, действительно ли Дезожье послужил для него прообразом «паяца».

— Вы забываете, что я направляю стрелы только против сильных мира сего, к тому же, когда появился «Паяц», мы были с Дезожье еще в дружеских отношениях, — ответил Беранже. — Хотя кое-что и могло навести на мысль об этом песеннике, тем не менее паяц — это обобщающий образ, и те, чьи интересы отразились в нем, занимают гораздо более высокое положение, чем директор «Водевиля».

Такое же объяснение дал автор и в примечании к песне, сделанном потом.

В начале второй реставрации Беранже и Дезожье действительно были еще дружны. Беранже даже написал тогда приветственную песенку «Моему другу Дезожье, только что назначенному директором «Водевиля». В шутливой форме песенка давала новоиспеченному директору советы, как вернуть театру народный характер:

Пусть балаган вернется старый
На сцену с шуткой площадной.
Пусть вместо плоской эпиграммы
Сверкает дерзостный куплет…

Быть справедливым и беспощадным в обличении призывал своего друга Беранже:

Не бойся штрафа и упрека —
Чуть не с рожденья «Водевиль»
Живет доходами с порока,
Метет насмешкой сор и пыль.
Вонзай в того сатиры жало,
Кто вьется в лести, как червяк.
Ты сам, чудак,
Вину не враг,
Налей полней и пей — вот так!
А «Водевилю», как бывало,
Верни с бубенчиком колпак.

И Дезожье принялся за дело, но… ведь это чересчур рискованно — быть смелым, находясь на виду у властей. Гораздо проще и удобней пускать стрелы так, чтоб заслужить их одобрение и похвалу.

В одной из первых своих программ новый директор попотчевал публику комическими куплетами, высмеивающими… «сто дней» Наполеона.

Это пришлось как нельзя более по сердцу властям.

Беранже возмутился. Как! Значит, добрый его приятель вместе с паяцами, с теми, кто готов плясать в угоду каждому новому хозяину!

Конечно, Беранже и раньше слишком хорошо знал Дезожье с его слабохарактерностью и легкомыслием, чтоб возлагать на него серьезные надежды как на соратника в борьбе. Но после злосчастных куплетов как будто некий барьер вырос между былыми друзьями.

А тут как раз появилась песня о паяце, и те же услужливые знакомые, прослышав о ссоре двух песенников, стали подливать масла в огонь, уверяя Дезожье, что он и есть оригинал беранжевского паяца.

Дезожье не раз пытался объясниться, помириться с Беранже, но тог ни шагу не делал навстречу. Прежняя дружба сломалась, и уже ничего нельзя было исправить.

* * *

И Людовик XVIII, и его фаворит Деказ, и другие министры очень хотели бы, чтоб подданные французской монархии довольствовались легкими блюдами «Водевиля», отвлекающими от вредоносных политических страстей.

Но до правителей то и дело доносились песни совсем другого толка — колючие, задиристые, бурлящие как раз такими вот недозволенными страстями. Агенты и сыщики доставляли рукописи этих песен в полицейские префектуры и докладывали хозяевам, что в Париже и других городах Франции плодятся весьма подозрительные «общества» и кружки. На своих сборищах члены этих кружков не только поют дерзкие песни, но и ведут крамольные беседы.

Действительно, песенные содружества одно за другим рождались в реставрированной монархии, и многие из них превращались в своеобразные политические клубы. «Кролики», «Медведи», «Птицы», «Гамены», «Истинные французы» и еще много других песенных обществ с живописными названиями появлялись в то время в Париже. Кружки песенников в рабочих предместьях назывались гогеттами{*Goguette* — от слова goguer — шутить, балагурить, насмехаться, пировать *(франц.)*.}; здесь смех звучал особенно раскатисто, здесь не боялись дерзкой шутки. И каждая новая песня Беранже была здесь желанной гостьей.

Обличие песенных содружеств принимали иногда и тайные общества политической оппозиции. В одном из них состоял некоторое время Беранже. Оно именовалось обществом Апостолов, кличкой каждого члена было имя какого-нибудь библейского апостола. Беранже носил кличку Жак Старший.

К удивлению своему, он встретил на очередной сходке «апостолов» шевалье де Пииса, который голосовал когда-то против его принятия в члены «Погребка». Шевалье вел себя совсем по-иному, чем прежде. Ни следа недоброжелательства. Никакой ворчливости. Напротив, Пиис так дружески относится к песеннику оппозиции и собрату по кружку, так горячо интересуется каждой новой его песней! Участвуя в общих беседах, шевалье вспоминает о том, как в годы революции он — тогда еще молодой поэт — воспевал ее в стихах. Да-да, он всегда был вольнодумцем и сторонником всего передового. При империи он принужден был таить это; что поделать — такие времена! Но вот когда находишься среди настоящих друзей…

Заверения старого Пииса как-то настораживали. Беранже помнил, что Дезожье советовал ему не петь при этом человеке «Короля Ивето» и вообще не говорить лишнего. Тогда Пиис подвизался в полицейской префектуре. Этот человек, служивший поочередно разным политическим режимам, наверняка сумел и теперь найти соответствующее местечко.

Содержание бесед, которые вели «апостолы», в скором времени стало известно полиции, кое-кого из членов кружка уже вызывали в префектуру для объяснений, а за иными установлена

слежка. Значит, в кружке действительно завелся доносчик!

Судьба общества Апостолов отнюдь не исключительна.

— Иуд развелось теперь так много, что самому господу богу не мешало бы поостеречься, а не только нам, смертным, — говорит Беранже друзьям.

На одной из последних сходок, происходившей в отсутствие де Пииса, Беранже пропел «апостолам» новую песню — «Месье Жюда»{В русском переводе Курочкина — «Господин Искариотов».}. Песня начиналась с обращения к «братьям апостолам». Надо действовать заодно, и сам «брат добрый бог» будет вместе с ними, но не стоит слишком громко говорить о своих делах, лучше — потише. И затем следовал рефрен:

Тише, тише, господа!
Господин Искариотов —
Патриот из патриотов,
Приближается сюда.

Беранже пропел эти слова вполголоса и с чрезвычайно выразительной интонацией. Все невольно вздрогнули и оглянулись. Де Пииса в комнате не было. Но когда Беранже пропел следующую строфу, слушателям показалось, что он здесь, перед ними, просвеченный насквозь взглядом песенника. Нет, это даже не Пиис, это нечто большее. Отвратительная фигура провокатора, улыбающегося подлеца встала перед ними.

Господин Искариотов —
Добродушнейший чудак:
Патриот из патриотов,
Добрый малый, весельчак.
Расстилается, как кошка,
Выгибается, как змей…
Отчего ж таких людей
Мы чуждаемся немножко?
И коробит нас чуть-чуть
Господин Искариотов,
Патриот из патриотов, —
Подвернется где-нибудь.

Первую строфу — обращение к «апостолам» — автор решил потом вычеркнуть из песни. Нечего связывать тип провокатора с одним каким-то кружком, решил Беранже, этот тип шире и значительнее.

«Портрет этого трусливого апостола схож со столькими людьми, что после уничтожения первого куплета песня получает обобщающий характер», — напишет он в примечании к песне.

Общество Апостолов распалось, но шевалье де Пиис продолжал свою деятельность осведомителя, оставаясь членом либерального общества «Друзей печати», и получал от правительства кресты и пенсии.

# В САЛОНАХ

Час сумерек с его зыбкой окраской. В окнах домов зажигаются первые огоньки, а в мастерских, на фабриках, в лавках опускают ставни, задвигают тяжелые засовы. Усталый рабочий люд заполняет улицы предместий. Кто спешит домой, кто на свидание к Марго или Жанетте, а кто — в кабачок.

И ему, Беранже, тоже пора расправить плечи, пройтись. Новая строфа песни отточена, отшлифована на славу. Сколько трудов потребовалось для этого!

На деревянном простом столе, который служит ему и для еды и для работы, рядом со стопкой бумаги громоздятся словари, справочники. Это друзья и помощники Беранже. Он постоянно советуется с ними в поисках самого точного и меткого слова, в стремлении проникнуть в его глубины, разгадать его разнообразные смысловые оттенки, заставить слово блестеть в стихе новыми гранями. Разведчик недр живой речи, молотобоец и ювелир — все это соединилось для Беранже в ремесле поэта. Поиски, добыча — и тут же беспощадно строгий отбор.

Все должно быть в песне естественно, доходчиво и в то же время предельно кратко. Цветистые эпитеты и затейливые украшения лишь затемняют ее смысл, они не нужны в этом жанре — к таким выводам пришел он. Поступь песни должна быть легка и стремительна, облик — ясен и целен. Единство мысли, чувства и их словесного выражения — залог действенности песни.

Он уже успел далеко уйти в своих размышлениях и поисках от поэтических формул «Погребка», от его примитивной морали, выраженной когда-то в четырех словах: смеяться, петь, любить и пить!

Конечно, он не изгнал из своих песен смех и шутку. Но веселый блеск застольной песенки сочетался в его поэзии с гражданским пылом. Задорный напев улицы — с ясностью и чистотой классических образцов.

Он еще чувствует себя в начале пути, но уже приступил к своей главной жизненной задаче — дать Франции новую песенную поэзию, которой раньше у нее не было.

Размышляя обо всем этом, Беранже тщательно чистит воспетый им «старый фрак», облачается в него и выходит на улицу. Работа его над песней продолжается всюду, где бы он ни был. О чем сегодня спорят в кабачках, какие песенки поют на бульварах, что волнует литераторов и политиков на их сборищах — все он должен знать, слышать, во всем улавливать главное, добывая тот жизненный сок, который заиграет в его песнях.

Куда направить шаги? Прежде всего, конечно, пообедать. С тех пор как Кенекур с семьей переехал в 1813 году в Париж, на столе милейшего настоятеля «Монастыря беззаботных» всегда ставится прибор для брата Весельчака. Здесь Беранже чувствует себя как дома. Можно отвести душу, если есть неприятности, отдохнуть после напряженного дня. А потом, набравшись сил, пойти куда-нибудь в более многолюдное общество.

«Погребок» к 1817 году как-то зачах и распался. Большинство его членов перешло в песенное содружество «Ужины Мома». Мом — божок иронии и шутки в античной мифологии — обычно изображался с погремушкой в руках, и председатель «ужинов» обладает этой божественной регалией. Погремушка служит на сборах вместо звонка, и Беранже часто потрясает ею, зовя к тишине и вниманию балагуров, собравшихся за длинным столом в ресторане Бовилье…

Здесь, на песенных сборах, укрепились некоторые старые знакомства Беранже и завязались новые. Впрочем, он не ищет знакомств, особенно со знатными персонами, они сами его ищут. Банкиры и политики, академики и поэты наперебой приглашают Беранже в свои салоны.

Конечно, простой кабачок и компания испытанных друзей привлекательнее для Беранже, чем светские гостиные. Но надо искать опоры для новой песенной поэзии в различных кругах общества, он пришел к этому убеждению с тех пор, как предпочел песню всем другим жанрам.

«Я сочетался браком с этой бедной, но веселой девушкой, собираясь сделать ее достойной приема в салонах нашей аристократии, но не заставляя ее отказываться от старых знакомств, ибо она была дочерью народа, от которого ждала своего приданого. И я был вознагражден гораздо больше, нежели того заслуживали мои произведения, хотя они и обладали той особенностью, что благодаря им в продолжение лет двадцати поэзия вторгалась в политические дебаты», — напишет Беранже в своей «Автобиографии».

Итак, он теперь захаживает в литературные и политические салоны. Бывает иногда в салоне Бенжамена Констана. Этот корифей либерализма обладает выдающимся ораторским и литературным талантом. В 1816 году публика зачитывалась его романом «Адольф», в котором с большим психологическим мастерством нарисован тип современника, молодого француза начала XIX века.

Бурные речи и споры слышатся и в других оппозиционных салонах. У промышленника Давийе собираются либералы и бонапартисты. В салоне литератора-академика Жуй господствует

вольтерьянский антиклерикальный дух. Сюда Беранже заглядывает охотно.

С Этьеном Жуй он познакомился еще на обедах «Погребка» и нашел в нем не только веселого застольного собеседника, но и неутомимого пропагандиста своих песен. Отшельник — такое прозвище получил Жуй в дружеском кружке. Оно произошло от названия книги его очерков «Отшельник с шоссе д'Антенн», и есть в этом прозвище веселая лукавинка. Завзятый вольнодумец, широкоплечий, румяный острослов, с военной выправкой и громким смехом, меньше всего походит на какого-нибудь постного святошу, пустынника-анахорета.

До того как он взялся за перо, Жуй вел полную приключений жизнь. Еще юношей побывал в Гвиане, потом служил в Индии в Люксембургском полку. Потерял два пальца правой руки, участвуя в морском бою. В годы революции служил в армии под начальством генерала Морана. Лишь годам к тридцати пяти Жуй поселился в Париже и сделался литератором. Из-под быстрого пера его выходили и трагедии, и критические статьи, и либретто опер, и застольные песенки, и памфлеты, и очерки. Он как будто спешил наверстать упущенное. Ни в одном жанре не достигал больших высот, однако писал остро, живо и с профессиональным мастерством. Да, это был необыкновенный отшельник!

Вместо требника в пустыне
Сам Вольтера книгу взял,
Видя в этом капуцине
Свой разумный идеал.

Так говорилось о нем в песенке Беранже «Другу-отшельнику», пропетой за столом Жуй в день его рождения.

По родству, ему в наследство
Дал Рабле свой капюшон,
Чтоб нашел в веселье средство
Мудрецом остаться он,
Чтоб монахов без стесненья
Бичевал бы сам стихом.
Твоего за нас моленья,
Друг-отшельник, ждем!

За столом у Жуй Беранже решил впервые пропеть свою новую песню «Бог простых людей».

Подходя к дому Отшельника, он чувствует лёгкое волнение.

Как примут его слушатели? Ведь до сих пор считается, что песня не должна вторгаться в область высокой поэзии, затрагивать возвышенные философские темы, а он попытался преступить этот запрет.

Окна Жуй светятся. Люстры зажжены, гости уже за столом. Рядом с либеральным депутатом — актер из театра «Водевиль», рядом с известным историком — начинающий писатель… Беранже бурно приветствуют. Без него и веселье не то, и ужин не в ужин, и десерт не в десерт.

Когда подходит его очередь в застольном круге, Беранже исполняет новую песню. Да, тон ее необычен, строфы этой песни не назовешь куплетами, настолько высок их строй.

Почитанию «земных богов», погоне за богатством и властью, чувствам и верованиям, принижающим людей, Беранже противопоставляет человеческое в человеке, «естественную» мораль людей, чистых сердцем.

Добро и разум, любовь, дружба и чудесный дар творчества — вот во что стоит верить, чему стоит поклоняться!

Напрасно церковники пугают людей страшным судом и муками ада.

Не может быть! Не верю в гнев небесный!
Свой долг земной я выполнял, как мог:
Любил любовь, и верил в дар чудесный,
И не пускал печали на порог.
Ко мне, любовь, вино, друзья! Я знаю,
Что вправе жить живое существо!
Держа бокал, тебе себя вверяю,
Всех чистых сердцем божество!

* * *

Свобода слова и мысли была в цепях, и все же ораторское искусство, пышно расцветшее некогда в годы революции, не иссякло, не зачахло во Франции.

На трибуне палаты депутатов шли настоящие турниры красноречия, ораторские поединки. Блестящие импровизированные речи произносились в салонах, которые посещал Беранже. И одним из лучших ораторов был депутат оппозиции, республиканец Манюэль. Роялисты ненавидели и побаивались его.

— Под мягким обличием кошки в этом человеке таится

тигр, — говорили они.

Беранже впервые встретился с Манюэлем в 1815 году в одном из салонов. Высокий, худощавый, с бледным лицом южанина, с неспешными движениями, Манюэль не торопился вступать в споры. Но за внешней сдержанностью его угадывалась скрытая сила. *Это* впечатление подтвердилось, когда Манюэль заговорил. Речь его захватывала убежденностью, силой логики, блеском отточенных сарказмов. Действительно, такой оратор может быть грозой для политических паяцев и маркизов Караба, думал Беранже.

Чем лучше узнавали друг друга депутат и песенник оппозиции, тем глубже становилось их взаимное расположение.

Сын провинциального нотариуса, Манюэль, как и Беранже, не имел ни капиталов, ни титулов и выдвинулся лишь благодаря таланту, труду, уму и воле.

Как и для Беранже, духовной родиной для него была революция.

Восемнадцатилетним юношей вступил Манюэль в революционную армию. Когда школьник Пьер Жан упражнялся вместе с товарищами в стрельбе из маленькой пушки на пероннском валу, Манюэль шел в атаку на врага. Он дослужился в войсках республики до чина капитана артиллерии. Во время итальянской кампании был тяжело ранен и после того уже больше не вернулся в армию.

Юрист по образованию, он занялся адвокатской и журналистской деятельностью. Во время «ста дней» его избрали в палату депутатом от Барселонетты. В 1818 году, после роспуска «бесподобной палаты», Манюэль был избран вторично, на этот раз от Бретани. К голосу его прислушивалась не только Франция, но и вся Европа.

Оба друга — один речами, другой песнями — атаковали лагерь феодальной реакции, и фронт их атак расширялся, а удары становились все решительней и весомее.

Манюэль был одним из редакторов либерального журнала «Минерва», За два года своего существования, (1818–1819), обходя цензурные рогатки, журнал сумел опубликовать много песен Беранже («Маркитантка», «Простолюдин», «Изгнанник», «Старушка», «Бренюс», «Священный союз народов», «Миссионеры», «Мой старый фрак», «Дети Франции», «Возвращение на родину», «Время» и др.).

Беранже ценил благожелательный прием, который находила в «Минерве» его политическая поэзия, но на предложение стать постоянным оплачиваемым сотрудником редакции ответил отказом.

— Просто смешно заставлять друзей моих оплачивать куплеты, сочинение которых доставляет мне столько удовольствия, — говорил он Манюэлю.

Причина его отказа, однако, крылась глубже.

«Я с большим удовольствием подчиняюсь вашей литературной цензуре, — писал Беранже редакторам «Минервы» в октябре 1819 года. — Что касается политического духа моих куплетов, я не могу вам обещать столь полного послушания… Песенник — это застрельщик. Он идет на риск. Вы должны также иметь в виду, милостивые государи, что я мог бы настаивать на помещении тех песен, которые могли бы навлечь на вас ответственность».

Нет, Беранже не хочет подвергаться политической цензуре, пусть даже цензорами будут его друзья. Он отстаивает свою независимость. И Манюэль понимает его.

Встречи друзей становятся все чаще. Делиться мнениями, советоваться, вместе обсуждать политические дела и творческие замыслы становится для каждого из них настоятельной потребностью.

Манюэль часто бывал в салоне Лаффита. Этот богатейший банкир Франции, ворочавший колоссальными суммами, ведавший личными расходами короля, славился как филантроп и завзятый либерал. В его особняке на улице д'Артуа собирались вожаки политической оппозиции. Здесь вели поединки красноречия признанные корифеи либерализма, здесь оттачивали свои ораторские таланты и завязывали полезные знакомства молодые политические честолюбцы, будущие ученые, писатели, министры. Богатейшие люди Франции и бедные студенты, либералы, доктринеры, бонапартисты — пестрое, говорливое, разношерстное общество толпилось по вечерам в этом салоне, сделавшемся своеобразным штабом оппозиции.

Манюэль не раз звал Беранже пойти вместе с ним к Лаффиту, но песенник упорно отказывался.

— Я всегда недолюбливал финансовых дельцов, их раззолоченные салоны и шумное общество. Нет, там нечего искать дружбы, — отвечал он на уговоры Манюэля. Но уговоры становились все настойчивее, Беранже в конце концов сдался.

Все головы поворачиваются к Беранже, как только он появляется на пороге. Те, кто видит его в первый раз, с жадным любопытством рассматривают, каков из себя этот песенник, снискавший такую популярность.

Перед ними худощавый стройный человек средних лет и среднего, скорее даже невысокого роста. Большая, слегка склоненная набок голова сияет обширной лысиной. Редкие

светлые волосы растут по краям ее и длинными прядями спадают на высокий крахмальный воротник из белого льняного полотна. Лицо круглое, глаза голубые, выпуклые и очень выразительные. Смотрят простодушно и прямо, но где-то в глубине их скачут лукавые смешинки. А рот, может быть, еще выразительней глаз. Хорошо очерченные пухлые губы с длинными и тонкими уголками. Вот один уголок слегка вытягивается, а губы приоткрываются — так и видно, что сейчас из них вылетит острое словцо!

На нем опрятный, но сильно поношенный темный сюртук и клетчатый жилет. Руки без перчаток; он не носит их и вообще не делает различия в своем костюме, куда бы ни шел. Об этом все уже слышали. В светской гостиной Беранже появляется в той же одежде, что и в кабачке на песенном сборе какой-нибудь гогетты.

Он нисколько не скрывает своей бедности. Напротив! Даже подчеркивает ее при случае: не стыдится ее, а гордится ею.

Где бы он ни был, Беранже остается самим собой. Поза и фраза, всяческое щегольство ненавистны ему, в чем бы они ни проявлялись — Bi поэзии или в жизни, в одежде или речах.

Хозяин салона спешит навстречу долгожданному гостю.

— Наконец-то вы здесь, с нами!

Лаффиту уже за пятьдесят (он на тринадцать лет старше Беранже), но движения его быстры, глаза зорки, на губах играет дружелюбная улыбка. Никакого чванства, зазнайства, банкирской важности не видно в этом человеке, облаченном в долгополый коричневый сюртук. От Манюэля Беранже слышал, что Лаффит выбился из «низов». Трудолюбие, упорство и недюжинные коммерческие способности помогли ему превратиться из бедняка в финансового туза. Этот умный и дальновидный банкир прекрасно понимает, как вредна для Франции, как препятствует буржуазному прогрессу феодальная реставрация. Этим и объясняется его активная политическая оппозиционность. Своими связями и деньгами он оказывает большую помощь либеральной партии.

Лаффит представляет песенника гостям. Среди них есть люди, уже знакомые Беранже, но есть и такие, о которых он раньше знал только понаслышке.

Вот, например, два молодых человека — один высокий, с античным профилем и белокурыми кудрями, другой — маленький, проворный, с длинным острым носом и быстрой речью. Это подающие надежды ученые, публицисты, историки. Высокий — Минье, низенький — Тьер. Оба так и норовят пробиться поближе к песеннику сквозь толпу завсегдатаев салона, плотным кольцом окружившую нового гостя. И если не сегодня,

то в один из ближайших вечеров они добьются того, что Беранже заинтересуется ими и станет называть их своими «молодыми друзьями».

Лаффит знакомит Беранже с пожилым статным человеком. Это один из ближайших друзей хозяина и самых почетных его гостей — юрист, политик, либеральный депутат Дюпон де Л'Ер. У него умное, выразительное лицо и лысый череп, как у древнеримского оратора Катона.

Постепенно Беранже вовлекается в общую беседу, а позже за столом с успехом исполняет свои песни, поощряемый восторженными рукоплесканиями.

В следующий раз он уже без особого сопротивления соглашается пойти к Лаффиту и время от времени продолжает наведываться в этот салон.

# ПРЕДВЕСТНИЦА «ИНТЕРНАЦИОНАЛА»

В конце сентября 1818 года немецкий город Ахен готовился к приему «августейших особ». Европейские монархи — основатели Священного союза, избрали его местом для очередного конгресса.

Старинный город славился тридцатью тремя церквами и древним собором. Здесь под стрельчатыми сводами короновались многие поколения императоров и королей. Здесь, согласно преданиям, был погребен сам Карл Великий. Хотя останки легендарного императора и не были обнаружены, но о пребывании их в усыпальнице собора возвещала надпись на тяжелой каменной плите: «Carolus Magnus».

Толпы паломников стекались сюда на поклонение мощам и реликвиям. Монеты так и звякали, опускаясь в кружки для приношений, торговля чудесами шла вовсю.

Спору нет, старинный город с его храмами, гробницами и таинствами был как нельзя более подходящим местом для встречи «христианнейших монархов».

В назначенный срок сюда прибыли высокие гости: русский император Александр I с государственными мужами Нессельроде и Каподистрией, прусский король Фридрих Вильгельм III с двумя министрами, австрийский император Франц II в сопровождении неизменного Меттерниха, а также английские советчики-лорды Веллингтон и Кэстльри.

В этот раз на конгресс пригласили и представителей Франции. Делегацию от монархии Бурбонов возглавлял первый министр герцог Ришелье. Французы волновались. На конгрессе должны были решаться дальнейшие судьбы их нации.

Ришелье в своем выступлении заверял руководителей конгресса, что оккупационные войска, введенные во Францию в 1815 году и призванные оберегать престолы и алтари Европы от посягательств крамольников, уже выполнили свое назначение в реставрированной монархии. Монархия окрепла, и никакие революционные бури не грозят ей более.

Основатели Священного союза и их советчики приняли эту речь благосклонно. Они и сами подумывали о том, что пора бы отозвать из Франции своих солдат, не то еще наберутся в этой стране бунтовщиков всяких возмутительных идей.

Конгресс постановил вывести оккупационные войска из Франции досрочно, не позднее 30 ноября 1818 года. Вопрос о дальнейшем устроении судеб реставрированной монархии вызвал, однако, разногласия. Можно ли оставить без постоянного надзора эту страну, чреватую революциями? Государи

колебались. Наконец после долгих прений было решено допустить Францию к участию в «концерте великих держав» и в то же время сообща держать подозрительного партнера в узде, немедленно вмешиваясь во французские дела в случае какого-нибудь опасного поворота или переворота в политической жизни страны.

Конгресс выпустил торжественную декларацию, оповещавшую весь мир, что «августейший союз» пополнился новым членом.

* * *

— Ну, как? Радуемся? Такое событие, такое событие! — шамкал герцог Ларошфуко де Лианкур, пожимая руку Беранже.

Старый вольнодумец, вельможа времен Людовика XV, Ларошфуко хотя и провел долгие годы в эмиграции, но сочувствовал либералам и всячески выказывал свое расположение к поэту оппозиции, встречая его в салонах.

— А у меня к вам большая просьба, — продолжал герцог, не дожидаясь ответа Беранже. — В честь освобождения Франции от вражеских войск я устраиваю праздник у себя в замке Лианкур. Прошу быть моим гостем и горячо надеюсь, что вы пропоете на нашем торжестве новую песню, прославляющую освобождение Франции от иноземных штыков.

Беранже сказал, что он подумает, но не дал никаких твердых обещаний.

И без просьб герцога он уже думал, как откликнуться на это событие.

Оду на случай он не станет сочинять и, конечно, не будет воспевать благость монархов, соизволивших присоединить Людовика XVIII к своему сонму и очистить Францию от оккупантов после того, как эти самые «благодетели» ограбили и унизили ее.

В написанной раньше песне «Варварийский священный союз» Беранже уже выразил свое отношение к союзу монархов, основанному после поражения Наполеона, и за два прошедшие с тех пор года его отношение не изменилось. Не изменилась и цель союза августейших варваров. Она все та же: охранять королевские троны, блюсти реакцию и душить свободу во всех ее проявлениях.

Коль усмотрел союз священный,
Что где-нибудь король почтенный
Свалился с трона, — вмиг на трон

Посажен будет снова он;
Но пусть заплатит все расходы
На сено, провиант, походы…

Так говорилось в прежней песне Беранже. Так оно и было на деле. Конечно, после вывода оккупантов французам станет дышаться легче, но разве сможет народ расправить плечи, пока на них сидят маркизы Караба?

Вот если б вместе с оккупантами убралась из Франции и династия, посаженная при помощи их штыков… Вот если б не монархи диктовали народам свою волю, а сами народы объединились бы, протянув друг другу руки!.. Да, такой союз, союз народов, по праву мог бы называться священным. Об этом стоит мечтать, за это стоит бороться. Такая тема действительно может вдохновить поэта и на гимн и на оду.

«Священный союз народов» — так и назовет Беранже свою новую песню. Весь строй ее должен быть возвышенным и торжественным в соответствии с главной идеей.

И песня начала складываться. Казалось, будто сама природа помогала поэту. Осень в том году была во Франции необычайной. В октябре, как весной, во многих местностях вторично зацвели плодовые деревья. Разве не призывают на землю мир, не поют славу труду эти золотые поля, эти тяжелые кисти винограда, брызжущие веселым, пьянящим соком, эти яблони, облитые нежным бело-розовым цветом?

Видел я Мир, снизошедший на землю…
Золото нес он, колосья, цветы.
Пушки умолкли… Все тихо… я внемлю
Голосу, что зазвучал с высоты.

Зачин песни найден. Голос богини мира несется над цветущей, плодоносящей землей и взывает к народам устами поэта:

Доблестью все вы равны от природы,
Русский и немец, британец, француз.
Будьте ж дружны и сплотитесь, народы,
В новый священный союз!

В двух строках рефрена бьется сердце песни, набатом звучит призыв к единению и братству тружеников всех наций. Вот где

путь к миру и счастью на земле! И не короли, не угнетатели и их полководцы укажут людям этот путь.

Ваши владыки, что падки до славы,
Смеют указывать скиптром своим,
Чтобы умножить триумф свой кровавый.
Новые жертвы, потребные им…
Вы, словно стадо, сносили невзгоды,
Переменяя лишь бремя обуз…
Будьте ж дружны и сплотитесь, народы,
В новый священный союз!

Через тридцать лет после появления песни «Священный союз народов», 23 февраля 1848 года, в приветственном письме временному правительству второй французской республики, подписанном Карлом Марксом, будут написаны такие слова:

«Честь и слава вам, французы! Вы заложили фундамент союза народов, пророчески воспетого вашим бессмертным Беранже»{*К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Сочинения, т. 4. М., 1955, стр. 537.}.

Песня Беранже — одна из первых предвестниц «Интернационала», который спустя полстолетия зазвучал над землей.

* * *

Копии текста песни, сделанные друзьями и слушателями Беранже, сразу же начали распространяться по Франции. Одну из копий автор не замедлил переслать в замок Лианкур. Она поспела к празднику.

— Ну, теперь мне обеспечена протекция в богадельнях и больницах, — сказал Беранже на обеде у Кенекура.

— Что вы имеете в виду? — удивились друзья.

— Как! Разве вы не знаете, что почтенный герцог Ларошфуко состоит попечителем богоугодных заведений? — ответил Беранже и тут же пропел импровизированное двустишие:

Я песню герцогу осмелился послать:
В его больнице мне теперь дадут кровать!

Все расхохотались.

— Что смеетесь? Койкой в больнице нечего пренебрегать.

Герцог при встрече поблагодарил Беранже за песню. Она с

успехом была исполнена на празднике, но все очень сожалели, что среди гостей не было самого автора. Почему же он не откликается на приглашения людей, столь расположенных к нему?

— Господин герцог, поверьте, что не смешная демократическая прихоть мешает мне уступить вашим настояниям, — ответил Беранже. — Я ценю ту честь, которую вы мне оказываете, но ведь я пользуюсь совсем не тем словарем, к которому прибегают в ваших салонах.

Нет, общество вельмож, пусть они даже называют себя либералами, совсем не привлекало его.

# «ПОВСЮДУ СВЕТ ЗАДУЕМ…»

— Да ну их, этих педантов, этих худосочных пуристов! — отводил душу Беранже в беседе с Манюэлем. — Им, видите ли, поперек горла стало слово «пузан», употребленное в песенке «Депутат на выборах в 1818 году». Радетелям высокого слога невдомек, что чем ближе слово к просторечью, тем оно приметнее, свежее и тем лучше играет в сатирической песне. И слово «пузан», может быть, навсегда останется кличкой для политических деятелей определенного разряда, для тех, кто продает в палатах интересы нашей страны, пресыщен милостями и жиреет, прихлебательствуя за столом у министров.

По собственным наблюдениям и по рассказам Манюэля Беранже досконально изучил тип государственного деятеля, преобладающий в реставрированной монархии. Пузаны одного поля ягоды с паяцами; житейские и политические заповеди их вытекают из той же цинической философии личной выгоды.

Чтобы кушать трюфеля,
Надо быть за короля! —

вот первая из заповедей, которую блюдет пузан, пролезший в палату под видом и званием «народного избранника».

Держаться поближе к министрам — это вторая заповедь.

Надо быть весьма речистым,
Чтоб министрам угодить.
Надо шиканьем и свистом
Их противникам вредить.

Заботиться о принципах вовсе не рекомендуется, зато иметь острый нюх депутат обязан:

Ежедневно, господа,
Я твердил то «нет», то «да».

Пузан раздувается, красуется, щеголяет перед избирателями своей политической «весомостью». Он сделает все, что требуется вышестоящим: постарается отвергнуть реформы, позаботится, чтоб зажали рот прессе, чтоб увеличили расходы на полицию. Пусть не беспокоятся просвещенные избиратели и пусть, со своей

стороны, пекутся о нем:

Вы должны кормить, покорны,
Провиденье не хуля,
Нас, пузанов, штат придворный
И, конечно, короля.
А народ, для пользы дел,
Лучше бы поменьше ел.

«Каждый департамент узнавал в пузане своего депутата», — говорил Беранже, не скрывая удовольствия, которое доставила ему эта оценка песни.

Через год тот же персонаж снова выступил в песенке «Пузан на выборах 1819 года». Он не изменился, только еще больше обнаглел и рвется к министерскому портфелю. Пузан обращается с отчетной речью прямиком к тем, в ком всегда находит сочувствие и поддержку: к префектам, мэрам, церковникам. Ведь он же потрафил им за срок своего пребывания в палате, значит теперь они снова должны избрать его!

Когда б рука не мыла руку,
Стеречь овец не мог бы волк.

На этом золотом правиле покоятся благоденствие и карьера пузана. Сомненья нет, он добьется своего. Ему раздолье в монархии Бурбонов…

Да. Прошли те времена, когда голоса гигантов звучали над Францией. Теперь в стране музыку делают торжествующие ничтожества. Об этом поет Беранже в новой песне «Мелюзга, или Похороны Ахилла»:

«Мелюзга, я расплодилась,
Мелюзга, —
Я теперь уж не слуга!
Волей Зевса воцарилась
Я над миром, мелюзга!»

* * *

К возмущению маркизов Караба, паяцев и пузанов выборы 1819 года увеличили число независимых в палате депутатов, к

тому же среди избранных оказался некий аббат Грегуар, старый член Конвента, голосовавший некогда за казнь Людовика XVI.

Король был уязвлен, граф д'Артуа весь клокотал яростью, свора маркизов Караба свистала и улюлюкала, святые отцы гнусили с амвонов, на все лады проклиная цареубийц. В палате депутатов назревал грандиозный скандал.

Министры во главе с Деказом, ставшим к тому времени премьером, поспешили срочно податься вправо. Деказ распустил «Общество друзей печати» и готов был пойти на пересмотр некоторых законов, казавшихся ультрароялистам чересчур либеральными. Но напрасно королевский фаворит расточал обещания, заверения и улыбки: дни его полулиберального министерства были сочтены. Неожиданное событие ускорило ход вещей.

13 февраля 1820 года ремесленник Лувель ударом ножа смертельно ранил сына графа д'Артуа, герцога Беррийского, когда тот выходил из театра. Лувель надеялся, что убийство наследника престола по» ложит конец всей династии Бурбонов. Но удар его свалил не монархию, а лишь герцога да в придачу министерство Деказа.

Династия пока что уцелела, защитники ее ощерились и пошли в наступление.

— Деказ — сообщник убийц! — вопили роялисты. — Вся Франция опутана заговором, и виной тому — либералы!

Как ни жалко было Людовику XVIII разлучаться со своим фаворитом и советчиком, но пришлось согласиться на его почетную отставку. В знак королевской милости Деказу были дарованы звание пэра, титул герцога и дано новое назначение — посланником в Англию, столь милую сердцу старого Бурбона.

В салоне Лаффита тревога. Кружок молодежи теснится вокруг Беранже. Что скажет песенник оппозиции о последних событиях? Нет, он не скорбит о судьбе Деказа и его министерства. Полумеры и экивоки не достигают цели в политике.

— Многие видят причину падения Деказа в убийстве герцога Беррийского, — говорит Беранже. — По* верьте мне, это был лишь повод. Сама система, избранная им и позволявшая каждой партии быть у власти, с давних пор обречена на непродолжительное существование.

Говорят, что сей герой дня не только усердно угождал королю, но и будто бы мирволил либералам. Однако за время его правления наибольшего успеха добились иезуиты, они даже начали захватывать в свои руки народное образование.

Сам Деказ недолюбливал иезуитов, но пуще всего стремился, как бы не прогневить брата короля и его милейших друзей из

Конгрегации, не жалевших угроз для королевского фаворита; в результате он ничего не предпринял, чтобы противодействовать иезуитам.

* * *

Еще в 1817 году капуцины — бродячие монахи — в изобилии появились на парижских улицах. А роялистские газеты в это время умиленно расписывали всяческие религиозные праздники.

— Опасность становится все серьезнее, — говорил Беранже друзьям, в городах причащают за деньги солдат, а в деревнях монахи всячески одурманивают крестьянские головы.

«Хранители божия вертограда» в остроконечных черных капюшонах прикидываются этакими благодетелями:

Несем от голода спасенье
Мы истощенным нищетой,
Давая им по воскресеньям
Кусочек просфоры святой.
Хвалу спешите вознести,
Ведь капуцины вновь в чести!
Король надежная опора,
А церковь всех ханжей приют;
Глядишь, места министров скоро
Церковным старостам дадут!

Церковники рвутся к власти и доходам, только и думают о том, чтоб вернуть конфискованные революцией земли, только и глядят, как бы побольше выколотить барыша из верующих:

Стань набожной и ты, Фаншетта!
Доходно это ремесло.
И даже черт признает это,
Плюя в кропильницу назло.

Песню «Капуцины» тотчас же стали распевать в гогеттах, но в салонах побаивались столь острой сатиры на служителей религии.

Во времена правления сладкогласного Деказа агенты Конгрегации ничуть не изменили своих повадок. Католические монахи продолжали рыскать по деревням и городам Франции, распространяя некое «письмо Иисуса Христа», сфабрикованное

отцами церкви и призывавшее католиков к истреблению всех врагов Реставрации. Они рады были бы вернуть времена инквизиции, раздуть религиозные раздоры в стране.

Мы верой заторгуем
Эй, дуйте, дуйте! Кровь и ад!
Повсюду свет задуем,
И пусть костры горят!

Таков рефрен к песне Беранже «Миссионеры».

Во главе с самим сатаной церковники и монахи замыслили расправу над просвещением, гуманностью, философией во славу невежества, злобы, корысти!

Многие из либералов укоряют Беранже за «слишком резкие» выпады против церковников. Лучше, мол, поосторожнее!

— И кто бы этому поверил? — разводит руками песенник, — те самые миссионеры, которые сделали столько зла и были сверх того еще причиной стольких скандалов, не показались достаточно опасными в 1819 году ряду либеральных депутатов!

— Там, где действительно коренится зло, они боятся его видеть, — говорит Беранже Манюэлю об этих «друзьях свободы».

— Трудно поверить и тому, что есть в наше время люди, которые готовы подпустить иезуитов к делу народного просвещения, — возмущается песенник.

«Вы гнали нас когда-то вон,
Но воротились мы с кладбища…
И сечь сильней,
И бить больней
Мы будем ваших малышей!» —

похваляются «святые отцы» в новой песне Беранже, созданной вслед за «Миссионерами».

Здесь досталось и двоедушному Деказу. ˆто его вспоминают святоши в третьей строфе песенки:

«Явно к нам благоволит
Временщик, хвалой воспетый,
Он народу нас дарит,
Как крестильные конфеты.
Он приготовить хочет в нас
Себе шпионов про запас,
А мы в признательность за это

Его же сбросим поскорей».

* * *

Расставшись со своим фаворитом, Людовик XVIII как-то сразу одряхлел. Бледные, тусклые глаза его еще больше помутнели, все несноснее становились для него занятия государственными делами. Заправилам Конгрегации не трудно было смекнуть, что настал подходящий момент окончательно прибрать к рукам короля, а заодно и полную власть в стране.

Они подыскали для старого монарха «утешительницу», которая сумела занять при нем пустующее место прежнего любимца. До тех пор Людовик XVIII не жаловал дам, но госпожа дю Кайла, талантливая ученица иезуита Лиотара, сумела найти подступы к ожиревшему королевскому сердцу. Подобно Деказу, она была в курсе всех придворных сплетен и интриг, сама искусно плела их и так ловко умела подать королю, приправив острыми соусами, что морщины разглаживались на еще недавно насупленном монаршем челе. С каждым днем король все больше привязывался к этой даме.

Святые отцы и граф д'Артуа вкупе с ними потирали руки. Позиции на верхах укреплены. Теперь можно развертывать шире фронт наступления на либерализм, на крамолу. Рвение их еще усилилось под влиянием событий в соседних странах.

Французские аристократы и церковники вздрогнули, услышав в марте 1820 года, что народная толпа в Мадриде разгромила здание инквизиции, а король Фердинанд VII склонил голову перед требованиями повстанцев и присягнул на верность провозглашенной ими конституции.

Со страхом и ненавистью произносили члены Конгрегации и все маркизы Караба имя бесстрашного Риэго…

Пример испанцев был подхвачен Италией. Еще со времен наполеоновского владычества там сложились тайные общества карбонариев («угольщиков»). С годами они росли, в них вступали ремесленники и лавочники, захудалые дворяне и военные, иногда и крестьяне — все те, кого тяготил иноземный гнет (Италия была тогда под пятой Австрии), кто мечтал об изменениях политических порядков, о конституции.

Восстание началось в июле 1820 года. Застрельщиками его были карбонарии — офицеры из Бурбонского конного полка. Девятого июля повстанцы вступили в Неаполь. Король Фердинанд, подобно своему испанскому собрату и тезке,

присягнул на верность конституции, выработанной карбонариями. Но короли, как правило, нарушают клятвы, которые дают народам. Фердинанд так и поступил, незамедлительно предав своих доверчивых подданных. С помощью Священного союза он получил на подмогу австрийские войска и выступил с ними против либералов-карбонариев.

А в Париже весной 1820 года разгорались парламентские битвы. Оппозиция не хотела сдаваться. Во главе ее стояли Манюэль и генерал Фуа.

Беранже следил за перипетиями боев в палате, ежедневно получая подробные донесения от своего друга.

Как! Неужели опять вернутся времена «Бесподобной палаты», белого террора?

— Нет, это не должно повториться! — гремел с трибуны Манюэль. Ему вторили многочисленные безыменные ораторы, выступавшие в майские дни 1820 года перед толпами народа на бульварах. Над Парижем неслись возгласы:

«Да здравствует хартия!»

Правительство не замедлило откликнуться. Конные отряды врезались в ряды манифестантов. Свистели сабли и хлысты. Кровь пролилась на мостовые, тюрьмы пополнились новыми узниками.

Париж приумолк.

Парламентская битва, как и уличные стычки, окончилась победой реакции.

И снова «исключительные законы» обрушились на головы французов. Ограничения свободы личности, печати, выборов, преследования «бунтовщиков». Еще пышнее расцвели доносы, шпионаж, сыск. Полицейские чиновники, цензоры, святые отцы и прочие блюстители и ревнители состязались между собой в выискивании и изобличении повсюду скрытой крамолы.

Над головой Беранже все заметнее стали собираться тучи.

# «ЗЕЛЕНАЯ МЕЛЬНИЦА»

На одной из окраин Парижа, близ Монпарнасской заставы, стояло низенькое деревянное строение с вывеской, на которой была ярко намалевана мельница с зелеными крыльями. Сюда охотно захаживали окрестные жители — рабочие, ремесленники, студенты со своими подружками. Среди них было много любителей песен, и скоро кабачок Муленвер{*Муленвер* — Moulin vert — Зеленая мельница *(франц.)*.} стал местом сбора одной из самых обширных парижских гогетт.

От посетителей не было отбоя. Летом столики выставляли под открытое небо, они не блистали сервировкой, зато кругом шелестели деревья, чирикали птицы, а по вечерам играл маленький скрипичный оркестр.

Тетушка Сагэ — отличная повариха и радушная хозяйка, — как полная луна, сияла за высокой стойкой. Говорят, что это ее воспел Беранже под именем тетки Грегуар:

Круглолица и полна,
Улыбалась всем она.
А брюнет иной, понятно,
Пил и ел у ней бесплатно.
Да, бывало, каждый мог
Завернуть к ней в кабачок!

Певец тетушки Грегуар — самый любимый и почетный гость «Зеленой мельницы». Завсегдатаи единодушно избрали его председателем гогетты. Во время сходок любители песен с разрешения хозяйки сдвигают столики вместе и устанавливают на столе председателя знаки власти: огрохмный жбан с вином и увесистую деревянную колотушку.

Появление Беранже встречают приветственными возгласами:

— Шапки долой!

Председатель энергично стучит колотушкой: раз, другой, третий. Все присутствующие встают и хором подхватывают песню, которая заменяет здесь предобеденную молитву:

На Муленвер скорей, на сбор,
Друзья веселья, поспешите!..

А потом столь же дружно все принимаются за еду и питье. С

каждым тостом веселье вздымается, шутки становятся все забористей. (Если среди людей, собравшихся здесь, затесался какой-нибудь осведомитель, ему будет о чем доложить начальству!)

Когда приступают к десерту, председатель снова трижды постукивает колотушкой. Начинается песенный круг. Никто из членов гогетты не ударит в грязь лицом, тут есть превосходные певцы, есть и сочинители песенок. Но, конечно, самый большой успех выпадает на долю Беранже. Кто другой, как не он, сумеет выразить в песне именно то, что волнует сегодня каждого, расшевелить, зажечь своих слушателей!

Он поет о вдохновенном певце, который попал под холодный дождь законов и охрип. Он поет о сверхбдительных полицейских, судьях и цензорах, которые ˆналовчились во всем отыскивать, тайный смысл. Даже невинное поздравительное письмо может стать обвинительным документом в их руках. Как! Именинницу зовут Мария, но ведь так зовут божью матерь! Не пахнет ли здесь богохульством? Именины приходятся на 15-е число? Еще того хуже — ведь это день рождения «изверга Наполеона».

«Эх, постой,
Сударь мой!
Пахнет дело здесь тюрьмой!»

Может быть, поздравителю лучше не писать писем, а ограничиться букетом? Но и тут беда! Вдруг еще букет окажется трехцветным!

Коль пронюхают об этом —
Мы погибли, вы и я…

Одна из новых песен Беранже, исполненных в гогетте «Зеленая мельница», называлась «Фаридондэн, или Злонамеренные песни».

Словечко «фаридондэн» хорошо известно каждому любителю уличных и застольных французских песен. Веселое, шутовское, звонкое, оно не имеет определенного смысла, это просто ритмическая, звуковая приправа, которая употребляется в рефренах. Но глубокомысленные блюстители порядков норовят в каждом таком «фаридондэн» или «бириби» обнаружить крамолу.

«Послушай, пристав, мой дружок,
Поддеть певцов желая,

Вотрись, как свой, ты в их кружок,
Их хору подпевая.
Пора за песнями смотреть:
Уж о префектах стали петь!
Ну, можно ли без гнева
Внимать словам припева!»

И тут начинаются смехотворные в своей нелепости домыслы полицейских: «Что такое «бириби»? Не иначе, как человек со св. Елены. А фаридондэн? Здесь уж, конечно, таится оскорбление религии», Слушатели хохочут и хлопают в ладоши.

— Ну, и умеет поддеть наш Беранже этих нюхачей, слухачей, кривотолкователей!

Да, все тяжелее становится жить и дышать. Даже сам «добрый бог» из песенки Беранже, глядя в подзорную трубу на землю, сокрушается о судьбах людского рода.

Совсем запутались людишки, захлебнулись в кровавых войнах, понатворили себе кумиров, понастроили алтарей, склоняют головы перед мошенниками в черных сутанах, а те знай себе надувают доверчивых бедняг и наживаются за счет божьего имени.

«Я в том не виноват, ей-ей!
Но я уйму их понемногу,
Черт побери меня, ей-богу!» —

говорит людям «добрый бог» (поэт сотворил его по своему образу и подобию!). «Добрый бог» уверяет людей, что он не виноват в кознях церковников. «Не слушайте вы их вранья!» — кричит он людям и вдруг спохватывается. Потише! Может быть, и сюда, в рай, прокрался шпион:

«Коль в рай ему я дал дорогу,
Черт побери меня, ей-богу!»

* * *

Весной 1820 года полиция объявила решительную войну гогеттам. Открытые сходки стали почти невозможны, но гонимые любители песен продолжали собираться тайком, в задних комнатах кабачков, меняли места сборов, ловко водя за нос

сыщиков. Гогетты продолжали существовать, и новые песни Беранже по-прежнему передавались из уст в уста. Песни-памфлеты, песни-сатиры и рядом с ними песни-гимны, призывные, воодушевляющие, такие, как «Священный союз народов» или «Старое знамя».

Песня «Старое знамя» казалась особенно опасной полиции и властям. Списки ее задолго до появления песни в печати распространились в народе. Эта песня проникла и в гогетты, и в салоны, и в мастерские, и в казармы, и в коллежи. Ее пели и старые ветераны и безусые новобранцы/ Ее пели члены тайных обществ на своих сходках.

В песне этой впервые выступил один из любимых героев всей последующей поэзии Беранже — старый солдат, участник революционных войн, а затем наполеоновских походов. Теперь он — инвалид, больной бедняк, но, как и его однополчане, он не забыл прошлого и хранит в своем тюфяке трехцветное полковое знамя.

Когда Свобода родилась —
Его древком она играла…
Плебейка, ты теперь в плену…
Восторжествуй же над врагами!

Старый солдат ждет не дождется того дня, когда сможет вновь развернуть сбереженное им знамя.

Рефрен песни:

Когда ж я пыль с него стряхну? —

звучит как неотвязный вопрос, как настойчивый призыв, сила которого растет с каждым новым повтором;

Герой прежних песенок Беранже — бедняк с чистым сердцем и звонким смехом — противостоял миру деспотов и богачей, но не восставал против него. Герой «Старого знамени» зовет к восстанию против тех, кто заковал в цепи Свободу. Новый герой поэзии Беранже кровно связан со своим веком, с судьбами своей страны.

Чем яснее выявляется гражданский идеал любимых героев поэта, тем более реальным, исторически конкретным становится весь их облик. Они живые люди. Они подлинные дети народа. Недаром с таким восторгом принимают их и в гогеттах и в казармах, а власти видят в них своих заклятых врагов.

Песня «Старое знамя» — под запретом в реставрированной

монархии. Запрещено в трактирах и прочих людных местах исполнение песни Беранже «Маркитантка». Героиня ее — дочь того же поколения французов, что и инвалид из «Старого знамени».

Все ваши подвиги я с вами
Делила, поднося вам пить…

И теперь, угощая чарочкой друзей-ветеранов, она подбадривает их:

Наступит день победы снова,
И ждать недолго вам!

В патриотических и героических песнях Беранже заключена та же взрывная сила, что и в самых колючих его сатирах.

Доносы на автора «Старого знамени» так и сыпались в полицию. Чиновники университетской канцелярии смотрели с опаской на сослуживца, за пазухой у которого хранится целый пороховой склад запрещенных песен. Начальство хмурилось. Необходимо дать этому Беранже серьезную острастку!

С 1819 года президентом комиссии по народному образованию при министерстве внутренних дел был назначен знаменитый ученый-палеонтолог Кювье. Пред его очи и надлежало предстать экспедитору-песнотворцу. Кювье был гениален в палеонтологии — он мог по одной кости какого-нибудь допотопного животного восстановить весь его скелет, но гениальность великого ученого никак не распространялась на область его административной деятельности. Кювье был примерным подданным монархии Бурбонов и рачительным чиновником.

Беседу с Беранже президент комиссии провел в тоне назидательном. Он, мол, вовсе не враг песен, сложенных в доброй старой традиции, но песни политические — это уже иная материя, и особенно прискорбно, когда они вызывают в массах такой шумный резонанс, а сочинителем их является (подумать только!) служащий университета.

Беранже, питавший непритворное уважение к научным заслугам Кювье, отвечал, что весьма опечален, если доставил ему огорчение своими песнями, но обещания исправиться не дал. На том и кончилась беседа.

Через некоторое время до Беранже дошли слухи, что Кювье жалуется на него, будто, выпуская все новые и новые песни, он

нарушает некие обязательства, взятые на себя. Как! Неужели президент понял его слова столь превратно? Надо объясниться.

11 ноября 1820 года Беранже обратился к Кювье с письмом, в котором ясно и недвусмысленно определил свои позиции. Повторив в этом письме то, что было сказано им в беседе с Кювье, Беранже выразил сожаление, что слова его были истолкованы вовсе не в том смысле, который содержался в них.

«…Если вы испытаете малейшее затруднение в том, чтобы сохранить за мной мою незначительную должность, — писал Беранже, — то вы можете предоставить меня преследованию министерства… Печать порабощена; нам нужны песни, и не моя вина, что этот жанр стал слишком французским в нашу эпоху. Я ничего не стану делать для того, чтобы сохранить за собой место, но уверяю вас, что если меня лишат его, то куплеты, которые могут у меня вырваться тогда, не будут, конечно, внушены желанием отомстить тем, кто заставил вас отнять у меня этот кусок хлеба, который я зарабатываю ежедневным трудом. Мои убеждения и мое поведение вовсе не подчинены моей личной выгоде. Вас особенно я прошу поверить, что, потеряв должность экспедитора, я не забуду, что вы один из тех, кому я обязан сохранением ее по сей день».

* * *

— Ну, как дела? — спрашивает Жюдит, усаживая своего друга у камина.

— Ничего, пока еще не выгнали. Наверно, думают, что на этот раз Беранже совсем перетрухнул и не разожмет больше рта, чтоб не остаться без куска хлеба. Вольно ж им мерить всех своей меркой!

Пьер Жан вынимает из кармана листки рукописи. Новая песня в ответ на предупреждения властей! И она не уступит по смелости прежним.

«Смерть короля Кристофа, или Послание трем союзным монархам» — так называется эта песня. В ней обыгран действительный факт. В 1820 году гаитянский король Кристоф покончил самоубийством, испугавшись вспыхнувшего в стране народного восстания. Черные аристократы, лишившись законного монарха, испытывают то же, что испытывали бы и маркизы Караба, если б очутились в подобном положении. Их колотит дрожь при одном упоминании о повстанцах, они готовы на брюхе ползать перед иноземными покровителями, умоляя их усмирить взбунтовавшийся народ:

О, сжальтесь и спасите нас!
Хоть далеко от вас Гаити —
На нем бунтарский дух воскрес.
Скорей конгресс,
Второй конгресс,
Еще конгресс,
Седьмой, восьмой конгресс!
За смерть Кристофа отомстите,
Блюдя монархов интерес!

Поэт метит в святыни европейской реакции, в самое ее ядро — Священный союз с его бесконечными конгрессами. Он метит во всех монархов мира, которые одним миром мазаны — будь они белые или черные. А как издевается он над выспренними мистическими разглагольствованиями о троице и святом духе, без которых не обходятся конгрессы монархов!

Беранже не был бы самим собою, если б вел себя по-другому, думает Жюдит. Хоть на душе у нее тревожно, лицо остается спокойным, иголка быстро и ровно летает в ловких пальцах, синие глаза опущены. Но когда она поднимает их, Беранже видит — Жюдит с ним. И что бы ни случилось — пусть его уволят, посадят в тюрьму, — она по-прежнему будет рядом, не испугается, не подведет, не покинет.

И он верит, что так у них с Жюдит будет всегда. До старости. До самой смерти.

Ты отцветешь, подруга дорогая,
Ты отцветешь, — твой верный друг умрет…
Несется быстро стрелка роковая,
И скоро мой последний час пробьет.
Переживи меня, моя подруга,
Но памяти моей не изменяй —
И, кроткою старушкой, песни друга
У камелька тихонько напевай!
А юноши по шелковым сединам
Найдут следы минувшей красоты
И робко спросят: «Бабушка, скажи нам,
Кто был твой друг? О ком так плачешь ты?»
Как я любил тебя, моя подруга,
Как ревновал, ты все им передай —
И, кроткою старушкой, песни друга
У Камелька тихонько напевай!
…
Над Францией со мной лила ты слезы.

Поведай тем, кто нам идет вослед,
Что друг твой слал и в ясный день и в грозы
Своей стране улыбку и привет.
Напомни им, как яростная вьюга
Обрушилась на наш несчастный край, —
И, кроткою старушкой, песни друга
У камелька тихонько напевай!

В чертах верной подруги можно без труда узнать черты Жюдит. Эта песня о ней и о нем — одна из самых задушевных лирических песен Беранже.

# «МУЗА, В СУД! НАС ЗОВУТ…»

Решено. Он должен выпустить новый сборник песен. Беранже прекрасно понимает, что, поступив так, навлечет на себя гонения и кары… Пусть…

— Никто не остановит меня, — говорит он Манюэлю. — Напротив, я все больше убеждаюсь в необходимости этого выстрела передового часового, чтобы иметь честь разбудить либеральный лагерь, столь странно управляемый теми, кого называют самыми энергичными его вождями.

Манюэль не отговаривает друга. Так же как и Беранже, он возмущен и удручен той панической растерянностью, в которую впало под напором реакции большинство либералов.

Политическая борьба оказалась на деле гораздо сложнее, чем представляли ее себе некоторые прекраснодушные говоруны. Либералы почти совсем вытеснены из палаты депутатов. Печать задавлена цензурой, многие журналы, в том числе и «Минерва», запрещены, кружки и общества разогнаны.

Конгрегация торжествует, ее ставленники делают политику в стране. Из Италии тоже идут недобрые вести. Революции в Неаполе и Пьемонте разгромлены с помощью австрийских войск. Итальянских карбонариев заточают в тюрьмы, казнят… Не ждет ли то же и французских карбонариев?

Манюэль понимает трудность создавшейся обстановки, но уверен, что борьба не прекратится. Пока что борцы принуждены скрываться в политическом подполье.

Во Франции существуют тайные общества, организованные по образцу итальянских, — «Рыцари свободы», «Братство угольщиков» (карбонариев), — они находят сторонников и членов в различных слоях населения, особенно же среди военных и студенческой молодежи.

Манюэль связан с тайными обществами, как и генерал Лафайет, один из популярнейших главарей левого крыла либералов. Беранже знает об этом, но сомневается в действенности такого пути борьбы. Ведь тайные общества — горсточки одиночек, они далеки от масс. Главное же заключается в том, чтоб поднять и воодушевить на борьбу с феодальной реакцией большинство народа. Для этого нужны открытые, смелые выступления, а не только разговоры в кружках. Так думает Беранже.

Он спорит с Манюэлем по поводу тайных обществ, но ставит своего друга гораздо выше всех других деятелей оппозиции. Манюэль смел, умен, опытен, думает об интересах народа и

стремится к действию. Разве найдешь еще хоть одного такого, как он, среди либеральных главарей?

«Сколько раз принужден я был бороться с вождями либеральной партии, людьми, которые хотели меня взять под свою опеку, чтобы заставить действовать в духе своих робких комбинаций!» — скажет потом Беранже. И сейчас он возмущен той трусостью и нерешительностью, которую проявляют краснобаи из салонов, когда речь заходит о выпуске нового сборника его песен.

«Многие из либералов, которые до того толкали меня на эту демонстрацию, пожелали теперь сорвать ее, — негодует Беранже. — Иные из них, подписавшиеся на огромное число экземпляров и побуждавшие меня печатать более десяти тысяч, объявляли мне в последнюю минуту, что я должен прекратить печатание или вычеркнуть их имена из списка подписчиков».

И все же им — не удалось сорвать выход сборника. Автор занял пятнадцать тысяч франков у друзей и решил печатать книгу на свой счет у издателя Фирмена Дидо.

Два тома песен Беранже тиражом в десять тысяч экземпляров вышли в свет 25 октября 1821 года и были раскуплены с необыкновенной быстротой.

Власти проморгали. Приказ о конфискации сборника появился лишь 29 октября. Когда полицейские бросились обыскивать магазин и склады Дидо, они обнаружили всего четыре экземпляра осужденной книги.

Беранже смог расплатиться с долгом, и у него еще осталась некоторая сумма, чтобы продержаться без жалованья.

Из университетской канцелярии его сразу же уволили.

27 октября в ультрароялистской газете «Белое знамя» появилась статья некоего Мартенвиля о злоумышленниках, которые под видом мирных песенников собираются в кабачке «Зеленая мельница», и о главаре этих сборищ, небезызвестном Беранже. Автор статьи был усердным «паяцем» и способным «иудой», он пробирался на сходки песенников, сидел рядом с ними, притворяясь другом, а потом строчил доносы.

Статья Мартенвиля была сигналом к судебному преследованию Беранже.

* * *

8 декабря 1821 года Дворец правосудия в Париже с самого утра осажден густою толпой. Большую часть ее составляли любители песен самых разных профессий и возрастов. Тут и

рабочие, и военные, и студенты, и журналисты, и люди искусства, и просто любопытные прохожие. Каждый норовит пробраться поближе к входу. Давка невообразимая! Судьям, явившимся к началу заседания, не удалось протолкаться к дверям, они принуждены влезать в окна. И сам обвиняемый, который слегка запоздал, долго не может пробиться сквозь толпу.

— Господа, без меня все равно не начнут! — взывает он, подобно висельнику из анекдота, а толпа не расступается. Песни Беранже широко известны в Париже, но автора их лишь немногие из присутствующих на площади знают в лицо. Наконец с помощью друзей и знакомых он достиг входа, пробрался в зал и занял предназначенное ему место на скамье подсудимых.

Сколько сочувствующих и восхищенных взглядов обращено к нему! У Беранже в голове звучат строки еще не законченной песни «Бегство Музы»:

Брось на время, Муза, лиру
И прочти со мной указ:
В преступленьях — на смех миру —
Обвиняют нынче нас.
Наступает час расправы,
И должны мы дать ответ.
Больше песен нет для славы!
Для любви их больше нет!
Муза! В суд!
Нас зовут,
Нас обоих судьи ждут.

Важно восседает судья в напудренном парике и мантии. И члены жюри все на своих местах — буржуа с брюшками и орденами в петличках.

Звенит колокольчик председателя, и прокурор уже поднимается на трибуну.

Если от публики к Беранже так и льются волны тепла, то от прокурора веет прямо-таки арктическим холодом. Берегись, песенник!

Прокурор Маршанжи — человек того же поколения, что и Беранже. Но как различны их судьбы! Маршанжи делал карьеру, когда Пьер Жан бился над стихами в своей мансарде. А теперь Маршанжи готов, кай змей, пресмыкаться перед Бурбонами, чтобы искупить свое бонапартистское прошлое. Процесс Беранже послужит для него ступенькой, чтоб проползти повыше по служебной лестнице.

Go всей силой судебного красноречия обрушивается прокурор

на песенника. Тирады его так и рокочут под высокими сводами зала. Он обвиняет не только автора крамольных песен, но и самый жанр песни.

— Это испорченное дитя Парижа удивительно эмансипировалось в наши дни. Песни стали опаснее брошюр, они могут отравить воздух, которым вы дышите, — шипит Маршанжи, устрашая публику.

Одну за другой разбирает он запрещенные песни Беранже. Да, они зовут народ к возмущению. Вот, например, «Капуцины» или еще того пуще — «Старое знамя». Маршанжи приводит отрывки из песен, и они звучат в его декламации поистине грозно. В них как будто открываются новые стороны, которые сглаживались в обычном исполнении на популярный мотив.

— Читайте целиком! — кричат из публики.

Беранже чувствует что-то вроде благодарности к прокурору. Этот змей по крайней мере не принижает его поэзии.

— Чем талантливее песни, — утверждает Маршанжи, — тем опаснее они для трона и алтаря.

«Что ж, это верно», — думает Беранже. Конечно, в желании сгустить краски, усилить удар Маршанжи иногда доходит в своей речи до нелепостей. Цитируя «Доброго бога», он с пафосом восклицает:

— Разве так говорил о божестве Платон?

Беранже прячет насмешливую улыбку. Можно ли отождествлять идола старых богомолок с божеством Платона или с «Высшим разумом», которому поклонялись во времена революции?

Но в общем Беранже доволен речью обвинителя. А вот речь адвоката Дюпена, несмотря на его ораторский дар, остроумие и искреннее желание обелить песенника в глазах правосудия, гораздо меньше удовлетворяет подсудимого.

Дюпен изо всех сил нажимает на то, что песня-де невинный жанр, созданный для потехи. Просто смешно затевать судебный процесс против каких-то шутливых куплетов! Разве могут они играть серьезную роль в политике? Анекдотами и прибаутками Дюпен старается рассеять грозовую атмосферу, сгустившуюся после речи Маршанжи. Из зала то и дело несутся смешки и хлопки и даже на лицах судей, которые стараются сохранять непроницаемое выражение, мелькает какое-то подобие улыбок.

Наконец жюри удаляется на совещание.

А в это время листки с запрещенными песнями так и порхают среди публики, со скамьи на скамью, залетают даже на судейский и прокурорский столы; писцы с профессиональной быстротой строчат копию за копией. Сегодня же эти копии разлетятся по

всему Парижу…

После получасового совещания суда приговор по делу Беранже вынесен и оглашен:

> Королевский суд в Париже, действуя в качестве суда присяжных департамента Сены, вынес приговор следующего содержания.
>
> Подсудимый признан виновным в нанесении оскорбления общественной и религиозной морали, выразившегося в сочинении, напечатании, издании, продаже и раздаче сборника произведений в двух томах, содержащего в себе следующие песни:
>
> 8) «Смерть короля Кристофа» т. II стр. 222, —
>
> что составляет преступление, предусмотренное статьями 1 и 8 закона от 17 мая 1819 г. Применив к нему означенные статьи… суд приговаривает Пьера Жана де Беранже к заключению в тюрьму сроком на 3 месяца и штрафу размером в 500 франков.

Подсудимый облегченно вздыхает. Он ожидал худшего. Это минимальное наказание. Потом Беранже узнал, что одному из судей, господину Коттю, он был обязан тем, что с него сняли самый серьезный пункт обвинения — в подстрекательстве к бунту, связанный с песней «Старое знамя».

Прямо из зала суда под стражей, в закрытой карете Беранже препроводили в тюрьму Сен-Пелажи,

* * *

В тяжелом скрипучем замке щелкнул ключ. Простучали и затихли шаги тюремщика. Беранже остался один. Не спеша огляделся. Что ж, все, как полагается в тюремной камере: окно под потолком забрано решеткой, вдоль стены узкая койка…

Но ведь эта камера ему знакома! Отсюда только сегодня утром вышел, отбыв свой срок, памфлетист Поль Луи Курье. Беранже не раз навещал его в тюрьме, приносил свои новые песни, советовался насчет выпуска сборника. Курье одобрял решение Беранже, хотя оба прекрасно понимали, чем оно грозит автору. Пьер Жан уже тогда «примеривался» к положению заключенного.

— Ничего, — говорил Курье, — зато вся Франция прислушается к голосу узника-певца!

Замечательный человек этот Курье! Беранже вспоминает иронический прищур его умных глаз, улыбку, так красившую

бледное лицо, изрытое оспой, интонации глуховатого голоса. Знаток античности, ученый-эллинист, Курье мог бы добиваться академического кресла, а пока что жить в тиши своего поместья. Но Реставрация с ее мерзостями и злоупотреблениями разбудила в нем гражданина. От древности он обратился к современности.

Политические памфлеты Курье столь же отточены и язвительны, как песни Беранже. И тюрьма не заставила его умолкнуть, как не заставит она умолкнуть Беранже.

Неужели кому-нибудь из власть имущих, засадивших за решетку памфлетиста, а вслед за ним песенника, могло прийти в голову, что заточение превратит их в этаких смирнехоньких верноподданных? Что за чушь? Пьер Жан усмехается…

Конечно, тяжело оказаться взаперти тому, кто больше всего» на свете любит свободу. Он остро ощутил это несколько минут назад, когда в дверях камеры щелкнул ключ… Но ведь три месяца — это не так уж долго. И к тому же никто не может отнять у него возможность свободно мыслить, свободно сочинять свои песни даже в этих стенах.

Стены крепкие, оглядывается Беранже. Зато ниоткуда не течет, не дует, не то что в тех каморках, где приходилось ему ютиться столько лет. Э, да здесь есть и камин, и в нем видны остатки золы!

«Тюрьма меня того и гляди избалует», — скажет он завтра своим друзьям.

На следующий день после суда над Беранже в полицейской префектуре образовалась очередь за разрешениями навестить узника Сен-Пелажи. Генералы, депутаты, литераторы, банкиры встречались здесь с многочисленными любителями песен из парижских предместий — с ветеранами на костылях, кудлатыми юнцами в потертых куртках. У многих в руках были свертки и сумки с гостинцами.

Посылки на имя Беранже одна за другой приходили в тюрьму. Жители города Сомюра прислали двадцать пять бутылок отличного вина «Шамбертен» и песенку, в которой поэту рекомендовали для поддержания здоровья в тюрьме принимать ежедневные «внутренние души». Беранже откликнулся на этот подарок песней «Мое исцеление». Еще одну песню — «О действии вина в тюрьме» — сочинил он в ответ бургундцам, тоже приславшим ему вина с самых лучших виноградников.

Некоторые из жителей города Витре попали под надзор полиции из-за своей приверженности к заключенному песеннику: они устроили «благотворительную охоту», решив всю добычу преподнести Беранже.

«Устанавливается, что речи, произнесенные на обеде,

заданном по случаю этой охоты, были крайне неблагоприятны в отношении королевского правительства», — сообщал в письме, адресованном в министерство внутренних дел от 17 февраля 1822 года один из агентов полиции.

Но несмотря на доносы, корзины со свежей дичью не переставали прибывать в Сен-Пелажи и из Витре и из других концов Франции; тут были и куропатки, и бекасы, и кролики, и козлята. А жители Бри присылали отличные сыры.

Да, Беранже было чем попотчевать своих посетителей и товарищей по заключению! С разрешения тюремного начальства он держал открытый стол для политических заключенных.

Первое время его пребывания в Сен-Пелажи тюремный режим не отличался особой строгостью. Беранже разрешалось разгуливать по коридорам и принимать гостей в своей камере. Узников запирали на замок только к вечеру. Но в конце декабря, после попытки к бегству двух заключенных, всяческие вольности и поблажки были запрещены. Встречи узников с посетителями проходили с тех пор под надзором в общей приемной.

Новости с «воли», которые приносили друзья и газеты, не радовали. 15 декабря в газете «Монитер» был опубликован список новых министров. Увы, все до одного из лагеря роялистов! Во главе кабинета Виллель — один из вожаков «крайних», бывший тулузский мэр, выдвинувшийся благодаря своему «рвению». Хитер, ловок, расчетлив, выглядит этаким «государственным мужем», но на деле заботится не о благе всего государства, а об интересах своей партии.

Первоочередные заботы нового состава министерства направлены к тому, чтоб еще больше ограничить свободу печати, не допускать либералов на государственные должности, зажать им рты, запугать судами и тюрьмами. Дальше — больше. Конгрегация цепко забирает в руки воспитание детей и молодежи. Главой учебных заведений назначен в 1822 году аббат Фрейсину. Иезуиты втираются повсюду.

Сам дьявол стал иезуитом, —

пишет Беранже в песне «Эпитафия моей Музы», сочиненной в тюрьме Сен-Пелажи.

И все же есть во Франции люди, которые не сгибаются, не опускают голов. От Манюэля Беранже знает о подпольной работе тайных обществ. Карбонарии ведут пропаганду в военных частях, организуют заговоры, но все попытки их перейти к открытым выступлениями оканчиваются трагически. В конце декабря 1821 года раскрыт антимонархический заговор учеников Сомюрской

военной школы. В январе 1822 года разгромлено Бельфорское повстанческое движение. В марте арестованы как заговорщики четыре молодых сержанта из крепости Ларошель. Королевский суд выносит им смертный приговор. Беранже, хотя и не возлагает надежд на «тайные общества», но искренне восхищается этой храброй молодежью и скорбит о судьбах смельчаков патриотов.

Внимательно прислушивается узник Сен-Пелажи к вестям из Греции. Маленькая страна восстала против поработителей-турок и в первых битвах одерживает победы. Добровольцы из разных стран спешат на помощь греческим повстанцам.

Иди же, грек, сражаться, побеждать!
Рви цепь свою, проснулся страх в тиранах! —

поет Беранже под сводами тюрьмы.

— Вы, вероятно, успели написать здесь целый новый том? — спросил у Беранже поэт и драматург Вьенне, навестивший его однажды в Сен-Пелажи.

— Песни пишутся не так быстро, как трагедии, это очень трудоемкий жанр, — с простодушной миной ответил Пьер Жан своему плодовитому собрату по перу.

В тюрьме ему удается работать над песнями гораздо меньше, чем он предполагал, но все же несколько песен он успел сложить и отшлифовать.

Пока Беранже сидел в тюрьме, его адвокат Дюпен договорился с издателем Бодуэном о публикации материалов судебного процесса с приложением текстов песен, о которых шла речь на суде.

Как только брошюра вышла в свет, прокурорский надзор тотчас же затеял новое «дело» против Беранже. Прямо из тюремной камеры под конвоем его доставили во Дворец правосудия. И вот, еще не отбыв срока заключения, он снова сидит на скамье подсудимых рядом с издателем. И снова под сводами зала рокочет голос прокурора Маршанжи. Этот «змей» готов из кожи вылезть, лишь бы упечь Беранже как «злостного рецидивиста». Если прокурору удастся убедить судей в виновности Беранже, то теперь уж ему не миновать двухлетнего срока заключения.

Но защитники Дюпен и Бервиль на высоте. Они блестяще доказывают несостоятельность обвинения. Разве можно считать рецидивом публикацию документов, оглашенных во время открытого заседания суда?! Ведь ни одному из журналистов, присутствовавших на процессе, не возбранялось записать и обнародовать слышанные им выступления!

Аргументы защиты убедительны, но присяжные колеблются. Голоса разделились. При подсчете все же оказалось, что на стороне песенника большинство в один голос.

17 марта 1822 года, отбыв свой срок, Беранже вышел из тюрьмы.

* * *

На государственную службу вход для крамольного песенника отныне наглухо закрыт. Благо что от продажи сборника осталось немного денег. Но что будет дальше? Ведь ему приходится думать не об одном себе. Существуют Жюдит и несколько старых теток, а главное — Люсьен.

Ох, этот Люсьен! Когда-то Беранже надеялся, что мальчик подрастет, поумнеет, станет для отца опорой и радостью. Но все вышло не так. Чем старше становится Люсьен, тем больше приносит огорчений. Учиться не хочет и работать не желает. Зато большой охотник до всяких развлечений — выпивки, азартных игр. Ни упреки, ни просьбы, ни уговоры отца и Жюдит не действуют на этого лоботряса. Сколько раз Беранже пристраивал его на работу, но нигде он не удерживался. И вот теперь один знакомый коммерсант соглашается взять Люсьена служащим в свое колониальное предприятие на остров Бурбон. Далекий остров в Индийском океане, морское путешествие в экзотические страны привлекают юношу. Может быть, перемена обстановки действительно будет полезна для него? Может быть, очутившись вдали от родителей, он почувствует себя, наконец, взрослым, возьмется за ум? На путешествие, экипировку, устройство на чужбине, конечно, нужны деньги. Беранже дает их, ограничив собственные потребности, хотя они и без того невелики. Лишь бы Люсьен встал на ноги!

Зная о нужде, которая подстерегает Беранже, лишившегося постоянного заработка, банкир Лаффит тотчас же предложил ему место в своей конторе. Само собой разумеется, что поэта не станут обременять всякой докучной писаниной, а приличное жалованье освободит его от тягостных забот о завтрашнем дне, уговаривал Лаффит.

Предложение заманчивое, но Беранже без колебаний отверг его. Внутренняя независимость, «свободный дух» для него дороже всего. Об этом поется в песенке «Советы Лизетты», обращенной к Лаффиту:

«Наличье службы подходящей —

Большой соблазн для бедняка;
Но вспомни гнет руки платящей,
Будь то честнейшего рука», —

наставляет певца его любимая героиня. С годами Лизетта, не теряя своего обаяния, становится все мудрее, проницательнее и успешно выступает теперь в роли советчицы Беранже:

«Старик-дитя, лишась свободы,
В конторе будущей своей
Сложить ты не посмеешь оды
Под звоны денежных ларей».

Если поэт согласится пойти в служащие к приятелю-богачу, он будет связан по рукам и ногам. Банкиры во главе с небезызвестным бароном Ротшильдом придавят и его музу и его здравый разум. Нет, он не должен становиться в подчинение богачам, пусть даже они питают к нему добрые чувства.

«…Свободный дух всех благ нам краше,
Он искони Лаффитом чтим.
И ты, с богатством сблизив чаши,
За равноправие выпей с ним».

Пусть не беспокоятся за него! Беранже чувствует себя богаче чем когда-либо прежде!

— Богатство уже в том, когда у тебя мало потребностей и много друзей, — говорит он.

# ГАЛЛЬСКИЕ РАБЫ

Парламентская сессия, созванная в конце января 1823 года, открылась тронной речью. Король призывал в ней своих подданных к походу против Испании, объятой гражданской войной.

«Сто тысяч французов готовы с именем св. Людовика на устах двинуться в поход, для того чтобы сохранить престол за одним из потомков Генриха IV, спасти это прекрасное королевство от гибели и примирить его с Европой», — торжественно шамкал Людовик XVIII.

Пэры и депутаты-роялисты удовлетворенно кивали. Да, речь престарелого монарха построена в полном согласии с замыслами Конгрегации и пожеланиями Священного союза, выраженными недавно на Веронском конгрессе. Немногие депутаты-либералы и «умеренные» встревоженно переглядывались. Неужели правительство сделает этот шаг? Увы, вопрос предрешен.

Вслед за тронной речью государственные мужи выслушали доклад министра Виллеля, который предложил их вниманию проект о выпуске займа в сто миллионов франков на предстоящие экстраординарные расходы.

Засим развернулись многодневные прения в палатах. Торжественные речи пузанов, паяцев и воинствующих маркизов Караба чередовались с осторожными выступлениями депутатов оппозиции, пытавшихся оспаривать целесообразность войны. Впрочем, возражения либералов были настолько робки, что лишь слегка задевали «крайних».

Но господа роялисты насторожились, когда на трибуну неторопливым шагом поднялся Манюэль. Это произошло 26 февраля. Манюэль был немного бледнее обычного, но, как всегда, внешне спокоен и сдержан. При первых же звуках его голоса гул в зале сменился тишиной, напоминавшей предгрозовое затишье.

С каждым его словом, с каждым новым аргументом против войны к головам маркизов и пузанов все сильнее приливали волны злобы. Хриплые возгласы, похожие на звериное рычание, понеслись к трибуне, но они не могли заглушить крепнущий голос оратора.

Манюэль решительно протестовал против войны, он говорил о катастрофе, которую может вызвать во Франции ее вмешательство в испанские дела. Он вызывал в памяти присутствующих события Великой революции.

— …Должен ли я напоминать вам о том, что опасность, угрожавшая королевскому семейству, усилилась именно с того

момента, когда Франция, революционная Франция почувствовала, что для своей защиты она должна прибегнуть к новым силам, найти источники новой энергии…

Лай, вой, визг «породистых псов» прервал на этом месте речь оратора.

Многие из роялистов вскочили с мест и, сжав кулаки, подступали к трибуне.

— Это апология цареубийства! Это наглое подстрекательство! Долой! Долой! — вопили «маркизы» и «пузаны».

Заседание было прервано. Манюэлю не дали продолжить речь, не приняли от него и письменных объяснений.

На следующем заседании один из воинствующих «ультра», воспользовавшись отсутствием Манюэля, предложил исключить его из числа депутатов. Большинство проголосовало за исключение.

— Но ведь это попирает права депутата! — возмутился Манюэль, когда ему рассказали о результатах голосования. Нет, он не подчинится такому противозаконному решению!

— Вы правы, — сказал Беранже, с которым Манюэль советовался, как быть дальше. — Вы правы!

Но найдется ли в палате хоть один смельчак, который встанет рядом с вами?

Манюэль явился на очередное заседание сессии и занял свое место на скамье «левой». Национальным гвардейцам тотчас же был отдан приказ вывести «непокорного», но они отказались поднять руку на депутата. Тогда государственные мужи прибегли к помощи полиции. Дюжие жандармы схватили сопротивлявшегося Манюэля, стащили вниз по ступенькам и вытолкнули из зала. Ни один депутат «левой» не поднялся, не поспешил к нему на помощь; все сидели не шелохнувшись. И только «после драки» либералы замахали кулаками, пытаясь выступить с письменным протестом. Роялистское большинство не захотело их слушать. Тогда либералы покинули зал и больше не появлялись на заседаниях до конца сессии.

Беранже не ошибся. Смельчаков, которые могли бы стать плечом к плечу с Манюэлем, в палате не нашлось.

* * *

Весной 1823 года французские солдаты, расположившиеся лагерем в Пиренеях, тайком передавали друг другу листки с текстами «Воззвания» Поля Луи Курье и песни Беранже «Новый приказ». Грамотные заучивали слова наизусть и шепотом

передавали их неграмотным. Слова песни прямо-таки сами собой застревали в памяти, может быть, потому, что в ней давались ясные ответы на те вопросы, которые вставали перед рядовыми участниками этой войны. И разговор в песне велся так, как он обычно шел среди солдат на самом деле.

Старый капрал объясняет молоденькому новобранцу, что делается в Испании, за что идут проливать кровь французы, кому на руку эта война.

— Слышь, дядя, что испанцам нужно?
— Сынок, они уж не хотят,
Чтоб Фердинанд, король недужный,
Их вешал, как слепых котят.
А мы к монахам черным
На выручку спешим.
И ядовитым зернам
Взойти у нас дадим…

Приказ, солдаты, вам…
Победа явно
Становится бесславна.
Приказ, солдаты, вам:
Кру-гом! И по домам!

Эх, если б вправду солдатам дали бы такой приказ, который звучал в этой песне! Как помчались бы они назад, домой, к мирным своим делам! Но от командования идут совсем другие приказы. И солдаты принуждены повиноваться и класть головы за власть святош и гадов-эмигрантов. Наступать! Бить испанцев! И что же получат за это французские солдаты?

— Слышь, дядя! что же будет с нами?
— Сынок, вновь палки ждут солдат.
А офицерскими чинами
Одних дворян вознаградят.

В конце песни-беседы бывалый солдат призывает молодых встать под старое трехцветное знамя, чтобы спасти родину.

Памфлет Курье и песня Беранже врезались в память, оставляли след в головах и сердцах солдат, но не могли повернуть штыки армии интервентов.

Французы брали город за городом. На занятых ими землях спешно возводились виселицы и эшафоты для испанских

революционеров.

13 ноября 1823 года король Фердинанд торжественно въехал в Мадрид, восседая в колеснице, запряженной восемьюдесятью юношами.

Ультрароялисты праздновали победу и в Испании и во Франции.

* * *

После изгнания из палаты Манюэль остался не у дел, без политической трибуны. Никто из друзей не слышал от него жалоб, он был слишком горд для этого и умел хранить спокойствие в самые трудные минуты.

Беранже знал, как горько переживает его друг насильственное отлучение от живой борьбы.

Бледное лицо Манюэля стало желтоватым, под глазами залегли глубокие тени, складка губ стала еще более горькой и саркастической. Ему нанесена неизлечимая рана.

Чтоб ни на день не разлучаться с другом, Беранже переселился к нему на улицу Мартир. В окна маленькой тихой гостиной заглядывали кусты акаций. Здесь на широкой оттоманке друзья беседовали часами обо всем, что наболело.

Новые выборы в палату, состоявшиеся в феврале 1824 года, нанесли еще один удар Манюэлю: ни один округ не выдвинул его своим депутатом.

— Удивляться тут нечему, — говорил Манюэль. — «Ультра» хозяйничают в стране, и, конечно, они приложили все усилия, чтоб заранее отвести неугодные им кандидатуры. Но самое печальное, что и либералы помогали им кое в чем.

Манюэль прекрасно осведомлен о постыдных интригах своих прежних соратников. Если б не их происки, его бы, наверное, переизбрали.

Беранже давно уже заметил, что «либеральные корифеи» завидуют Манюэлю, завидуют его превосходству, его популярности в народе.

— Они всегда опасались порывов вашего патриотизма, которые уводили их дальше, чем они хотели бы идти! — говорит Беранже.

И песенник и изгнанный депутат решительно отвергают и высмеивают распространенное в либеральных кругах мнение, что результаты выборов якобы выражают волю народа.

— Разве можно считать народом кучку трусливых политиков или даже весь избирательный корпус, состоящий из ста

пятидесяти тысяч господ, правоспособность которых измеряется содержимым их кошелька? — говорит Беранже. — Нет, это не народ. Это рабы своего благополучия, рабы, покорные воле хозяина. И такими рабами становятся теперь многие из тех, которые называли себя когда-то «независимыми»; трусы, отступники, склонившие голову перед тиранией.

«Галльские рабы» — так назвал Беранже новую свою песню, может быть, самую мрачную из всех, сочиненных им до сих пор.

Ночью, когда заснула стража, рабы пируют в хозяйских погребах. Пьют и напевают дикую, заунывную песню о своей беспросветной судьбе, о позорных оковах. Ох, как тяжелы цепи, но они и не пытаются разбить их.

О божество! К чему напрасно
В ряды безумцев снова нас манить?
Богатство, слава — все тебе опасно…
Давайте пить, давайте пить!

Рабы отмахиваются от воспоминаний о воле, они забыли о друзьях, погибших в борьбе.

Дурак же тот, кто умер за отчизну! —

с циничной безнадежностью восклицают они.

Освищем всех — богов и мудрых —
И будем льстить лишь господам;
Своих сынишек златокудрых
Дадим в заложники врагам.
Что стыд? Мы жизнь лишь им упрочим,
Напившись, легче горе выносить!
В грязи, смеясь, мы цепь тогда волочим…
Давайте пить, давайте пить!

Так поют они до пробуждения тирана, который приказывает слугам унять излишнюю веселость рабов плетьми. И рабы трусливо преклоняют колени перед властелином. «А ведь когда-то мир дрожал пред нами», — мелькнет вдруг смутное воспоминание в их затуманенных мозгах. Мелькнет и исчезнет под свист плетей.

Песня заканчивается прямым обращением к Манюэлю:

Друг Манюэль, в другое время
Я б не воспел тех мрачных дней!
Но галлов нынешнее племя
Не ценит доблести твоей;
А ты, опасность презирая,
Стремясь отважно родине служить,
Жалеешь тех, кто гибнет, повторяя:
«Давайте пить, давайте пить!»

* * *

Одну за другой пересматривает Беранже песни, сочиненные им за последние годы. Сказать по совести, годы не веселые ни для поэта, ни для Франции и ее народа. Не удивительно, что и песни этих лет не брызжут прежним весельем. Уже названия их говорят о настроении автора: «Эпитафия моей Музы», «Мои похороны», «Больной», «Разбитая скрипка», «Узник», «Дамоклов меч», «Галльские рабы»… Читатели, пожалуй, и не узнают поэта, так полюбившегося им по прежним сборникам. Нет, все-таки узнают. Даже в самых грустных песнях его не исчез задор, не иссякло остроумие, сохранилась стремительность движения и меткость прицела. К тому же в новом сборнике найдут место и шутливые анакреонтические песенки. Но вот самые острые политические песни придется до поры до времени придержать. Разве осмелится хотя бы один издатель в реставрированной монархии опубликовать «Новый приказ»? Что ж поделать, придется самым резвым его детишкам-песен-кам до лучших времен побродить по свету в рукописях или в устной передаче. Пусть томик его песен, как мальчик с пальчик, ускользнет от лап людоедов, хотя они и будут коситься на него, а может быть, и гнаться за ним.

Издатель Лавока, запуганный полицией, пожалуй, еще больше автора беспокоится по поводу всяких осложнений с цензурой и уговаривает Беранже подрезать то одну, то другую песенку. Лавока дал обещание цензорам снять последнюю строфу из песни «Галльские рабы» — обращение к Манюэлю.

Нет, уж чем-чем, а этой строфой автор никак не соглашается поступиться.

Сборник вышел в свет в марте 1825 года. В честь этого события издатель устроил званый обед. Хозяин и гости долго ждали виновника торжества, бутылки с шампанским были наготове, но Беранже так и не пришел. В тот самый день он узнал, что вопреки его воле издатель все-таки снял в части тиража

заключительную строфу из «Галльских рабов». Беранже был возмущен. Потом он, правда, смягчился, узнав, что Лавока только таким способом удалось отбиться от полиции и получить разрешение на выпуск книги.

В другой части тиража запрещенная строфа сохранилась, и против издателя не замедлили начать судебный процесс. Лавока был присужден к денежному штрафу. Затевать дело против Беранже власти на этот раз не стали.

# «ОПАСАЙТЕСЬ, ПТАШКИ…»

16 сентября 1824 года умер Людовик XVIII. На французский престол под именем Карла X взошел брат покойного короля граф д'Артуа. Новый монарх не счел нужным изменять состав министерства и политический курс. Карл лишь двинулся дальше в прежнем направлении.

Первым шагом по восшествии его на престол было установление закона о святотатстве, согласно которому кража в церквах и осквернение церковных сосудов и предметов, предназначенных для католического богослужения, карались смертной казнью.

Даже автор «Гения христианства», ревностный католик и роялист Шатобриан выступил против этого закона, заявив, что он «оскорбляет человечество, но не охраняет религии».

За первым законом, принятым «во славу католического алтаря», последовал второй — в пользу аристократов-землевладельцев. Бывшие эмигранты должны были получить по этому закону вознаграждение за убытки, причиненные им революцией, правительство обязывалось предоставить миллиард франков в пользу «пострадавших».

Оба закона морально и материально ударяли по большинству подданных реставрированной монархии, но король, объятый одним стремлением — как бы потрафить святошам и маркизам Караба, — не снисходил до беспокойства о судьбах и настроениях плебеев.

Карл X, как известно, был привержен обычаям старины и пожелал, чтоб торжественная церемония его коронации происходила в древнем Реймском соборе, под сводами которого, согласно традиции, короновались его предшественники, французские короли.

К концу мая 1825 года в Реймс съехались тысячи участников и зрителей. Действо в соборе отличалось неслыханной помпой. Придворная знать в старинных атласных камзолах и шляпах с перьями, святые отцы в фиолетовых и пурпурных мантиях, государственные мужи в парадных мундирах — вся верхушка монархии восседала на фоне специально намалеванных для этого случая декораций. У входа в собор толпилась уйма народу.

Песенкой «Карл Третий Простоватый» Беранже откликнулся на это событие. В зачине песни речь идет о старом обряде, возобновленном Карлом: при коронации «в знак возрождения страны» в собор впустили стаю птиц.

Пустой обряд! Сам Карл Десятый
Своей улыбки не сдержал…
А весь народ, предчувствием объятый,
«Спасайтесь, пташки!» — закричал.

Начиная со второй строфы, поэт, чтоб не дразнить гусей, прибегает к весьма прозрачной исторической аналогии. Вместо Карла Десятого на сцене появляется Карл Третий, царствовавший в IX веке во Франции и прозванный в народе Простоватым. От нынешнего короля его отделяет около десятка столетий, но тем не менее в судьбе Простоватого, если обратиться к историческим справкам, можно найти нечто весьма сходное с судьбой реставрированных Бурбонов. Карл III был в свое время свергнут с престола и бежал в Англию, где нашел приют. Как известно, свергнутые революцией Бурбоны тоже нашли приют в Англии.

С помощью сеньоров и духовенства Простоватому удалось вернуть свой престол. И Бурбонам тоже. Но Карл III процарствовал недолго…

Далее в песне оба Карла — Десятый и Третий — как бы сливаются в одно лицо. И острые политические намеки адресованы прямиком к современному Бурбону.

В своем пристрастье к галуну,
Давя налогами страну,
Вот Карл идет, расшитый златом,
Вассалы верные — за ним,
Хотя недавно тем же штатом
Они ходили за другим…
Но миллиард вернул их верность:
Цена не слишком высока!

Каждому ясно, о каком миллиарде упоминается здесь. Это миллиард франков, который Карл с помощью правителей-роялистов преподнес за счет народа своим дружкам и собратьям по эмиграции,

«Спасайтесь, пташки, по лесам!» —

все настойчивее призывают строки рефрена.

Насмешливыми, трезвыми и осуждающими глазами народа глядит песенник на шутовскую церемонию, развертывающуюся в соборе. Вот Карл, моля небеса о ниспослании благодати, падает в

ноги епископу. Король надел на себя пояс с мечом Карла Великого, но меч слишком тяжел для него, и Карл, свалившись у поповских ног, не может подняться. Из толпы кричат: «Вставай!» А король все лежит.

«Святому отцу» только того и надо. Нагнувшись, он шепчет королю:

«…Слово только дай,
Что нам заплатишь за подмогу,
И правь, хоть лежа. Мы — с тобой».

С восшествием на престол Карла X труженики Франции почувствуют двойной гнет: гнет короля и гнет попов. Пташки тоже могут подпасть под действие известного закона о святотатстве. Но пернатые разлетятся, а каково-то придется тем, у кого нет крыльев?

Тяжел наш рок! Завидуем мы крыльям!..
Спасайтесь, пташки! Бросьте нас!

* * *

— Французы скоро забудут своих настоящих героев и гениев, — говорит Беранже постоянному своему собеседнику Манюэлю. — Мелюзга, стоящая у власти, добивается этого.

Песенник и его друг возмущены, что правительство отказало детям художника Луи Давида, скончавшегося в изгнании, похоронить его прах на родине. И после смерти художника-гражданина монархия не может забыть его прошлое. Она боится того, кто голосовал за казнь Людовика XVI, ненавидит художника, чьи полотна служили революции. В драматической песне «Похороны Давида» Беранже обращается с призывом к Франции открыть объятия для останков своего гениального сына.

Давид умер вдали от родины, тоскуя по ней. Но, может быть, не легче, чем судьба изгнанника, судьба другого замечательного сына Франции, автора «Марсельезы». Руже де Лиль живет на родине «всеми забытый, обнищавший; он брошен в тюрьму как несостоятельный должник. Узнав об этом, Беранже спешит ободрить старого поэта, помочь ему.

«Не краснейте оттого, что вас арестовали из-за долгов. Скорее вся нация должна краснеть за те злоключения, которым все время подвергается автор «Марсельезы». Я не раз кричал об этом в

салонах эгоистов. Быть может, немного стыда заставит, наконец, понять это самых глухих из них», — пишет Беранже.

Имя автора «Марсельезы» Пьер Жан впервые услышал еще подростком в Перонне… и оно на всю жизнь слилось для него с красками трехцветного знамени, со звуками рожков, с топотом колонн добровольцев-патриотов, со всем самым высоким и дорогим для республиканца. И как был удивлен и опечален Беранже, когда впервые встретившись в 1823 году с Руже де Лилем, узнал, что тот не имеет ни постоянного заработка, ни преданных друзей, которые помогли бы ему, и бедствует, перебиваясь с хлеба на воду.

Вместо гиганта своих отроческих мечтаний Беранже увидел щуплого старичка, побитого жизнью, обозленного, издерганного, ворчливого.

История жизни этого человека была необычна. В 1792 году Руже де Лиль служил в революционной армии и находился вместе со своей войсковой частью в Страсбурге. Молодой саперный капитан пописывал стихи, музицировал в местных салонах, но ничего значительного до тех пор не создал. 25 апреля по всей Франции разнеслась весть о начавшейся войне. Друзья попросили Руже де Лиля написать марш для выступления в поход. Он согласился. И тут наступила единственная в его жизни ночь. Поднятый ввысь над самим собой могучим порывом, он в ту ночь думал, писал, творил от лица революционной Франции; она сама, казалось, диктовала ему нужные, верные, огненные слова, они носились в воздухе, в них кипел гнев, крепла решимость, пылала грозная веселость.

За одну ночь Руже де Лиль создал и текст и мелодию песни-гимна. Но такое чудо он совершил первый и последний раз в жизни.

В 1793 году Руже де Лиль отшатнулся от якобинской республики, его пугал террор. Пути поэта разошлись с революцией, душевный подъем, чувство единения с народом были утеряны. Он продолжал сочинять романсы и песни, но ничто, сочиненное им, не могло идти в сравнение с «Марсельезой».

Во времена империи автора революционного гимна стали постепенно забывать. А после возвращения Бурбонов жить ему стало совсем худо. И вот он попал в тюрьму за долги.

Старый поэт отбывал срок заключения в знакомой Беранже тюрьме Сен-Пелажи. Сумма его долга составляла 500 франков.

«Успокойтесь, дорогой пленник; я энергично взялся за ваше дело и очень надеюсь, что дня через два вы уже будете на свободе — могу вас даже уверить в этом», — писал Беранже на

следующий день, 23 июня.

Да, он энергично взялся за дело. Узнал имена кредиторов, собрал нужную сумму и вызволил старого поэта из беды.

И дальше Беранже продолжал заботиться о Руже де Лиле, поддерживал его и словом и делом. Иногда это было нелегко. С годами старик становился все более подозрительным, душевно ранимым.

Через два года после выхода из долговой тюрьмы, 22 апреля 1828 года, Руже де Лиль сильно встревожил Беранже отчаянным письмом. Он писал, что хочет убежать от друзей, которые приютили его, он не в силах переносить мысль о том, что пребывание его у них в доме им в тягость. Лучше он пойдет куда глаза глядят, по полям и лесам, ночью и днем, пока не свалится где-нибудь умирающий от усталости, голода, тоски…

Беранже тотчас же бросился спасать старого поэта, отложив в сторону собственные неотложные дела. И ему удалось успокоить Руже де Лиля, отговорить его от мрачных намерений, рассеять его подозрения. Старик снова принялся за свои стихи и композиции. Положил на музыку несколько песен Беранже и стал переводить с русского языка басни Крылова.

* * *

Неужели и он, Беранже, станет когда-нибудь таким же забытым всеми, ворчливым стариком, как Руже де Лиль?

Пятидесятилетие, увы, не за горами, и болезни все неотвязйей. Он уже не так быстро поднимается по лестницам. Покряхтывает. А как, бывало, взлетал на самый высокий этаж, в свою мансарду!

И «толстозадые проказники амуры» все реже заглядывают в его песни, хотя Беранже и тешит себя мыслью, что они не совсем еще забыли певца Лизетты.

Чем дальше уходят в прошлое годы молодости, тем милее становятся они. Даже огорчения и тревоги прежних лет как-то золотятся и розовеют в закатных лучах воспоминаний. Разве это не признак надвигающейся старости?

Мой добрый друг! Дай чокнемся с тобою
Еще разок за счастье прошлых лет.
О, как давно расстались мы с зарею!
Скольких тревог и радостей уж нет, —

поет Беранже, сидя за бутылкой вина со старым приятелем,

приобщившим его некогда к таинствам стихосложения. Типограф Лене, он же брат Полуштоф из памятной «Обители беззаботных», не забывает брата Весельчака и непременно захаживает к нему, когда приезжает в Париж по делам или просто поразвлечься. Он привозит с собой ворох приветов из Перонны и, конечно, воспоминаний юности.

Беранже поет песенку «Добрый вечер», посвященную Лене. В ней слышится грусть об ушедших днях, но это легкая, улыбчивая грусть. Прошлое дорого, но ведь существует настоящее и есть впереди будущее! Жизнь не кончена, и нечего печалиться о надвигающейся старости, когда ты полон надежд и надежды эти связаны не только с личной твоей судьбой:

Жалеть о том, чему уж нет возврата,
Не нам с тобой: надеждой мы живем.
Мой старый друг, близка пора заката:
Без грусти вечер проведем!

На пятом десятке Беранже отдает щедрую дань воспоминаниям. Во многих его песнях оживают мансарда, часы, заложенные в ломбард, Лизетта, кружок друзей, звон чаш и смелые тосты… Но теперь главное в герое его автобиографических песен уже не только веселая беззаботность, душевная широта, бескорыстие, которыми отличались маленький человек под хмельком, чудак и другие герои времен «Обители беззаботных». Герой вырос вместе с автором. И прошлое освещается новым светом. Гражданин, патриот, друг свободы встал на место прежнего бедняги-чудака.

Мы пили все за Францию без трона,

— вспоминает поэт в песне «Чердак».

О Франции со мной лила ты слезы, —

обращается он к своей подруге в песенке «Старушка».

«…Он будет петь грозу», —

предсказывает волшебница из песни «Портной и фея» у колыбели будущего поэта. А в песне «Богиня» поэт вспоминает отроческие свои годы — незабываемые годы революции с их

патриотическими праздниками, когда юный республиканец с восхищением глядел на «богиню свободы», увенчанную цветами, и звал в душе: «Будь матерью моей!»

Близок Беранже веселый и смелый комический актер из песни «Надгробное слово Тюрлюпена», хотя у него иная судьба, чем у героя автобиографических песен и он принадлежит к более раннему поколению.

Он Бастилью брал, был ранен,
Был солдатом, а потом
Очутился в балагане,
Стал паяцем и шутом.
Выручая очень мало,
Ах!
Был он весел неизменно
Поражала, поражала
Бодрость духа Тюрлюпена.

Тюрлюпен — истый демократ и самобытный философ. На что ему богатство? На что ему благоволение знати, самого короля?

Разве снимет он корону,
Если я колпак сниму? —

насмешливо вопрошает Тюрлюпен. Нет, королей и аристократов он не жалует.

Хлебопек — вот истинный друг актера-философа. Тюрлюпен воспевает угнетенных, а не угнетателей.

Что? Ему грозят за это тюрьмой?

— Я готов, — без раздумий отвечает смелый скоморох.

В Тюрлюпене собраны и воплощены те качества, которыми больше всего дорожит в человеке Беранже. Он неподкупен, справедлив, смел и деятелен. Этот скоморох действительно друг народа. Потому так скорбит народ, узнав о его смерти:

Каждый плачет, каждый плачет,
Провожая Тюрлюпена.

* * *

То, чего ждет Беранже, что он старается пробудить, ускорить

своими песнями, как будто начинает приближаться. Первые вспышки молний пока еще слабо, но уже проблескивают в тучах, сгустившихся над родиной поэта. Гнет должен, наконец, вызвать отпор в народе. Признаки этого сказываются уже на втором году царствования Карла X.

30 ноября 1825 года, когда Париж хоронил известного либерального деятеля генерала Фуа, похороны превратились в манифестацию. Лавки закрылись. Бульвары заполнились стотысячной толпой, двигавшейся за траурными дрогами. Полиция была наготове. Но на этот раз оружие не было пущено в ход.

Некоторое оживление оппозиции наметилось постепенно и в палате депутатов. Парламентские победы либералов вызывали приветственные демонстрации парижан. Но Беранже мало верил в результаты деятельности либеральных вождей:

«Я видел, что нация гораздо более развита, чем эти вожди, и что она опережала своих корифеев, которые считали себя ее высшим выражением», — говорил он.

Во время королевского смотра Национальной гвардии апрельским днем 1827 года из толпы неслись крики:

— Да здравствует хартия!

А когда колонны национальных гвардейцев, направляясь к казармам, проходили мимо дворца Виллеля, народ кричал:

— Долой министров!

— Долой Виллеля!

Взбешенный и перепуганный Виллель в тот же вечер, встретив короля на концерте у герцогини Беррийской, уговорил его распустить Национальную гвардию. Немедленно! Не то этот рассадник крамолы еще покажет себя. Карл X без долгих раздумий согласился с министром.

Парижане, услышав о новом акте монаршего произвола, возмутились.

Весь Париж обижен с нами:
Распустили нас, друзья,
Не за то ль, что в бой с врагами
Шли мы, жизни не щадя? —

спрашивает Беранже от лица национальных гвардейцев.

Черный замысел в том видя,
Черт возьми, нельзя дремать:
Впереди борьбу предвидя,
Надо силы упражнять.

Марш вперед!
Марш вперед!
Близок снова наш черед!

Поэт собственными глазами видит, как на некоторых улицах Парижа строятся баррикады. Это впервые со времен Великой революции!

Властям удалось быстро подавить вспышку народного движения, но водворившаяся в Париже угрюмая тишина вовсе не означала, что недовольство улеглось.

Черт возьми, нельзя дремать! —

думает и говорит Беранже. И он не дремлет.

Темы, сюжеты искать не приходится. Поэт должен только все искуснее заострять их, искать новых поворотов, чтоб удары становились весомее, чтоб обман, гниль, ничтожество реставрированной монархии все нагляднее раскрывались бы перед глазами народа.

* * *

— Если раньше людей пугали адом и нечистой силой, то теперь место чертей с полным на то правом могут занять иезуиты, — говорит поэт друзьям. — Не правда ли, подходящий сюжет для песни?

Героем сатирической песни-новеллы «Смерть Сатаны» Беранже сделал святого патрона иезуитского ордена и его основателя Игнатия Лойолу.

Ловко подсыпав яду в стакан Сатаны, заглянувшего к святому в час обеда, Лойола занял трон издохшего властителя ада.

«…Я решился
Его права и место взять.
Его никто уж не страшился;
Я всех заставлю трепетать, —

возглашает иезуитский патрон, успокаивая встревоженных чертей и святош.

Откроют нам карман народный

Убийство, воровство, война.
А богу то, что нам негодно, —
Хоть умер, умер Сатана!»

Церковники издревле затуманивают народные головы устрашающими сказками об аде и геенне огненной, но не менее вредны созданные с той же целью слащавые сказочки о райских кущах и об ангелах-хранителях. И как смеется Беранже вместе со своими героями над этакими утешительными враками!

В больнице умирает бедняк инвалид. Немало злоключений пережил он на своем веку, но помог ли ему хоть раз прелестнейший ангел-хранитель? Вот он тут, торчит перед ним, пернатый, с благостной миной. Между умирающим и ангелом идет словесная перепалка.

— Помнишь, ангел, как в бою ночном
Бомбою мне ногу оторвало?
— Да, но ведь подагрою потом
С ней пришлось бы мучиться немало, —

отвечает ангел. Небесный покровитель увертывается от ответа на каждый вопрос своего подопечного.

— Вот умру, у райского огня
Мне дадут ли отдых заслуженный?
— Что ж, тебе готовы — простыня,
Гроб, свеча и старые кальсоны.

А уж куда держать умершему путь дальше — дело темное.

Так бедняк из мира уходил,
Шутками больницу потешая.
Он чихнул, и ангел взмахом крыл —
Будь здоров — взвился к чертогам рая.

Пусть отправляются восвояси ангелы-хранители, измышления святых отцов с их набором лживых сказочек.

Квиты мы, приятель дорогой!
Что нам спорить? Улетай домой!

Иезуиты-отравители, тупоголовые маркизы, хвастливые и жадные «пузаны», «простоватые», злобные и вероломные короли — до каких же пор будут все они топтать и бесчестить Францию?

В песне «Бесконечно малые, или Будущность Франции», продолжающей тему «Мелюзги», поэт рисует безотрадную картину, которую довелось ему видеть в некоем волшебном зеркале:

Все измельчало так обидно,
Что кровли маленьких домов
Едва заметны и чуть видно
Движенье крошечных голов.
Уж тут свободе места мало,
И Франция былых времен
Пигмеев королевством стала, —
Но все командует Барбон.

(Поэт изменил букву в династическом имени — Барбон вместо Бурбон, — но все произносили и пели «Бурбон».) Это картина будущего. Франция со всеми своими шпиончиками, попиками, генеральчиками и лакейчиками действительно будет такой и в XX веке, если народ ее не поднимется. Таков смысл песни, ее подтекст, призыв, бьющийся в ней.

И французы, распевая в гогеттах и на бульварах, в подвалах и мансардах песенки Беранже, прислушиваются к их настойчивому зову. Ведь это их собственные голоса и мысли слышатся в этих песнях, голоса тех, кто еще не разучился думать не только о себе, кто не успел еще измельчать, запродаться, омертветь, превратиться в марионетку, в лакейчика.

# МОГИЛА МАНЮЭЛЯ

— Вы вериге в близость революции? Я тоже верю. Но, друг мой, где же люди, которые смогут достойно управлять Францией? — говорит Манюэль. Голос его слабеет, дыхание становится прерывистым. Беранже склоняется к больному, ловит каждое слово, осторожно поправляя сбившуюся под его головой подушку.

Дни Манюэля, а может быть, уже и часы сочтены. Но до последнего часа он думает о том, на что положил свою жизнь. Революция. Пути к ней. Будущее Франции. Неужели оно действительно станет таким, каким рисуется в песне Беранже? Нет, нет, Манюэль верит в революцию. Но… И снова душевная боль, неразрешимые вопросы.

Пережитые потрясения сократили жизнь Манюэля, обострив его болезнь и ускорив ее ход. Конец близок. Но Беранже никак не хочет поверить в это, примириться с этим, как не хотел поверить народ в смерть героя его песенки Тюрлюпена… Слишком тяжела утрата. Для него и для всей Франции. Манюэль со свойственной ему скромностью никогда не ставил себя выше тех вождей либерального лагеря, от которых так мало ожидал. Но Беранже-то знает ему цену и убежден, что именно Манюэль мог стать одним из тех, которые возглавили бы народное движение.

«Один-единственный он не терял головы, оставался неколебимым среди сумятицы, дрязг и водоворотов политической борьбы».

Ум, руки, сердце — все в нем говорило
О том, что он — народа истый сын…

Манюэль умер 20 августа 1827 года. И вот уже гроб выносят из замка Лаффита Мэзон, где Манюэль провел последние дни жизни. За гробом, опустив голову, идет Беранже, рядом брат покойного Манюэль-младший, вслед за ними Лаффит, Лафайет, Тьер, Минье и еще много писателей, депутатов, либеральных вождей. Среди них и те, которые отравляли жизнь Манюэля вероломством, завистью, интригами.

За воротами толпа народу. Здесь бескорыстные друзья. Скорбь их непритворна, хотя они и не произносят пышных слов. К процессии присоединяются новые и новые участники, они прибывают с соседних улиц, переулков. Толпы стекаются к внешним бульварам. Похороны превратились в манифестацию.

Жаль, что Манюэль не может увидеть этого, ему уже никогда ни о чем не расскажешь, мелькает в сознании Беранже.

Шествие по центру Парижа строго запрещено приказом свыше.

Небось таких запретов и предписаний не было во время похорон генерала Фуа, — вспоминает Беранже. Правительство боялось Манюэля при жизни и после его смерти продолжает страшиться смелого депутата.

Вооруженные отряды полиции следят за процессией. Молодежь впряглась в траурные дроги. Так было и на похоронах генерала Фуа, и тогда никто не препятствовал этому. Теперь же все идет по-другому. Корпус жандармов врезается в толпу. Сабли наголо. Кони фыркают, бьют людей копытами. Люди шарахаются. Крики. Проклятия. Нет, демонстранты не хотят подчиняться насилию. Пусть убираются к чертям полицейские!

Жандармы видят, что им может прийтись худо, и осторожно отступают. Начинаются длительные переговоры. Лаффит выступает в качестве парламентера. В конце концов сходятся на том, что люди будут выпряжены из катафалка, а кони снова впряжены. Тогда процессия сможет двигаться дальше по намеченному полицией маршруту…

У открытой могилы звучат прощальные речи. Беранже больно слушать их, хочется тишины. Хочется сосредоточиться в себе, вглядываясь последний раз в черты друга.

Я был к нему привязан всей душою.
Мы встретились двенадцать лет назад,
В дни горькие, когда над бсей страною
Глумился враг… Как был я другу рад!
…
Тщеславью чужд, мечтатель убежденный,
Своих идей провидя торжество,
Он ждал, когда народ освобожденный
Пробудится и позовет его.
С ним не страшна была мне смерти сила,
Я вместе с ним боролся б до конца…

Многие из выступавших на кладбище говорили, что Манюэль заслуживает памятника. Тут же была открыта подписка. Беранже с волнением ждал ее результата. В песне «Могила Манюэля» он обратился к французам с призывом откликнуться и внести свою лепту.

Услышьте просьбу нищего певца! —

зовет рефрен песни. Неимущие рады бы откликнуться, но карманы их пусты. А богачи — будь они даже либералы — не хотят открывать своих туго набитых кошельков для Манюэля.

После Манюэля осталось небольшое наследство — сумма, которую он скопил, будучи адвокатом в Эксе. Он завещал Беранже тысячу франков пожизненного дохода. Беранже отказался от этих денег в пользу родственников покойного и попросил себе на память только часы друга и его волосяной матрац.

* * *

«Либеральные корифеи» с их двурушничеством, робостью, мелким честолюбием и самодовольным краснобайством все больше раздражают и возмущают Беранже. Это они пытались ставить ему палки в колеса, когда в 1821 году он задумал выпустить новый сборник. Это они сидели и хлопали глазами, когда Манюэля выталкивали из палаты. Это они своей неблагодарностью и происками сократили его другу жизнь. Они шарахаются при малейшей опасности. А вот теперь, развесив уши, внимают сладкогласным призывам к «слиянию», к примирению враждебных партий, к «единению короля и народа», которые исходят из уст нового премьера Мартиньяка, сменившего Виллеля в начале 1828 года.

Беранже понимает, что разговоры о «слиянии» и примирении вызваны страхом верхов перед народным движением. Массовые демонстрации в Париже, открытое возмущение политикой Карла X и его министров — это признаки надвигающейся грозы. Виллель уже слетел, и правительство теперь маневрирует, виляет, ставит громоотводы, заигрывает с либералами. Вероятно, некоторые приверженцы «слияния» из числа либералов уже видят себя в мечтах и снах обладателями министерских портфелей.

— Не благодарите меня за песни, которые я сложил против ваших противников, а благодарите за те, которые я не сложил против вас, — бросает поэт собравшимся в салоне Лаффита либеральным говорунам. — И знает бог, сколько между этими песнями было бы хороших и как часто я обдумывал их! За них, я полагаю, правительство легко бы простило мне все остальные.

Собеседники прикусывают языки и пытаются обратить в шутку слова песенника. Они боятся его, боятся его жалящих эпиграмм, его метких словечек, так и припечатывающих на месте.

Маленький остроносый Тьер отделяется от группы слушателей, осторожно и почтительно берет песенника под локоть и что-то быстро говорит ему.

Напрасно либералы пугаются. Конечно, Беранже не станет пускать в оборот песен против них, даже если песни эти будут метки и правдивы. Он не был заинтересован в том, чтобы доставлять удовольствие правительству и учинять раскол в рядах оппозиции, большинство которой составляли тогда либералы. Чувство долга заставляло его поддерживать отношения с либеральной партией. К тому же среди ее деятелей были люди, которых он не переставал считать своими друзьями, — Дюпон де Л'Ер, Лаффит, Тьер, Минье… Он благодарно жмет руки «молодым друзьям» за красноречивые статьи, посвященные памяти Манюэля. И как только удалось им пробиться сквозь цензурные рогатки!

Последнее время Беранже особенно тянет к молодежи, ему хочется верить, что вступающее в борьбу поколение будет сильнее, мудрее, последовательнее своих отцов.

«Я видел, как вокруг меня рождались и вырастали прекрасные и благородные таланты, самоотверженные люди, устоявшие против всех разочарований. Я видел, как возникали и развивались философские и социальные идеи, которые со временем, очистившись от неизбежных ошибок, послужат к улучшению этого бедного мира, воображаемая цивилизация которого пока еще не больше, как варварство», — напишет он позднее, вспоминая об этих годах.

Беранже радует, что Тьер, Минье и другие их коллеги — историки Гизо, Тьерри — исходят в своих трудах из опыта революции. Они обосновывают новый взгляд на общество и его историю. Не прихоти королей и их фавориток, не «его величество Случай» определяют ход исторического развития. И даже не «общественное мнение», столь всемогущее в глазах философов-просветителей XVIII века. На реальных фактах французские историки времен Реставрации доказывают, что ход общественного развития зависит от имущественных отношений и гражданского быта людей. Они уже говорят о «борьбе классов» в обществе, видя ее выражение в великой битве третьего сословия с реакционными феодалами и духовенством. Третье сословие представляется им монолитным, а буржуазия его неотъемлемой и самой активной частью.

Из рук Минье и Тьера Беранже получает первые их книги, из уст их слышит новые теории. Он гордится их успехами, одобряет их общее направление.

А Тьер, этот карьерист, так и юлит вокруг Беранже, так и

старается всячески подчеркнуть в обществе свою дружескую близость к песеннику. Ведь дружба с ним — это лучшее свидетельство независимости и честности, неподкупности и свободолюбия. И Тьер взбивает свой авторитет за счет Беранже, подхватывая и повторяя некоторые его суждения и мысли. Мог ли в те годы Беранже предвидеть дальнейшую карьеру своего «подопечного»? Мог ли он предположить, что борцы с монархией Бурбонов, открыватели новых исторических горизонтов — так думал он о Тьере и Гизо — превратятся впоследствии в реакционных министров, душителей живой мысли и освободительных движений!

Много превращений и парадоксов повидал Беранже и еще увидит на своем веку!

Участие поэта в политической битве своего времени обостряет его жадную любознательность ко всему новому, молодому. На глазах его складывается новое литературное направление — романтизм. На глазах его завоевывают все больше сторонников социальные учения Сен-Симона и Шарля Фурье. Но чтоб успешно заняться разрешением социальных задач, полагает Беранже, нужно прежде всего сменить политический строй. Поддерживать законное недовольство народа, направлять его справедливый гнев, а не тушить его, обличать мерзости монархии, а не отходить в сторону или идти на примирение — вот цели, которые он ставит перед собой.

— Народ — моя муза! — не устает твердить он. Народ для него — это прежде всего те, кто трудом своим создает богатство, силу и славу нации. Это угнетенное большинство, неимущее или малоимущее — крестьяне, рабочие, ремесленники — демократический люд города и деревни. Народ противостоит феодальным угнетателям и их лакеям.

Но с кем же буржуазия? С народом или против него?

Подобно большинству передовых мыслителей своего времени, Беранже все еще склонен относить буржуазию к «третьему сословию». Он не видит в ней самостоятельного класса, который за ширмой реставрации постепенно прибирает к рукам и феодалов и угнетенные массы, неуклонно приближаясь к полновластному господству. Он не видит этого, может быть, потому, что буржуазия еще не до конца утратила свою революционность и продолжает участвовать в борьбе против феодально-монархического режима. Но в то же время Беранже уже издавна замечает политическую непоследовательность буржуазных либералов и уж, конечно, с давних пор убежден в том, что буржуазная погоня за наживой враждебна всем демократическим идеалам.

В поэзии Беранже с самых ее истоков гнездился антибуржуазный дух; не будь этого, он бы, пожалуй, не сделался настоящим народным песенником и не стал бы одним из зачинателей реалистического направления во французской литературе XIX века.

# ЛЕГЕНДА О НАПОЛЕОНЕ

«Королевству пигмеев» в поэзии Беранже противостоит Франция «былых времен» — времен революции, республики, империи; Франции, раздавленной и уничтоженной, — Франция героическая, побеждающая полчища монархической Европы.

При жизни и царствовании Наполеона Беранже никогда не воспевал его. Автор «Короля Ивето» и «Трактата для Лизетты» относился к императору-завоевателю критически. Но чем дальше в прошлое отодвигались годы империи, чем больше росло возмущение народа против реставрированной монархии, тем разительнее переосмысливались в народной памяти и в памяти Беранже личность и время Наполеона. Недавнее прошлое обволакивалось радужной дымкой, быль превращалась в легенду.

Легенда о Наполеоне была плодом несбывшихся надежд, оскорбленных патриотических чувств народа, совершившего некогда революцию. Легенда эта была плодом возмущения французов против гнета европейской реакции и произвола распоясавшихся аристократов-эмигрантов. Она начала складываться после второй Реставрации, когда, проиграв битву при Ватерлоо, Наполеон стал пленником англичан. Уже тогда фигура изгнанника, сосланного на далекий остров в океане, стала облекаться в воображении многих неким романтически мятежным ореолом.

Узник острова Св. Елены в представлении народа как бы противостоял своим тюремщикам, противостоял палачам свободы, всем охранителям европейской реакции. Трагический этот ореол засиял еще ярче, и легенда стала складываться еще активнее после смерти Наполеона, в 1821 году.

Начало двадцатых годов в Европе было временем, когда остервенелая реакция во главе со Священным союзом бросилась душить поднявшееся в некоторых странах народно-освободительное движение. Разгром итальянских карбонариев. Интервенция монархической Франции в революционную Испанию. Засилье ультрароялистов и «поповской партии» во Франции.

Оппозицию загоняли в подполье, но задавить и уничтожить ее не могли.

Протест против настоящего вызывал обращение к памяти о недавнем прошлом. Былое величие противопоставлялось ничтожеству настоящего.

Легенда о Наполеоне складывалась в рассказах ветеранов, в преданиях деревенских старожилов. По французской деревне

реставрация ударила особенно сильно, и среди крестьян легенда о «народном императоре» пустила глубокие корни. Зазвучала она и в песенках городской бедноты и в стихах безвестных и знаменитых поэтов.

Бедствия народа во времена империи, бесчисленные человеческие жертвы, захватнический дух наполеоновских войн — все это как бы сглаживалось, оттеснялось, стушевывалось в творимой год от года легенде, а все героическое, победоносное, новое, что несла с собой наполеоновская эпоха, выступало вперед и расцвечивалось народной фантазией.

Победы армии Бонапарта, одержанные под республиканским трехцветным знаменем, как бы сливались в памяти ветеранов с победами армий республиканской Франции. Узурпатор революции представал в преданиях как ее наследник и продолжатель. Деспот, властолюбец, жестокий агрессор преображался в некоего «отца народа», «маленького капрала», друга солдат (при Наполеоне простой солдат-крестьянин мог дослужиться до командирского чина, при Реставрации офицерами могли быть лишь дворяне).

То, что обещал народу Наполеон в пору «ста дней», что народ ждал от него и не дождался в действительности, обрело поэтическую жизнь, воплотившись в легенде. Наполеоновская легенда перешла за пределы Франции. Лучшие европейские поэты той поры — Байрон и Пушкин, Мицкевич и Гейне — отдали ей дань.

Во Франции одним из первых певцов Наполеона был молодой поэт Эмиль Дебро. Поэт парижских предместий, чахоточный бедняк, он боролся в своих песенках с реакцией, с мерзостями монархии Бурбонов, поднимая дух сопротивления. Тень Наполеона он противопоставлял, как делали это потом и знаменитые поэты, ничтожным фигуркам современных правителей.

Мог ли Беранже, голос народа, его эхо, пройти мимо легенды, создававшейся в недрах Франции? Нет, он не забыл о том, как оплакивал некогда республику, не забыл о преступлениях Бонапарта перед демократией, о деспотизме императора и о кровавых жертвах, которые приносила в те годы измученная войнами Франция. Автор «Короля Ивето» ничего не забыл, это доказывает его «Автобиография», написанная позже. Но, ничего не забыв, он все же поддался обаянию легенды о Наполеоне. Образ императора как бы раздвоился в его сознании. Наполеон-узурпатор — и тут же рядом созданный народным воображением и памятью «маленький капрал», умножавший славу Франции, друг солдат и простолюдинов. Тень легендарного Наполеона

превратилась в поэзии Беранже в некое подобие могучего Ахилла, противостоящего современным пигмеям.

Вероломство бывших соратников императора, предававших память узника Св. Елены, вызывало отвращение и усиливало желание поднять, опоэтизировать его память наперекор хамелеонам, шутам, пляшущим под любую дудку.

Сотворив вместе с народом образ легендарного героя, некоего очищенного и улучшенного Наполеона, Беранже уже не мог отказаться от него. Пусть этот эпический герой был далек от реальности. Он был дорог поэту, как плод народной и собственной фантазии. Он был нужен ему для борьбы с монархией Бурбонов.

Упоминания о «гиганте», противостоящем «мелюзге», уже встречаются в песнях Беранже, созданных в первые годы Реставрации. Но первая его песня, «Пятое мая», в которой легендарный герой встает во весь рост, была сложена после смерти узника Св. Елены.

В годы царствования Карла X Беранже удваивает свои удары в борьбе с феодальной реакцией и не раз обращается к наполеоновской легенде, к истории недавнего прошлого. Он вспоминает битву при Ватерлоо как событие, открывшее эпоху унижения Франции.

…Заведомой изменой
Был к рабству путь для нации открыт…
В двойной обман ввел
Славу день презренный…
Моих стихов тот день не омрачит!

В песне-диалоге «Два гренадера» поэт славит бескорыстие и верность старых солдат-патриотов, противопоставляя их трусливым и продажным «знатным лакеям» и маршалам, бросившим своего полководца. Два гренадера участвовали в русском походе. Они помнят о сопротивлении всей Русской земли, поднявшейся на защиту от иноземного нашествия.

За пораженьем пораженье
Дала нам Русская земля.
Мой штык доныне отраженье
Хранит горящего Кремля, —

говорит старый гренадер. И особенно горько патриотам-ветеранам, что французы, не в пример русским, сдали врагам

Париж почти без сопротивления.

Нет, не скорбь о судьбе Наполеона встает главной темой этой песни, а оскорбленный патриотизм и нерушимая верность родине, которую сохраняет человек из народа в атмосфере измены и продажности, мелких и низменных страстей, которыми объяты «верхи» нации.

Героиня песни «Народная память» — старая крестьянка, видезшая Наполеона в разные времена его жизни и даже будто бы приютившая его однажды в своей избе. Об одной из таких крестьянок Беранже рассказал потом в своей «Автобиографии». Он встретил ее в 1808 году, проезжая Компьен, где только что побывал император.

«Вне себя от радости она подбегает ко мне и кричит:

— Ах, сударь, наконец-то я его увидела!

— Кого же? — спросил я, притворяясь, что не понимаю ее.

— Императора, императора! — отвечает она. — Он поклонился мне. Он кланяется всем. Не так, как эти господа, что с ним. Сейчас видно, что они всего-навсего выскочки».

Выскочка и захватчик Бонапарт переосмысливается в народном сознании в истинного императора, по праву взявшего власть, а окружающие его знатные господа — в безродных выскочек.

Под соломенной крышей
Он в преданьях живет, —

говорит Беранже о Наполеоне в песне «Народная память». Старая крестьянка ведет рассказ о своей встрече с Наполеоном по просьбе внучат. Она заражает молодежь преклонением перед памятью о Наполеоне — полусказочном «добром государе». Предание о нем пойдет из ее избушки из уст в уста. Как завидуют внуки бабке, которая собственными глазами видела этого героя, говорила с ним! Неужели он сидел тут, на этой деревянной скамье? Горшок, из которого он ел, становится реликвией.

Как он цел еще, родная,
Как еще он цел? —

изумляются внуки.

И в этой песне, как и в «Двух гренадерах», Беранже воспевает не столько героя народных легенд, сколько самих творцов этих легенд.

Отдавая дань народным предрассудкам, разделяя их, поэт и

заблуждения свои ставил на службу борьбе с монархией Бурбонов. Но в увлечении его наполеоновской легендой была и оборотная сторона, крылась немалая опасность. Возвеличивание памяти Наполеона — пусть даже легендарного героя, а не реального исторического лица — содействовало росту бонапартистских иллюзий в народе и особенно в среде тех же крестьян.

# РОМАНТИЧЕСКОЕ ВОИНСТВО

Признаки надвигающейся грозы дают себя знать к концу двадцатых годов во всех областях жизни, мысли, искусства Франции. Литературная жизнь теперь уже совсем иная, чем была во времена империи или в первые годы Реставрации. Тогда лишь отдельные смелые голоса прорывались сквозь завесу официальной лжи и трусливой покорности, сквозь густые фимиамы раболепной лести.

Теперь смелые голоса крепнут. Новое поколение писателей вышло на сцену. Молодые писатели-романтики все неистовее атакуют старые крепости классицизма. Новаторы идут в поход против консерваторов.

Романтическое движение зародилось во Франции в начале XIX века и с первых шагов носило двойственный характер. В нем выразилось и то разочарование, которое принесли Франции результаты революции, и тот порыв к освобождению, который был рожден ею, еще не иссяк и требовал своего завершения.

Уже в начале века во Франции гремело имя Шатобриана. Беранже пробовал обращаться к его творениям, но очень скоро увидел, что писатель этот не подойдет для него в качестве духовного вождя.

Меланхолия, разочарование, преданность обрядам, тяготение к позе и фразе — все это отталкивало Беранже. В годы реставрации, осушив элегические слезы и подавив вздохи, автор «Гения христианства» и «Мучеников» ударился в политику. Это он на посту министра иностранных дел призывал в 1823 году французов к войне с революционной Испанией. А Беранже в это время бок о бок с Манюэлем боролся против этой войны, разоблачая ее в песне «Новый приказ».

В первое двадцатилетие XIX века французский романтизм не был еще широким литературным движением, в нем участвовали единицы. Да и само понятие «романтизм» тогда еще не определилось, оставалось расплывчатым, хотя знаменитая Жермена де Сталь, одна из зачинательниц нового направления, немало потрудилась над истолкованием его характера и задач в своих ученых трактатах о литературе и в романах, главной героиней которых была женщина, отстаивающая свое право на свободное чувство.

Идеи, которые развивала эта писательница, совсем не походили на идеи Шатобриана. Госпожа де Сталь одна из первых заговорила о том, что литература каждой эпохи всегда связана с жизнью страны, со всем строем общества. Под романтизмом

Сталь разумела искусство, соответствующее современной эпохе. Эта мысль ее была позже подхвачена передовыми романтиками двадцатых годов.

Беранже отдавал должное уму и таланту Жермены де Сталь, но, по собственному его признанию, не искал знакомства с ней, хотя двери ее салона и были открыты для автора «Короля Ивето». Патриотизм Беранже оскорбляло отношение прославленной писательницы к национальным бедствиям Франции. Ненавистница Наполеона, изгнанная им из Франции за непокорство, Жермена де Сталь вернулась на родину тотчас же после первой Реставрации. «В своих гостиных она не переставала похваляться тем, что было пагубой для нашей страны», — пенял Беранже. Певца бедняков отталкивало и богатство «раззолоченных гостиных» писательницы, богатство, которое, по мнению Беранже, «немало содействовало росту ее заслуженной литературной славы».

Романтическое движение значительно окрепло и расширилось уже с начала двадцатых годов. Романтиками считали тогда тех, кто так или иначе выступал против действительности реставрированной монархии и против «старого литературного режима». Бунт литературный, впрочем, не всегда совпадал с политическим даже у писателей, которые, следуя за гениальным англичанином Байроном, избирали своими героями «гонимых», «благородных разбойников».

Кипение страстей, неистовство красок, полет фантазии все больше влекли романтиков. Отходя от привычных сюжетных и языковых норм, принятых за образцы, они изображали необычное, чудовищное, потрясающее. Они стремились как-то выразить мятущийся дух своей беспокойной эпохи и бросить вызов холодной, рассудочной трезвости, размеренной, накрахмаленной чинности эпигонов классицизма, защитников литературной старины, засевших в академии и министерствах.

Под стяг освободительного движения в искусстве становились рядом с романтиками и будущие реалисты. Анри Бейль (одним из многочисленных псевдонимов которого было имя Стендаль) выступил в 1823 и 1825 годах против литературных эпигонов с блестящим памфлетом «Расин или Шекспир?»

Драмы Шекспира стали привлекать все большее внимание литературных новаторов. Имя Шекспира было написано на их знаменах.

Новые звезды зажигались на литературном небосклоне Франции: Ламартин, Гюго, де Виньи — плеяда поэтических талантов.

Взгляды и темы этих поэтов были чужды песеннику оппозиции. Он сражался против феодальной реакции, а они воспевали в начале двадцатых годов Францию замков, рыцарей и королей, складывали живописные баллады по мотивам поэтических старинных преданий. Но уже тогда он видел в их стиле признаки новаторства, привлекавшие его.

Споры вокруг молодой романтической школы с каждым годом становились ожесточеннее. Редакторы официальных газет и защитники «старого литературного режима» — маститые академики скоро учуяли, особенно в творчестве Гюго, дух бунтарства, «дерзкое нападение на основы» классической поэтики.

Литераторы либерального лагеря (среди них тоже было немало поклонников классических традиций) вели нападение на молодых романтиков с другой стороны, осуждая их ретроградные политические взгляды.

Горячие перепалки начинались в литературных салонах, когда речь заходила о романтиках, особенно если кто-нибудь пробовал вступиться за них. Это иногда делал Беранже.

— Неужели вы можете простить этой школе ее грехи против демократической мысли, расчистившей перед ней путь? — вопрошали Беранже его друзья-либералы.

— Неужели вы можете забыть, что из лагеря романтиков раздавались оскорбления нашей славе, что там надругались над Наполеоном, умиравшим на острове Святой Елены? — гневно восклицали бонапартисты.

— Нет, эти юнцы заслуживают решительного осуждения — они отвергают заслуги, оказанные Франции философами-просветителями, — возмущались вольтерьянцы из салона Жуй.

Беранже в ответ на все эти обвинения в адрес романтиков во всеуслышание отвечал, что заблуждения романтической школы не мешают ему рукоплескать лирическому гению Гюго, восхищаться «Размышлениями» Ламартина, ценить мастерство и оригинальность поэзии Виньи.

— Все грехи романтической молодежи для меня чувствительнее, чем для кого-нибудь другого, — говорил Беранже. — Но вспомните, что, начиная писать, мы всегда открываем свое поприще идеями чужими и у нас не хватает времени дать себе отчет, в каком соотношении находятся эти идеи с нашими собственными чувствами, — этим, между прочим, и объясняется изменчивость стольких выдающихся умов! — а так как все наши романтики еще очень молоды, то простим им ошибки, в которых мы можем требовать отчета разве только у их кормилиц.

Заметьте и то, — продолжал Беранже, — что эти молодые поэты заставляют литературу нашу выражать более откровенно все новое, современное, чисто французское, что мы так долго передавали, даже в наших политических собраниях, при помощи заимствования у древности или на языке, совершенно враждебном простому точному слову… Дайте срок! Напрасно привязываются они к прошедшему — они еще придут к нам. Язык, на котором они говорят, приведет их к нашим идеям.

И как был доволен песенник, видя, что предсказание его постепенно начинает сбываться! Чуткий к веяниям современности, Виктор Гюго постепенно отходит от роялистов. В новых одах и балладах он славит сражающихся за освобождение греков. Былой ненавистник Бонапарта складывает в 1827 году оду в честь Вандомской колонны. Бывший легитимист делает главным героем своей драмы Оливера Кромвеля. И вместе с изменением политических взглядов все решительнее и смелее становится борьба Гюго за обновление и возрождение французской поэзии.

В конце 1827 года Гюго создает предисловие к своей пьесе «Кромвель», которое становится эстетическим манифестом передового крыла романтической школы. Молодой писатель призывает к борьбе с духом подражания, преклонением перед старыми образцами. Он ратует за права современности, за освобождение литературы и ее языка от истлевших пут классицизма. За освобождение драмы от связывающих ее классических «единств» — времени и места. Он зовет учиться у Шекспира принципам широкого и вольного развития драмы, не связанной этикетом, сковывающим ее шаг.

Вокруг Гюго сплотилось целое воинство молодых поэтов и художников. Кудлатые, бородатые, в живописных плащах и широкополых шляпах, они не только своими произведениями, но и самой своей одеждой и внешностью бросали вызов трусливым обывателям.

Эти юноши готовы ринуться в бой за литературную революцию. Может ли Беранже не рукоплескать им? Ведь они продолжают ту битву за освобождение французской поэзии от гнета мертвых правил и образцов, которую начал он, Беранже, еще в давние времена, в дни молодости. Он начал эту битву в области песенной поэзии, а теперь на глазах его движение разрастается, охватывая все новые области литературы и искусства.

Борьба за литературное обновление сближает Беранже с передовым отрядом романтиков-новаторов, но это не означает, что он принадлежит к романтической школе. Нет, он не романтик

и никогда им не был. Романтические «неистовства», «излишества», сгущение красок, словесные эффекты — фейерверки и водопады — чужды Беранже, как и романтические «туманы», увлечение мистикой, уход в глубины своего «я», перевес чувства над разумом.

Беранже не романтик, но он и не классицист. Один из первых в XIX веке он начал ломать каноны аристократической поэтики, устраняя перегородки между «высокими» и «низкими» жанрами, сближая язык поэзии с языком народа. Один из первых он открыл нового героя литературы и ввел его в свои песни.

Кто из поэтов осмелился сделать героями самых возвышенных своих стихов старых солдат, крестьянок, бедняков из мансард? Только у старинных поэтов вроде Франсуа Вийона и в народной поэзии могли встретиться такие «безродные» герои.

Враг педантизма, косности, тупого подражательства, Беранже, однако, не отрицает значения лучших образцов прошлого для современности. Пусть Мольер и Лафонтен жили и творили в век расцвета классицизма — у них есть чему поучиться, они не устарели. Естественность выражения, ясность мысли, галльская веселость и остроумие — совсем не плохие традиции!

В литературном, как и политическом, движении своего времени Беранже сохраняет позицию «независимого». Он с новаторами, но вне литературных группировок. Школа, принципы которой он закладывает в своей поэзии, сложится позднее. Сам того отчетливо не сознавая, Беранже был одним из первых реалистов во французской литературе XIX века.

# И ЗА РЕШЕТКОЙ ОН БУДЕТ ПЕТЬ!

В салоне Лаффита переполох. Беранже объявил, что собирается издать новый сборник, куда войдут его самые дерзкие и боевые политические песни последних лет.

— Как, и «Бесконечно малые»?

— И «Смерть Сатаны»? — хватаются за головы осторожные вожди оппозиции.

— Неужто и «Красного человечка» вы собираетесь напечатать?

Рассказывают, что листки с песнями Беранже иногда попадают на ночной столик Карла X. Король вскакивает как ужаленный, неистово трезвонит в колокольчик, призывая камердинера и слуг. Кто посмел подкинуть к нему эти листки, дышащие ядом? Волны монаршего гнева несутся по всей стране. Красные человечки так и мельтешат в глазах обитателей дворцов и посетителей салонов.

Песенка Беранже «Красный человечек», которая вызывает бурю восторга в гогеттах, бурную ярость властей, а либералов заставляет опасливо кряхтеть и коситься, основана на народном поверье. Каждый раз перед несчастьем, грозящим обитателям королевского дворца Тюильри, в стенах его появляется человечек, похожий на гнома.

Представьте в ярко-красном франта,
Он кривонос и хром,
Змея вкруг шеи вместо банта,
Берёт с большим пером,
Горбатая спина,
Нога раздвоена.
Охрипший голосок бедняги
Дворцу пророчит передряги.
Молитесь, чтоб творец
Для Карла спас венец! —

рассказывает старая дворцовая метельщица из песенки Беранже.

Человечек этот появлялся в девяносто первом году перед низвержением и казнью Людовика XVI; мелькал он во дворце и перед казнью Робеспьера и перед падением Наполеона. А теперь вот уже третью ночь он приходит в Тюильри!

Молитесь, чтоб творец
Для Карла спас венец!

Рефрен песни вгоняет в дрожь и короля и всех слуг реставрированной монархии. Еще бы! Прямое предсказание скорого конца!

Гости в салоне Лаффита ежатся. Ведь на них тоже падет тень, если сборник, начиненный порохом, вдруг выйдет в свет. Представить только! Там ведь, в этой книге, будут ко всему прочему и сатиры на его святейшество, главу римской католической церкви: «Папа-мусульманин», «Свадьба папы», «Сын папы» (Брр! Язык не поворачивается выговаривать такие слова!), и святотатственная песня «Ангел-хранитель». К гневу короля присоединится гнев святых отцов. И тогда конец «доброму согласию» партий, которое пытается установить «добрый министр» Мартиньяк с помощью разумных либералов.

— Это выступление подорвет наши позиции в палате, подрежет все наши планы и надежды, — с дрожью в голосе и слегка в нос произносит один из гостей. И другие поддерживают его печальным блеянием.

Беранже оглядывается. А как «молодые его друзья»? Тьер и Минье помалкивают, опустив очи долу. Не хотят замочить лапок! Дипломаты!

А Лаффит так и устремляется к песеннику:

— Дорогой наш друг! Зачем торопиться? Вы сами ведь многим рискуете. Неужели вам хочется скандала? Вторичного процесса? Тюремного заключения? И, может быть, надолго! Ведь все это отразится на вашем здоровье, а оно так хрупко. Мы все хотим поберечь вас!

С миной доброго папаши банкир уговаривает песенника, отведя ею в уголок. Зачем кричать вслух? Лучше потише и повнушительнее.

Напрасны протесты, уговоры, предостережения, они не собьют Беранже с толку, не заставят отступить.

«…Чем настойчивее проповедовали мне молчание, тем острее я чувствовал необходимость прервать его, по-своему протестуя против «слияния», которое сбивало с толку общественное мнение и могло послужить укреплению принципов легитимизма», — признавался Беранже.

Сборник под названием «Неизданные песни» вышел в свет в октябре 1828 года.

Автор поспешил укатить в Нормандию, на берег моря, чтоб успеть набрать в легкие воздуху перед тем, как попасть в тюрьму.

Отдых его был на этот раз очень короток. Один из новых молодых друзей Беранже, писатель Проспер Мериме, известил его, что ожидаемый скандал разразился.

«Но я не очень подвержен страху и к тому же ко всему подготовлен, — отвечал Беранже молодому другу (он недавно познакомился с Мериме и тотчас же оценил его острый ум и литературное дарование). — Его величество, кажется, не нашел мои стихи столь приятными, как мне лестно было надеяться. Что поделаешь? Короли, видимо, сделаны из другого теста, чем мы, жалкие смертные, к тому же наш король за последнее время, кажется, немножко испортился».

Беранже видит, что не только «верхи» общества, но и многие из либералов, которые до сих пор называли себя его друзьями, отшатнулись от него.

«Но я умею ходить без посторонней помощи, — пишет Беранже тому же адресату. — Я еще не настолько испорчен жизнью и достаточно силен, чтобы извлечь пользу из уроков, которые от нее получил». Нет, он не собирается уклоняться от судебного процесса и удирать куда-нибудь за границу, как советуют ему осторожные друзья-либералы. Беранже срочно возвращается в Париж.

Тотчас по приезде он узнает, что без его ведома милейший Лаффит поспешил обратиться к министру полиции Порталису с просьбой добиться отмены процесса или постараться направить судебное расследование в благоприятную для поэта сторону.

Беранже просит излишне заботливого друга избавить его от опеки. «Нет, нет, моя обязанность перед самим собой, перед обществом, даже перед адвокатом — протестовать против подобных действий. Что касается присуждения к минимальному наказанию, то к чему это? Разве это так важно для меня? Наоборот. Чем тяжелее наказание, тем большую ненависть оно возбудит против его вдохновителей, — доказывает Беранже Лаффиту. — Знаете ли вы, что в кафе, на площадях — всюду моим процессом интересуются больше, чем Пруссией, Россией и Турцией? Рыночная торговка сказала в присутствии служанки моего друга: «Этот несчастный Беранже, его опять хотят засадить. Ладно, петь он не перестанет!»

Народ на его стороне, народ с ним. А это для Беранже важнее всего. Пусть точит нож прокурор. Пусть ярятся король и его прихвостни, пусть поминают песенника недобрым словом в салонах (правда, при встречах с ним либеральные друзья, осклабившись, протягивают ему руку, будто ничего не случилось!). Пусть даже его ждут годы заключения. Он готов ко всему и не перестанет петь!

* * *

10 декабря 1828 года, как и семь лет назад, площадь перед Дворцом правосудия полна народу, и зал суда ломится от публики. Каждому парижанину хочется попасть в этот зал, взглянуть на любимого песенника, может быть, как-то поддержать его взглядом, улыбкой, приветственным возгласом.

Вот он сидит на скамье подсудимых. На нем старый коричневый сюртук.

— Ну, конечно, это тот самый, о котором поется в одной из знаменитых его песен! — говорят в публике.

Пускай судьба смеется над тобою,
Твое сукно съедая день от дня, —
Будь тверд, как я, не падай пред судьбою!
Мой старый друг, не покидай меня!

Да, Беранже не падает духом, это видно. В уголке его рта даже как будто прячется улыбка.

Прокурор суровым взглядом окидывает подсудимого и зал, потряхивает париком, зычно откашливается. Сейчас начнет. По всему видать, такой же змей, как и Маршанжи. Рад бы задушить песенника своими кольцами.

Беранже обвиняют в оскорблении религии, морали, священной особы короля, в подстрекательстве к бунту. Самыми преступными из песен нового сборника объявляются «Ангел-хранитель», «Карл Третий Простоватый» и «Бесконечно малые» («Будущность Франции»).

— Читайте песни вслух! — как и на прошлом процессе, кричат из публики. Речь прокурора то и дело сопровождают топотом, негодующими возгласами. Публика не скрывает, на чьей она стороне.

Защиту ведет адвокат-либерал Барт. Дюпен предлагал свои услуги, но Беранже отказался от них под вежливым предлогом, что Дюпен, мол, стал теперь депутатом, лицом официальным, и ему негоже марать свою репутацию, защищая крамольника. (Беранже не забыл впечатления от речи Дюпена на прошлом суде и не хочет, чтоб, защищая его, принижали значение его песен. «Пусть лучше меня повесят враги, чем утопят друзья», — говорит он.)

Приговор более суров, чем на первом суде, но все же гораздо легче, чем можно было ожидать. Девять месяцев тюремного заключения и десять тысяч франков штрафа.

Беранже чувствует себя победителем.

В тот же вечер все газеты публикуют осужденные песни. И забавно, что особое усердие выказывают, к великому негодованию Карла X, роялистские листки, которые опережают на несколько часов оппозиционные газеты. Барыш прежде всего! А листки с материалами суда и текстом песен идут нарасхват. Более миллиона экземпляров запрещенных песен разнесено официальным путем по всей Франции.

* * *

Первые месяцы заключения Беранже борется с болезнями. Зима. Он простудил голову. Он кашляет. Не помогают ни порошки, ни горчичники. «Мои легкие все еще в плохом состоянии, и меня мучают зубные боли», — пишет он своему другу оппозиционному журналисту Кошуа-Лемеру, который отбывает заключение в той же тюрьме Ла Форс за письмо-памфлет против реставрированной монархии. Кошуа-Лемер тоже болеет и переведен в тюремную больницу Картье. Беранже имеет все основания просить, чтобы и его перевели туда, но решительно отказывается поступить так.

— Если ведешь войну с правительством, смешно жаловаться на удары, которые оно тебе наносит, и неловко предоставлять ему случай проявить свое великодушие, смягчая их силу, — отвечает Беранже на уговоры Лаффита.

Никаких смягчений и послаблений! Никаких просьб к властям! Этот на вид такой тщедушный, вечно страдающий от болезней человек обладает колоссальной духовной силой. Он поистине несгибаем, поистине бесстрашен, когда дело касается главного в его жизни.

Упрятанный за толстые стены в тесную камеру, узник тюрьмы Ла Форс чувствует, как сквозь эти стены на него устремляется бесчисленное множество глаз. Будто он стоит на высокой горной вершине (может быть, это вершина его жизни?), все ветры обвевают его, вся Франция следит за каждым его движением, вся Франция, разделившись на два лагеря, участвует в поединке, который ведет он с врагом. Тут, на этой вершине, на этом поле боя, нет места малодушию. Он должен быть во всеоружии, оправдать доверие, восхищение, любовь, надежды, которые светятся в глазах людей из его лагеря, — в глазах большинства французов. Можно ли кряхтеть, стонать и жаловаться на судьбу под этими взглядами?

Нет, он не станет вступать ни в какие переговоры ни с

тюремным начальством, ни с французским правительством.

Министр Мартиньяк ждал апелляционной жалобы по делу Беранже. Он уже заранее предвкушал изъявления благодарности, которые принесут ему либералы — сторонники идеи «слияния», когда узнают о смягчении приговора королевского суда песеннику оппозиции.

Вместо ожидаемой апелляции Мартиньяк получил донесение об открытии подписки в пользу Беранже для покрытия штрафа, назначенного по судебному приговору. Это означает, что приговор принят и никаких обжалований и прошений не последует.

Этот беспокойный и упрямый песенник гнет свое — идет не на примирение, а на обострение!

Обычно вежливый и спокойный, Мартиньяк готов был выйти из себя и вполголоса бранился, вышагивая по своему кабинету. О гневе министра рассказал Беранже, зная, как это его порадует, некий государственный советник, вхожий в правительственные сферы.

Беранже еще болен, он не рискует выходить даже на прогулки в тюремный двор, чтоб не обострились его болезни. Ведь он должен держаться на высоте, смеяться, петь, поддерживать бодрость духа в других! Лучше уж пострадать без свежего воздуха.

Посетители так и толпятся у его дверей. Навещать узника разрешается до четырех часов дня. Позже дверь камеры запирают, и вечера Беранже проводит в полном одиночестве. Но он не скучает. С ним его любимые Рабле и Монтень, которых он всегда готов перечитывать. С ним перо, чернильница, бумага — он работает над новыми песнями. Особенно радует его, что в камере есть камин. Можно посидеть у огонька, помечтать.

Мне взаперти так много утешений
Дает камин. Лишь вечер настает,
Здесь греется со мною добрый гений,
Беседует и песни мне поет.
В минуту он рисует мир мне целый,
Леса, моря в углях среди огня.
И скуки нет: вся с дымом улетела.
О добрый гений, утешай меня!

* * *

Знаки дружбы, уважения, любви летят к узнику-поэту со всех концов страны и выражаются в самой различной форме. Очереди посетителей стоят у дверей камеры. Корзины со снедью и ящики с винами поступают в тюрьму Ла Форс, как это было семь лет назад в Сен-Пелажи. Ободряющие письма, приветственные стихи, новые книги приходят целыми пачками.

Наборщик из провинции, юный Эжезипп Моро присылает поэму, сложенную в честь Беранже. Начинающие поэты Эскусс и Ле Бра приносят в камеру тюрьмы Ла Форс первые свои поэтические опыты. Песенник Огюст Перен сочиняет поэтическое послание, славящее «гения, теряющего драгоценное свое время в тюремных оковах». Сколько новых талантов, о которых Беранже раньше и не слышал! И как радуется он, что таланты эти рождаются в народе и принадлежат народу!

Присылают ему и прозу и научные труды. Молодой ученый Жозеф Бернар прислал свою книгу «Здравый смысл неимущего человека». Автор резко критикует социальный строй Франции, он на стороне неимущих и близок по взглядам к учению Сен-Симона. Беранже скоротал несколько вечеров за этой книгой. Она ему доставила удовольствие.

«О, как нам недостает хороших книг, где смело атакуются все проблемы, где срываются покровы со всяких истин, — пишет он Бернару, — книг, в которых показаны в настоящем их виде государи, законы, вероучения, войны и таможни и показаны так хорошо, чтоб десятилетний мальчик мог бы закричать от негодования, столкнувшись с теми прекрасными вещами, которые выдают нам под этим именем… Ловкачи скажут вам, что вы подражаете Рабле, которого я недавно перечитал в сотый раз. Может быть, это и так, но у меня не хватило бы духу упрекнуть вас в этом. Люди с повышенной чувствительностью будут в претензии, что вы манкируете столичными обычаями, и это, быть может, тоже верно; но я поздравляю вас с этим. Надо писать книгу по своему росту, передав ей свои манеры и свои идеи. У нас же чересчур много книг, скроенных по мерке хозяина. Кто был большим провинциалом, чем метр Франсуа или Мишель Монтень? Они живы, однако, и еще долго будут жить, если только не появится комета».

* * *

Беранже встает навстречу новому гостю. Он сразу узнал его, хотя они и не знакомы, узнал по описаниям, по карикатурам и портретам, которые стали часто появляться последнее время в

газетах и журналах. Это Виктор Гюго, автор знаменитого Предисловия к «Кромвелю», автор полных блеска и движения стихов, молодой вождь романтиков. Да, он еще совсем молод, нет и тридцати. Но сколько горделивого достоинства во всей его осанке, движениях, взгляде! А какой изумительный лоб! Высокий, обширный, ясный лоб мраморной белизны. Вождь романтиков по внешнему облику мало похож на свое кудлатое и бородатое воинство в живописных костюмах. Одет просто и скромно. Темный редингот, узкая полоска белого воротничка. Чисто выбрит. Безукоризненно вежлив. Никакой эксцентричности ни в костюме, ни в манерах.

Склоняясь перед песенником, Гюго почтительно здоровается с ним. Он давно мечтал познакомиться с Беранже, выразить ему свой восторг и уважение.

— Рад, очень рад, — говорит Беранже, усаживая гостя.

Разговор, конечно, заходит о литературных делах.

— Хотя я и не принадлежу к вашему романтическому воинству, — говорит Беранже, — но кое в чем, и, пожалуй, в очень важном, я на вашей стороне, и притом с давних пор…

Литературная революция, на которую решились вы, молодежь, — это лишь несколько запоздалое следствие революции политической и социальной.

Да, именно революция, положив начало новой эпохе, открыла пути нового во всех сферах жизни и мысли. Беранже убежден в этом.

Гюго рассказывает о предстоящих боях и первых победах романтиков.

Только что состоялась премьера новой пьесы молодого писателя Александра Дюма «Генрих IV и его двор». Это драма истинно французская и истинно романтическая. Без классической чопорности, без античных тог и котурн. Сюжет взят из истории Франции. Весь литературный Париж собрался на премьеру. Успех блестящий.

— Теперь моя очередь, — говорит Гюго. Он уже начал работу над новой пьесой из времен Ришелье.

Героями ее будут не короли, министры и царедворцы, а бедный поэт и отверженная светом куртизанка.

Прощаясь с Беранже, Гюго просит разрешения навестить узника еще.

В следующий раз он появляется в камере тюрьмы Ла Форс вместе со своим другом поэтом и критиком Сент-Бёвом. Сент-Бёв так же молод, как и Гюго, но уже начинает лысеть, сутулиться — видно, слишком много времени проводит, согнувшись над книгами. Беранже читал его статьи, в них видны ум, эрудиция,

острая критическая хватка. Оказывается, Сент-Бёв состоит в либеральном обществе «Помогай себе сам, и небо тебе поможет», с которым тесно связан Беранже. Они быстро находят общих знакомых и сразу становятся как-то ближе друг другу.

Сент-Бёв остроумен, осведомлен в различных областях. Это действительно интересный собеседник. Маленькие, глубоко посаженные глаза его разгораются во время спора, как угольки, но голос остается все таким же мягким и вкрадчивым.

Спор идет о языке литературы, о его истоках, о старинных сокровищах, забытых в века господства классицизма.

— Язык, язык! Это душа народов, — говорит Беранже. — В нем читаются их судьбы. Когда же, наконец, в наших школах будут по-настоящему преподавать ученикам французский язык? Когда же там будут читать систематический курс истории языка, с Франциска I и до наших дней, и не для того, чтобы толковать наших писателей, но чтобы с помощью этих писателей, отголосков их века, объяснить нам развитие языка, шедшее порой ощупью, его уклонения от пути, периоды застоя и движения вперед?

Сент-Бёв только что закончил монографию о поэзии XVI века и с восторгом говорит о Ронсаре, Дю Белле — поэтах «Плеяды». В их творчестве он видит кладезь, живые источники языка, необходимые для возрождения современной поэзии.

Беранже слушает, слегка склонив голову набок. Уголок его выразительного рта приподымается:

— Э, дорогие мои романтики, живые истоки кроются глубже. Народный дух, галльские традиции, как мне кажется, надо искать не в поэзии «Плеяды». Они живут в поэзии самого народа, в его языке; они живут в поэзии Франсуа Вийона и Клемана Маро, в великолепной прозе Рабле и Монтеня.

Песенник, смеясь, признается, что ему порой кажется, будто Мишель Монтень, живший в XVI веке, каким-то чудом похитил или, вернее сказать, предвосхитил его собственные мысли, превосходно выразив их.

Бьет четыре часа. В дверях камеры появляется суровый лик тюремного смотрителя. Гостям пора отбывать восвояси.

Спустя несколько дней узнику тюрьмы Ла Форс наносит визит еще один романтик, Александр Дюма. Беранже сразу же проникается симпатией к этому жизнерадостному курчавому великану с таким заразительным смехом. Дюма, видно, весел и добр от природы, а сейчас так и сияет после одержанной победы в театре, весь полон замыслов, надежд.

«Их визиты были мне вознаграждением за все битвы, данные мною во имя литературной революции, на которую решились они

и их друзья», — напишет Беранже в своей автобиографии.

* * *

Не забывают о заключенном песеннике и его враги.

Как-то январским утром, оттеснив всех посетителей, в камеру ворвались жандармы и стали учинять обыск. Перетряхивали белье, шарили под кроватью, перекопали все рукописи, книги и, наконец, начали рыться в карманах узника.

Обыск был связан с тем, что Беранже приписывали некоторые песни, не принадлежавшие ему, — например, сатиру «Разговор Пия VI с Людовиком XI».

После обыска начался длительный и весьма бестолковый допрос. Полицейским не удалось выудить от поэта ни новых признаний, ни добыть в его камере каких-либо «улик», чтобы состряпать против него новое «дело».

«Знаки внимания» оказывают узнику не только жандармы, но и более высокие персоны. В тронной речи короля, произнесенной в январе 1829 года, прозвучала устрашающая фраза, в которой все увидели намек на процесс Беранже.

— Какая честь! — иронически усмехнулся песенник, когда ему рассказали об этом. — Ну что ж, Карл Десятый получит подобающий ответ.

Песня поспела как раз к карнавальной неделе и тотчас же разнеслась по Парижу. Это был прямой вызов королю. Подождите! Придет время, и за все заплатит Карл X поэту, принужденному влачить дни праздничного веселья в чертовой тюрьме!

Разобран весь колчан мой ветхий —
Так ваши кляузники мстят.
Но все ж одной стрелою меткой,
О Карл Десятый, я богат.
Пускай не гнется, не сдается
Решетка частая в окне,
Лук наведен. Стрела взовьется!
Король, отплатите вы мне!

Вслед за королем на поэта напали и духовные отцы. Архиепископ Тулузский Клермон де Тоннер обратился к пастве с посланием, в котором обрушился на современные нравы и на песни Беранже.

Пример тулузского собрата живо подхватил «архипастырь»

города Мо.

Как для меня нападки ваши лестны!
Какая честь! Вот это я люблю.
Так песенки мои уж вам известны?
Я, монсеньер, вас на слове ловлю,—

насмешливо обращается Беранже к архиепископу Тулузскому в песне «Кардинал и певец».

За каждый стих свободный об отчизне
Со мной вести желали б вы процесс.
Я — патриот; вольно же вам при жизни
Считать, что все мы — граждане небес.
Клочок земли в краю моем родимом
Мне каждый мил, хоть я на нем не жал,
Не дорожить же всем нам только Римом!
Как ваше мненье, милый кардинал?

Среди духовной паствы Тулузы и других французских городов ответ Беранже кардиналу снискал, без сомнения, гораздо более горячий отклик, чем гневные речи монсеньеров против песенника.

* * *

Подписка, организованная друзьями Беранже, движется туговато. Банкиры не хотят открывать кошельков, как это было и во время сбора средств на памятник Манюэлю. Даже сердобольный Лаффит не торопится со щедротами. А бедняки несут понемногу, откуда им взять? И все-таки благодаря молодежи, которая с энтузиазмом взялась за это дело, большая часть суммы для погашения штрафа получена. Нехватку доложил из своего кармана друг Беранже Берар.

В песне-памфлете «Десять тысяч» поэт подсчитывает, в чью пользу пойдут деньги, которые должен он внести в королевскую казну.

Это что ж? Всему суду награда
Или только плата за донос?

Часть суммы штрафа, конечно, понадобится для поощрения сыщиков и цензоров. Часть — для всяких придворных льстецов, в том числе и для поэтов, воспевающих за деньги сиятельных особ. Нельзя забыть и важных господ, которые так ловко умеют гнуть спину перед каждым новым властителем.

Много им добра перепадало.
Францию проглотят — дай лишь срок.

А сколько добра переводится на прокорм святых отцов!

Вопреки грядущему блаженству
Ангел мой ощипан догола.
Менее трех тысяч духовенству
Дать нельзя за все его дела.

Сумма штрафа разделена в песне между всеми, кто служит опорой монархии Карла X. Подсчет завершен. Но разве наберешься денег на всех этих подлецов, предателей, кровососов, присосавшихся к телу Франции!

* * *

Вот уже и весна прошла. Чахлые деревца на тюремном дворе запылились. В камере нечем дышать.

В ночь на 14 июля Беранже не спит. Он складывает песню. В ней сливаются воедино воспоминания о 1789 годе и надежды на новое восстание. Надежды растут.

Сквозь стены тюрьмы до песенника как будто начинают доноситься отдаленные звуки прибоя. Франция в тревоге. Карл X с благословения ультрароялистов и духовных отцов пошел в новый поход на «вольности». Сладкогласный Мартиньяк слетел. На его место усажен давний приятель и соратник Карла князь Полиньяк. Король заранее вызвал его из Англии, где Полиньяк был французским послом. Эта мрачная фигура издавна известна в политических кругах. Матерый ультрароялист, ненавистник всяческих «вольностей», Полиньяк в 1815 году даже отказался присягнуть хартии Людовика XVIII. Зачем, мол, французам какое-либо подобие конституции? Министр под стать королю. Столь же туп, самоуверен, фанатичен и столь же привержен старине. Религиозным своим рвением он даже превосходит Карла X. Полиньяк мнит себя избранником самой пречистой девы Марии,

которая, по словам его, поручила ему спасти погрязшую в пороках Францию.

И все другие министры того же поля ягоды, что и князь-духовидец! Чистопробные «ультра». Первосортные ханжи.

— Каково-то теперь придется Франции? — всплескивают руками либералы, обсуждая в тюремной камере Беранже последние новости.

Говорят, что даже Меттерних признает, что министерский переворот, произведенный Карлом, имеет характер контрреволюции.

В Париже и департаментах носятся зловещие слухи. Народ возбужден.

Цензура уже свирепствует. Одной из жертв ее оказался Виктор Гюго. Пьеса «Марион Делорм», чтение которой вызвало восторг всего артистического Парижа, запрещена. Главным цензором был сам король.

К Беранже иногда заглядывают Тьер и Минье. Тьер семенит взад-вперед по камере и сыплет слова. Он погружен в хлопоты по созданию так называемой партии «орлеанистов». Зачем допускать кровавые революции? Не лучше ли мирно сменить Бурбонскую ветвь династии ветвью Орлеанской? Герцог Орлеанский Луи-Филипп, сын Филиппа «Эгалите», вполне подходящий претендент на престол. Это ведь республиканец по убеждениям, уверяет Тьер. Во главе новой партии стоит сам Талейран вместе с бароном Луи.

— Талейран! Неужто эта старая лисица опять подбирается к политическому курятнику? — покачивает головой Беранже. — Неужели французы до сих пор не раскусили этого епископа, аристократа, предавшего Францию и Наполеона?

Вслед за «политиками» в камере появляется художник Ари Шеффер, который заканчивает портрет песенника в тюрьме. Портрет удался.

Вот он перед нами, Беранже, на пятидесятом году, на вершинах своего жизненного пути. Крупная голова с обширным лбом, переходящим в лысину, слегка склонена набок, будто он прислушивается к чему-то. Глубокие борозды залегли между широко разлетевшимися бровями, тянутся от крыльев крупного носа к тонким подвижным уголкам рта — следы скорбей, тревог. И лучистые следы смеха в уголках выпуклых голубых глаз.

Легкая тень мечтательности и усталости не заслоняет общего выражения ясности, бодрости и внутренней собранности. Видно, что он всегда наготове, мысль его всегда в движении. Пухлые губы сжаты, уголок рта чуть-чуть приподнят. Кажется, вот-вот на этом лице появится улыбка — лукавая, сардоническая, а может быть, озорная, веселая.

Это широкое лицо простолюдина. Это одухотворенное лицо мыслителя. Живая мысль властвует в этом лице над всем, придавая ему истинное благородство и значительность.

# НАКАНУНЕ

Полицейские власти опасались народных демонстраций в честь выхода Беранже на волю и решили выпустить его «потихоньку»: на день раньше положенного срока.

— Поднимайтесь, мосье! Поднимайтесь, пора! Мне приказано чуть свет вытолкать вас за дверь, — энергично будит узника тюремный смотритель.

Еще несколько минут, и Беранже перестает быть узником. Без четверти семь утра он выходит за ворота тюрьмы Ла Форс с легким чемоданчиком в руке.

«Очутившись на свободе после девятимесячного заключения, я прогулялся по бульварам с такою же беззаботностью, словно только что вышел из дому, и это может дать представление о том, как я легко мог менять положение и как мало у меня было претензий возбуждать чью-нибудь жалость», — вспоминал потом Беранже.

Друзья уже прослышали о том, что он на воле, и торопятся с приветами и приглашениями. Каждый старый и новый знакомый хочет видеть его у себя.

— Мне не мешало бы обзавестись парой крыльев, чтоб суметь откликнуться на все приглашения и отдать все необходимые визиты, — смеется Беранже. У него еще в тюрьме составился список в триста пятьдесят человек, и список этот не полон.

— Что станется со мной, питающим такое отвращение к визитам? — говорит он друзьям на обеде, устроенном в его честь. Надо как-то сократить список. Может быть, особы с аристократическими именами смогут обойтись и без его посещения! Но король обязательно получит от Беранже визитную карточку.

На следующий день после выхода песенника из тюрьмы в «Глоб» напечатана статья о нем и на видном месте опубликована песня «Четырнадцатое июля».

— Надеюсь, этот номер вовремя доставят в Тюильри, — говорит Беранже, — с визитными карточками нельзя запаздывать!

Первые визиты Беранже наносит тем, кому он действительно нужен, кто действительно ждет его. Один из таких — Руже де Лиль. Старик жалуется, что никак не продвинет в печать сборник французских песен, положенных им на музыку.

Беранже немедля обращается с письмом к Мейерберу, просит знаменитого композитора посодействовать автору «Марсельезы» в издании его новых музыкальных опытов.

А вот на успех сочиненного Руже де Лилем оперного

либретто по трагедии Шекспира «Отелло» Беранже никак не рассчитывает. «Ваш Отелло никогда не посмеет начать борьбу с Россини, я вам предсказываю это… — пишет он Руже де Лилю. — Очень вас поздравляю с приобретением нового пальто. Вот это радость! И раз вы теперь немного защищены от холода, то не могли бы вы, предаваясь грезам, набрести на другой сюжет, кроме Мавра?»

Да, только тот, кто сам дрожал в нетопленной мансарде, согревая руки собственным дыханием, только тот способен оценить, как может пригодиться для поэтического вдохновения теплая одежда и огонек в камине!

* * *

Зима 1830 года выдалась очень суровая. У Беранже опять начались боли в груди. Он редко выходит из дому. Ничего, с визитами можно немного повременить, зато работа над новыми песнями двинется быстрей в дни домашнего затворничества. А песни его сейчас нужны, как никогда, он знает это.

Перед ним встает и ждет нового воплощения один из любимых его героев — человек того же закала, что инвалид из «Старого знамени», что два гренадера или старый сержант из одноименной песни.

Вот он, старый капрал. Вся в сединах голова. В зубах трубка, неразлучная спутница солдатской жизни. Четко и неторопливо подает он команду взводу солдат. Они должны его расстрелять и сопровождают к месту казни.

В ногу, ребята! Раз! Два!

Вся жизнь проносится перед ним в эти последние минуты. Родные поля, старая мать, которая все еще ждет его… Он был одним из тех, кто по зову республики встал под трехцветное знамя и пошел свергать иноземных королей.

Эх, наша слава пропала…
Подвигов наших молва
Сказкой казарменной стала…

И это забвение особенно горько ему. Французы не ценят прошлой славы. А старый капрал ничего не забыл: ни трудных походов, ни снежных дорог России, по которым шагал он,

отступая, с тяжелой живой ношей на руках — полузамерзшим сынишкой полкового барабанщика.

Он ничего не забыл и не мог стерпеть, когда офицеришка-дворянчик, молокосос, не нюхавший пороха, посмел надругаться над прошлым Франции…

Да, я прибил офицера!
Молод еще оскорблять
Старых солдат. Для примера
Должно меня расстрелять.

Старый капрал не жалуется на судьбу и не просит жалости у других. Напротив. Он сам, шагая на расстрел, поддерживает и наставляет новобранцев, которых обучал военному делу:

В ногу, ребята! Раз! Два!
Грудью подайся!
Не хнычь, равняйся!

До конца он верен себе.

Трубка никак догорела?
Нет, затянусь еще раз.
Близко, ребята. За дело!
Прочь! не завязывать глаз.
Целься вернее! Не гнуться!
Слушать команды слова!
Дай бог домой вам вернуться…

Песня эта — одно из самых проникновенных и мастерских творений Беранже. Суровый лаконизм, отрывистая четкость речи старого солдата, поражающая правдивость интонации и всего психологического рисунка, предельная наполненность каждого слова, каждой скупой детали, выразительность чеканного ритма в рефрене, простота и захватывающий драматизм — все особенности формы соответствуют внутреннему замыслу и в совершенстве воплощают его.

Короткая песня-монолог заключает историю человеческой жизни, озаренной вспышкой последнего выстрела, воплощает цельный героический характер. Это как бы концентрированная драма, взятая в момент ее наивысшего напряжения.

(Песня «Старый капрал», замечательно переданная русским

поэтом Курочкиным, вдохновила композитора Даргомыжского, создавшего на ее слова один из лучших своих романсов.)

Драма, лирика, эпос, сатира — все роды поэзии могут стать достоянием песенного жанра, по-своему претвориться в нем. Беранже доказал это, и не теоретическими доводами, а собственными живыми творениями.

У него есть песни-рассказы и песни-иносказания, песни-гимны и песни-памфлеты, песни-анекдоты и песни-легенды. Иногда разные роды поэзии сочетаются в короткой песенке. Сказка, вплетаясь в быль, помогает ей стать еще достоверней. Героика идет рука об руку с сатирой.

Поэт-песенник неистощим на выдумку, на неожиданные сюжетные ходы, повороты. Колючие, взрывчатые, искристые, призывные песни Беранже все громче звучат в кабачках парижских предместий, в казармах, в салонах, на тайных сходках, на перекрестках улиц, предвещая канун революции.

Они поднимают дух французов, проясняют взгляд, указывают главное направление удара. Они хлещут, когтят злобную, дряхлую монархию, с хохотом сдергивают личины с «бесконечно малых» ее столпов и прихвостней. Они зовут французов стать вровень с их отцами, с героями прошлых революционных битв и шагнуть в будущее, сбросив с плеч реставрированное ярмо.

* * *

Беранже передали, что сам Шатобриан, этот прославленный метр, этот завзятый роялист, изъявил желание познакомиться с ним. С некоторых пор Шатобриан, как, впрочем, и некоторые другие роялисты, стал в оппозицию к режиму Полиньяка. «Это не удивительно, — думает Беранже, — более прозорливые защитники трона должны понимать, что монархия Карла X состоит в заговоре против самой себя!»

Шатобриан присылает Беранже любезное письмо, в котором просит о «чести быть принятым в его доме». Беранже взволнован и, конечно, польщен. Автор «Гения христианства» и «Мучеников», гордый и недоступный Шатобриан, который когда-то не удосужился заметить маленького начинающего поэта, теперь сам делает шаги к сближению с ним. Монархист протягивает руку врагу тронов и алтарей. Да, всякие чудеса бывают на свете!

И вот седеющий человек с надменным взглядом, чопорный, застегнутый на все пуговицы, звонит у дверей скромной квартиры на улице Паради, входит в бедную, по-спартански просто обставленную комнату Беранже.

Газеты наперебой сообщают об этой встрече. За первым визитом следует второй. Шатобриан преподносит Беранже свои «Исторические этюды» со стихотворной надписью:

Скажите новоявленным героям:
Я, как и вы, о Франции рыдал.
В те дни, когда слетались беды роем,
Надежду я и славу воспевал.
Скажите им, что бури злой дыханье
Похитило всю жатву у меня…
Пусть обо мне живет воспоминанье
Хоть в ваших песнях, спетых у огня.

Литературный метр стремится протянуть и закрепить какие-то нити между собой и песенником (он тоже, мол, рыдал над Францией и воспевал ее славу!), старается сгладить непримиримые различия между своим патриотизмом роялиста, обращенным в прошлое, и революционным патриотизмом народного поэта.

Беранже хоть и понимает это, но все же гордится строками, посвященными ему. Гордится прежде всего потому, что в них громко и недвусмысленно звучит признание песенной поэзии, того жанра, который он избрал и поставил своей целью развить и возвысить.

Значит, он добился своей цели. «Заставший песню на самой низкой ступени литературной лестницы», он настолько поднял ее, что литературные мастера, законодатели вкусов и мнений современной эпохи признали некогда «низкий жанр» истинной поэзией, признали и его, народного песенника, настоящим большим поэтом.

Свидетельства тому и стихотворные строки Шатобриана, и восхищение молодых романтиков, и отзыв Анри Бейля (Стендаля), который во всеуслышание заявил, что считает Беранже крупнейшим поэтом эпохи, и, наконец, похвалы «старейшины европейской литературы», олимпийца Гёте, доносящиеся до Беранже.

# СЛАВНАЯ НЕДЕЛЯ

После морозной зимы 1830 года пришло знойное лето. Беранже решил провести июль в окрестностях Парижа. Но и здесь, в деревянном домике, среди цветов и птиц, его не оставляет тревога, настороженное ожидание: что сейчас делается в Париже?

На выборах в палату депутатов, состоявшихся в начале июля, оппозиция одержала победу. Но допустит ли король существование палаты с либеральным большинством? Созыв ее отсрочивается. Карл X и не думает об отставке Полиньяка. В Тюильри непрерывные совещания. Король и его министр что-то замышляют.

По утрам Беранже с нетерпением ждет свежей почты.

26 июля в правительственной газете «Монитер» напечатаны ордонансы, подписанные королем. Это и есть те «крайние меры», которыми Карл X давно уже грозит подданным. Свобода печати отменяется. Вводится режим строжайшей правительственной цензуры. Палата в ее нынешнем составе распущена, назначены новые выборы. Избирательные права французов еще более урезаны, число лиц, имеющих право голоса, сокращено чуть ли не на три четверти.

Король вместе с Полиньяком, автором этих ордонансов, бросают вызов народу Франции. Хартия Людовика XVI нарушена. Дорога для восстановления абсолютизма открыта.

Глупцы! Они чересчур уверены в себе, — думает Беранже. — Не приведет ли их этот путь к краю обрыва, откуда низвергнется в пропасть реставрированная монархия?

Долгожданный момент как будто приближается. Надо немедленно действовать и звать к действию других. Беранже тотчас же едет в Париж. Прямо с дороги он попадает на заседание общества «Помогай себе сам, и небо тебе поможет». Здесь и либералы и республиканцы, преобладает молодежь. К ней обращается Беранже с призывом: быть в боевой готовности и звать народ к восстанию.

Нельзя терять ни минуты! Разгоряченный и, несмотря на усталость, как будто помолодевший, песенник спешит в дома «либеральных корифеев». Что они собираются предпринять?

Вечером штаб оппозиции заседает в редакции газеты «Насьональ». Тьер читает написанный от лица литераторов и журналистов протест против ордонансов.

«Правительство нарушило законность и тем освободило нас от обязанности повиноваться… Что касается нас, сотрудников

газет и журналов, мы будем сопротивляться в сфере нашей деятельности. Дело Франции решать, до какого предела следует ей довести свой отпор».

После чтения в рядах собравшихся замешательство. Надо ставить подписи, но не все решаются на такой шаг. Не лучше ли обождать, как еще повернутся события, не заваривать кашу самим, оставаться в «пределах законности»?

Тьер подписывается первым. Рывком. Демонстративно. Он вступил в решающую политическую «игру» и готов ставить «ва-банк». Беранже, для которого происходящие события вовсе не игра и который далек от расчетов личного честолюбия, думает, что и Тьер во власти тех же революционных и патриотических побуждений, которые владеют им самим. Решительность поведения «молодого друга» ему по душе.

Наконец подписи собраны. Но тут снова заминка. Некоторые храбрые депутаты спохватываются. Ах, они не подумали, они поспешили. Нельзя ли взять подписи обратно? О, ведь уважаемый Беранже в дружбе с Тьером и другими журналистами, не попытается ли он отговорить их публиковать чьи-либо подписи под этим опаснейшим документом? Нет уж, пусть не рассчитывают на его содействие в отступлении, отвечает возмущенный Беранже.

Текст посылают в набор. Многие типографии закрыты — одни в знак протеста против ордонансов, другие же по распоряжению властей. Но оппозиционные журналы и газеты «Глоб», «Насьональ» и «Тан» должны появиться во что бы то ни стало.

Поздно вечером Беранже выходит из редакции. На улицах людно. Слышатся возгласы: «Да здравствует хартия! Долой Полиньяка!» Рассказывают, что карету, в которой проезжал Полиньяк, забросали камнями, и автор ордонансов еле спасся от гнева народных толп.

* * *

Утром 27 июля Беранже воочию убеждается, что надежды его не напрасны. Возбуждение растет. В кафе, в лавках, на улицах люди собираются в кружки, читают вслух и обсуждают передовые статьи оппозиционных газет и протест журналистов.

Беранже всматривается в лица чтецов и ораторов. Среди них много рабочих-печатников. Посеревшая кожа, впалая грудь, глаза обведены темными кругами. Но усталые глаза эти зажигаются сегодня каким-то необычным огнем. Язычки того же огня блестят

и в широко открытых глазах юношей студентов, вспыхивают из-под косматых бровей ветеранов, искрятся в озорных, смышленых глазах гаменов. Эти горластые мальчишки с парижских окраин не читают газет, но прислушиваются к спорам, впитывают в себя то, что носится в воздухе, и охапками разбрасывают по Парижу искры разгорающегося огня.

— Долой министров!

— Долой ордонансы!

Беранже снова направляется в редакцию газеты «Насьональ».

Его пропускают — и тотчас же двери на запор. Полиция делает налеты на типографии и редакции оппозиционных газет. Не пускать жандармов! Не отзываться на стук! Но нагрянувшие жандармы взламывают засовы и запоры и, оттесняя сопротивляющихся рабочих и журналистов, идут опечатывать типографские станки.

На улице жара неимоверная. Выше тридцати градусов. Мастерские, лавки, конторы закрыты. Толпы на улицах все гуще. Повседневный ритм жизни города сменяется штормовым ритмом восстания.

Повстанцы начинают строить баррикады. Раздаются первые выстрелы. Королевские войска двинулись на штурм баррикады, воздвигнутой на улице Сент-Оноре. На развороченные камни мостовой проливается кровь…

Вечером Беранже снова на многолюдном собрании. Здесь и представители рабочих окраин, и богатые банкиры, и промышленники. Избирают комиссаров, которые должны возглавить повстанческое движение в двенадцати округах Парижа.

В открытые окна доносится гул восстания. И вечер кажется таким же раскаленным, как день.

Повстанцы действуют все решительней. Поджигают барьеры у городских застав, рубят деревья на бульварах, валят набок повозки. Женщины тащат тюфяки и всякую домашнюю рухлядь. Мальчишки выворачивают камни мостовых. Баррикады растут. Метко запущенный булыжник разбивает уличный фонарь. Один, другой, третий. С дребезгом разлетаются осколки. Это гамены помогают братьям и отцам.

Темная, душная ночь полна движения. Над Парижем гудит набат. Париж готовится к завтрашним боям.

А что же делает король? Он в Сен-Клу, своем загородном замке, отдыхает на балконе после традиционной партии в вист.

Но отдых его на этот раз сильно испорчен: чем больше сгущается темнота, тем виднее и страшней для королевских глаз далекие языки пламени, вздымающиеся на горизонте.

Вестовые один за другим скачут из Парижа в Сен-Клу. Министр Полиньяк просит короля не верить слухам и полагаться только на его донесения, он ручается, что волнения улягутся и спокойствие в Париже будет восстановлено.

* * *

28 июля весь город пересечен баррикадами. Беранже с утра обходит их и беседует с повстанцами. С восхищением и надеждой глядит поэт на своих героев. Вот они! Он не придумал их. Сыны Франции, веселые и храбрые дети народа с «Марсельезой» на устах. Они не забыли ее за пятнадцать лет.

«Прекрасен народ, когда душа его объята пламенем!»

Во главе повстанческих отрядов встали республиканцы — среди них много рабочих, студентов, воспитанников Политехнического училища. Отряды идут в наступление. Складывают головы смельчаки, но другие подхватывают их оружие.

Кто жертвы те? Бог весть! Мастеровые —
Ученики… все с ружьями… в крови…
Но, победив, забыли рядовые
Лишь имена оставить нам свои.

Беранже напишет эти строки через два года после Июльской революции, отдавая благоговейную дань памяти ее настоящих героев.

События развертываются все стремительнее. Королевские войска пытаются рушить баррикады. Взамен разрушенных тотчас же вырастают новые. Повстанцы продвигаются вперед. Министры бегут из своих дворцов. Командующий королевскими войсками шлет тревожное донесение Карлу X: «Это уже не уличные волнения. Это революция».

Поздно вечером Беранже возвращается с очередного собрания. Либеральные вожди заседают целыми днями, ждут, как повернутся события. Они ратуют за немедленное создание Национальной гвардии, хотят иметь свое буржуазное ополчение, которое можно было бы противопоставить отрядам повстанцев. Беранже выступил против этого проекта.

На баррикадах не спят. Повстанцы окружают Беранже, просят совета, кого назначить военным руководителем. Беранже рекомендует генерала Фавье.

На другой день, 29 июля, он узнает, что Фавье наотрез

отказался. Но и без генеральского участия революция движется к победе.

«…Вперед, вперед! По набережным Сены!
Идем на Лувр, на Ратушу, вперед!»

Королевские войска, полк за полком, переходят на сторону повстанцев. В панике бегут отряды наемников. Король спешно подписывает отмену ордонансов. Он готов идти на уступки.

Поздно. Над Тюильрийским дворцом уже развевается трехцветное знамя.

И, с бою взяв дворца крутые стены,
На ветхий трон вскарабкался народ.

Наконец-то пришел тот день, которого так долго ждал Беранже! Победа народа — это и его победа. Вершина революции — это вершина его собственной жизни. Надежды сбылись. Дряхлая монархия Бурбонов низвергнута!

Во всю мощь, в тысячи голосов звучит на площадях «Марсельеза».

Народные толпы заполняют 30 июля дворец Лаффита, где заседают депутаты — «штаб либералов». Какая-то женщина с большим свертком в руках пробирается сквозь толпу, она ищет Беранже. Вот он! Женщина устремляется к нему и развертывает громадное трехцветное знамя.

— Сударь, я шила это знамя всю ночь. Вам, вам одному я хочу вручить его, чтобы вы приказали водрузить его на колонне.

Взволнованный Беранже благодарит ее.

— Но, может быть, сударыня, эту честь мне следует предоставить депутатам, присутствующим здесь? — спрашиваёт он.

— Нет, нет! — отвечает она. — Вам, только вам! — И мгновенно скрывается в толпе.

* * *

Как только победа революции определилась, либеральные корифеи тотчас пришли в движение. Нет, они вовсе и не думали оставаться в стороне! Они клянутся и божатся в преданности своей народу. «Но ведь народ — это ребенок, — твердят они. — Он сам не знает, чего хочет. Им нужно руководить». И призваны к

этому они, просвещенные государственные деятели и к тому же «деловые люди», в чьих руках финансы, промышленность, торговля.

29 июля либеральные депутаты, собравшиеся во дворце Лаффита, срочно сколачивают временное правительство Франции, распределяя роли в нем.

Генералу Лафайету поручено возглавлять военные силы. Он отправляется в Ратушу, где пока еще властвуют республиканцы.

Комиссия из шести членов во главе с банкирами Лаффитом и Перье берет в свое ведение административные и хозяйственные дела.

На этом собрании присутствует и Беранже. Государственные мужи пригласили его. О, они теперь чрезвычайно внимательны к песеннику, те из них, которые — давно ли? — опасливо косились, когда он призывал их открыто встать на сторону революции, теперь расточают ему ослепительные улыбки.

Приятели его из салона Лаффита буквально не спускают с Беранже глаз. Сейчас с ним нельзя ссориться, необходимо добиться того, чтоб этот человек, авторитет которого столь велик в массах, был бы в полном согласии с либеральным штабом в момент, когда определяются судьбы Франции.

Вопрос об избрании формы правления еще не решен, отложен на завтра. Но в «штабе либералов» он уже предрешен. Тьер переглядывается с Лаффитом. Они понимают друг друга.

В ночь с 29 на 30 июля Лаффит пошлет депешу герцогу Орлеанскому с предупреждением быть наготове. А Тьер вложит все красноречие бывалого журналиста в текст воззвания к народу от лица временного правительства. Надо ведь срочно обработать народное мнение, чтоб выиграть «игру»!

И мнение народного песенника необходимо подготовить накануне решающего дня. Либеральные его друзья превосходно знают, на каких струнках Беранже можно сыграть, на какие педали нажать, где нащупать уязвимые места этого истого француза, где обнаружить общие точки в его взглядах с либералами.

— Если не достигнуть теперь же согласия, то не окрепшая еще революция рухнет, захлебнувшись в кровавых смутах, — с тревожно-скорбной миной твердит песеннику старый мудрый Дюпон де Л'Ер.

Беранже настораживается. Он всегда относился к Дюпону с доверием, выделяя его среди других либералов.

Дюпон нагибается к уху Беранже, понижая голос до трагического шепота:

— Да, да! Уже сейчас в Нормандии назревает восстание, я

знаю это из верных источников. Боже, что станется с бедной нашей Францией?

От шепота Дюпон стремительным крещендо поднимает голос до ораторского полнозвучия.

— При нынешней розни партий может повториться то, что случилось с первой республикой. Раздоры. Гибельные крайности. Террор…

Беранже невольно вздрагивает. Выстрелы за окном усиливают эффект речи.

— Разодранная на враждующие лагери, охваченная гражданской войной, родина наша может сделаться вновь добычей чужеземных вожделений!

Теперь Дюпон уже не шепчет и не восклицает, он говорит вполголоса, грустно, неторопливо, как будто беседует сам с собой. Да, он вполне искренен в своих опасениях и тревогах за Францию. Беранже чувствует это, и слова Дюпона находят отзвук в нем.

Вездесущий глава «штаба» Лаффит видит, что лицо Беранже омрачилось, и спешит «на помощь».

— Дорогой наш поэт. Будем думать и решать вместе. Не правда ли? Мы ведь с вами, и Дюпон, и молодые друзья, — все мы защитники принципа демократии. И наша общая задача, чтоб высокий этот принцип не был смыт бурливыми стихиями, которые столь часто нарушают расчеты дальновидных политиков… Народ должен исподволь освоиться с демократическим принципом правления. Как добиться этого? Не кажется ли вам, что над сенью конституционной монархии демократические учреждения скорее всего смогут расцвести и созреть? Это было бы лучшим переходом к республике, которая является общей целью наших стремлений. Не так ли?

Не дожидаясь ответа Беранже, в беседу вторгается Тьер. Он тут как тут. Да, он вполне солидарен с Дюпоном и Лаффитом:

— Учреждение республики возбудило бы сейчас среди французов гибельные раздоры и поссорило бы Францию с Европой.

Все согласно кивают. Беранже молчит.

— Надо найти такого человека, достоинства которого удовлетворили бы и сплотили все партии, — в том же стремительном темпе продолжает Тьер. — Но зачем же искать? Этот человек уже найден! Герцог Орлеанский предан делу революции. Герцог Орлеанский не шел против нас. Герцог Орлеанский сражался при Жемаппе и носил в сражении трехцветную кокарду. Герцог Орлеанский и есть тот король-гражданин, которого ждет Франция!

Все, что говорит сейчас Тьер, обязательно войдет в манифест, который он изготовляет.

Утром 30 июля листки с текстом воззвания будут расклеены по всему городу и народ прочтет их…

* * *

В ту самую пятницу 30 июля, когда безвестная женщина вручила Беранже трехцветное знамя, он должен был сказать свое слово на широком собрании либералов и республиканцев, где решался вопрос о государственном строе Франции.

Можно себе представить, какую тревожную ночь провел он накануне. Как горела его голова и колотилось сердце под напором противоречивых мыслей и чувств. В ушах звучали речи Дюпона, Лаффита, Тьера, а перед глазами плыли лица защитников баррикад…

Снова и снова он передумывал все сначала. До чего же труден для него этот вопрос! События последних дней неслись с такой неимоверной быстротой, он все время был в действии, не знал передышки…

Ну, а до того, раньше? Смотрел ли он вперед, задумывался ли над тем, какой государственный строй придет на смену монархии Бурбонов? Ведь об этом не раз велись споры и в салонах оппозиции и на заседаниях политических обществ. Да, конечно, он думал об этом, и, когда речь заходила о будущем, в памяти его вставали события прошлого. Великая революция 1789–1794 годов. Падение монархии. Торжествующая республика… Он всю жизнь считал себя республиканцем, хотя и не состоял ни в какой партии. Республика вынянчила его на своих коленях. Так говорил он, так думал. Свобода — республика — Франция — эти понятия показались ему нераздельными. Но было в событиях прошлого, в истории первой республики и нечто такое, что принимал некогда юный республиканец, сочинявший в Перонне приветствия Робеспьеру, но что не мог принять друг Дюпона и Лаффита, что казалось Беранже опасным для Франции. Распри и взаимное ожесточение партий. Крайние меры. Гильотина, отсекающая поочередно головы недавних кумиров и вождей. Гражданская война и постепенное удушение республики. Тайный и явный произвол корыстных проходимцев, ловцов наживы при Директории… Нет, он не хочет, чтоб все это повторилось снова, хотя и считает республику высшей формой правления…

О, если б Манюэль был сейчас рядом с ним! За этим человеком он пошел бы не задумываясь. А либеральные

краснобаи радуются, что Манюэль в могиле. Можно ли им верить после этого?

И опять Беранже взвешивает все «за» и «против». Уже светает. Выстрелов этим утром не слышно. Победа. День высшей радости и день мучительных решений.

Так с кем же он? С республиканцами? С либералами? Надо выбирать. А он всегда предпочитал оставаться независимым. Он презирал трусость и непоследовательность либеральных корифеев, но чуждался и заговорщической тактики республиканцев с их тайными обществами.

«Где же люди, которые смогут достойно управлять Францией?» — звучит в памяти Беранже голос Манюэля. Где они? Перед глазами его снова встают мужественные, полные доверия лица молодых республиканцев, защитников баррикад. Они приходили вчера с донесениями в Ратушу, где вместе с генералом Лафайетом сидел он, Беранже. И стоило только (так казалось ему тогда) сказать этим юношам несколько слов, направить их, поддержать — и во Франции будет установлена республика. «Нужно было только разогнать двести депутатов, которые там, в Ратуше, находились. Но я боялся, чтобы в будущем нас не упрекнули за то, что мы не сделали последнего опыта, не пройдя через буржуазную монархию», — признается сам себе Беранже (потом он напишет об этом для потомков в «Автобиографии»).

В голове назойливо звучит мотив, на все лады варьировавшийся вчера в «штабе либералов»: «Мы еще не созрели для республики. Народ — дитя. Его надо подготовить для будущих преобразований».

Нет, Беранже не отказывается от республики, но он отсрочивает воплощение своей мечты. Конституционная монархия послужит мостом к республике, думает он.

Решение принято. Надо же, наконец, принять его! И мысль снова начинает лихорадочно работать, чтоб еще крепче обосновать это решение перед самим собой и перед людьми, мнением которых он дорожит.

Беранже знает, что многие будут упрекать его. Теперь уж не либералы, а республиканцы с укором и недоумением взглянут на того, кто считал себя и действительно был одним из республиканских главарей в пору борьбы с реставрированной монархией.

На собрании представителей политических партий, состоявшемся 30 июля в ресторане Луантье, наперекор ожиданиям республиканцев Беранже подал голос за конституционную монархию.

Но и другие республиканские главари оказались

неподготовленными, чтобы взять верх в разгоревшемся споре и повернуть политические события. Орлеанисты «обошли» республиканцев, заняв ключевые позиции и оказавшись у власти до окончательного решения вопроса о форме правления во Франции.

Правда, в тот день многие думали, что и теперь не все решено окончательно. Народ еще не сказал своего слова. Народ отнесся холодно к воззванию либералов. Баррикады еще не разобраны. Может быть, герцога Орлеанского вместо трона ждет вторичное изгнание?

* * *

31 июля утром герцог Орлеанский Луи Филипп, нахлобучив мягкую шляпу и застегнув на все пуговицы темный сюртук с пришпиленной на видном месте трехцветной кокардой, направился через Париж, пересеченный баррикадами, прямиком в Ратушу. Часовому у входа герцог для пущей демократичности представился как национальный гвардеец, который служил под командой героя трех революций генерала Лафайета и теперь пришел повидаться с ним.

Старый генерал уже спешит навстречу именитому гостю, приветствует его и ведет в зал, где заседают депутаты. Пора закреплять вчерашнее решение! На площади Ратуши толпится народ. Слово за ним.

Лафайет и герцог Орлеанский выходят на балкон. И здесь под сенью трехцветного знамени генерал на виду у волнующихся толп обнимает герцога.

— Это лучшая из республик! — восклицает Лафайет, обращаясь к народу.

Народ привык верить герою трех революций, привык видеть в нем врага тиранов, защитника свободы.

Рукоплескания несутся к балкону. Правда, не очень-то дружные, пожалуй, жидковатые для такой толпы и такой минуты, но все же рукоплескания. Их можно считать знаком народного одобрения. Либералы-орлеанисты могут облегченно вздохнуть. Игра их выиграна. И они быстро заканчивают ее, не давая опомниться республиканцам.

Герцог Орлеанский тут же провозглашен наместником Французского королевства. Ордонанс с его назначением на этот пост подписывает в Сен-Клу Карл X. Что еще остается делать низвергнутому монарху? Если Лафайет назвал герцога Луи Филиппа «лучшей из республик», то Карлу X передача верховной

власти близкому родственнику кажется гораздо лучшим вариантом, чем провозглашение республики. Пусть Луи Филипп будет наместником, а он, Карл, подпишет отречение от престола в пользу своего внука герцога Бордоского перед тем, как отбыть в эмиграцию. По старым следам.

Но внуку Карла X не суждено получить корону. Еще до своего отплытия в Англию Карл X узнал, что Луи Филипп Орлеанский 9 августа 1830 года занял так недолго пустовавший трон королей Франции.

* * *

В тот самый день, когда Лафайет и Луи Филипп обнимались на балконе Ратуши, погрустневший Беранже уезжал из Парижа назад в деревню.

Хоть он не хочет признаться ни себе, ни другим в этом, но он в разладе с самим собой. Радость победы подтачивается червяком, имя которому — сомнение. Беранже глубоко оскорблен тем, что некоторые называют его орлеанистом. Перед самым отъездом он отправил одному из друзей{Имя адресата не установлено.} горькое и грустное письмо:

«Я не орлеанист, а ваши друзья, кажется, хотят мне навязать это имя. У меня нет мужества навязывать кому-либо свои расчеты. Если б мне надо было руководить одним-единственным человеком, в особенности молодым, я бы не решился на это в подобный момент. Я ничего не в состоянии сделать и ничего не сделал. Опасность прошла, я уезжаю в деревню. Я не хочу быть в несогласии с теми, кого люблю и уважаю, у меня нет честолюбивого желания ими руководить. Говорить это заставляет меня не эгоизм, а просто чувство собственной ненужности».

Чувство собственной ненужности. Оно никогда раньше не появлялось у Беранже, даже в самые мрачные дни его жизни. Почему же возникло оно теперь, замутив и отравив торжество победы? Может быть, потому, что прежде цель жизни, цель борьбы была ясна для него и он, не уклоняясь, шел к ней. А теперь, когда реставрированной монархии больше нет во Франции, дорога, по которой шел он пятнадцать лет, неожиданно оборвалась. Будущее неясно для Беранже. Он уже сознает, что быть певцом новой монархии не сможет. Но и бороться против нее он, содействовавший рождению этой «лучшей из республик», не имеет пока что морального права.

Чувство теснейшей близости, единения с восставшим народом, испытанное им в дни баррикадных боев (лучшие дни

его жизни!), теперь, когда результаты революции определились, резко сменяется чувством одиночества и даже своей ненужности.

Как будто что-то надломилось в нем после того, как «по зрелом размышлении» он помог друзьям перебросить «спасительный мост» через бурлящий поток революции. (На вопрос, который задаст ему вскоре Александр Дюма: «Почему вы сделали Франции нового короля?» — Беранже ответит: «Я не сделал короля, я просто поступил так, как поступил бы на моем месте мальчишка-савояр, — перебросил доску через бушующий поток, который пересекал дорогу».)

Он словно бы выброшен из седла, выбит из колеи, вырван из гущи борьбы и стоит где-то на обочине дороги, потирая ушибленные места. Неожиданная смена всего жизненного ритма. Неожиданный привкус горечи во рту. Зрелый плод, который он так долго выращивал и который, наконец, достался ему, подпорчен противной червоточинкой.

# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

# «…ДРУГИМ БРОСАЙТЕ ДЕНЬГИ И ЧИНЫ»

В августовский день 1830 года Беранже снова в Париже. Здесь проездом кузен Форже из Перонны. С ним Беранже пошлет большое письмо, адресованное тетушке Буве. Она еще жива, старая Мари Виктуар. Правда, ее мучит катар желудка. Не мудрено: сколько блюд пришлось перепробовать на своем веку рачительной хозяйке постоялого двора! Восьмой десяток на исходе, но память ее свежа, тетушка не перестала интересоваться делами своего воспитанника и, конечно, политикой.

«Я хотел бы, дорогая моя тетушка, чтобы ты была в курсе славных и нежданных событий, свидетелями которых мы стали, — пишет Беранже. — Я полагаю, что ты одобришь мое поведение во всем этом. Ты знаешь, как я ценю твое мнение».

Эго не какой-нибудь пустой комплимент. Ему действительно дорого мнение той, из чьих уст он впервые услышал о Великой революции, правах и обязанностях гражданина. Именно ей — а вместе с ней и самому себе — хочет он отдать отчет о своей роли в июльских событиях.

«…Моя совесть не упрекает меня в том, чему я способствовал. Хотя я республиканец и один из главарей этой партии, но я сколько мог ратовал за герцога Орлеанского. Это даже несколько охладило мои отношения с некоторыми друзьями, но они меня уважают, так как имеют доказательства личного моего бескорыстия», — пишет Беранже. Это объяснение похоже на самооправдание. Совесть не упрекает его потому, что в поведении его не было и тени личной корысти. Но доволен ли он

политическими результатами революции? В ответе на этот вопрос Беранже противоречит сам себе. Начинает с того, что якобы «во всей Франции царит полное удовлетворение», и… тотчас же оговаривается: «Что неоспоримо — это по крайней мере единодушная ненависть к тому, что разрушено, если и нет единодушной любви к тому, что пришло на смену». Оговорка эта очень важна. Уже сейчас, через две недели после установления новоиспеченной монархии, ей далеко до единодушной народной любви…

Из письма видно, что Беранже серьезно беспокоит трещина, образовавшаяся в его отношениях с республиканцами, и ему хочется прежде всего доказать свою личную незаинтересованность в выборе партии, в выборе решения, к которому он их склонял. Мотив этот выплывает в письме дважды. Оправдаться в глазах республиканцев! И, как за спасительный якорь, хватается Беранже за издавна любимое им словечко «независимый».

«…Ты знаешь мою жажду независимости. Удовлетворить ее, отказавшись от почестей и должностей, в тот момент, когда все ссорятся, раздирая шкуру побежденного, — это ли не полезный пример для общества?»

Под знаменем «независимого» он хочет с почетом удалиться с поля боя. Едва ли, однако, пример этот будет столь полезен обществу, как уверяет Беранже себя, тетку и всех других.

Он сам уже предвидит, что позиция нейтрального наблюдателя не сможет удовлетворить его, как и позиция власть имущего.

«Ты, может быть, думаешь, что я очень счастлив положением, которое последние события мне создали. Ты ошибаешься. Я не рожден для партии победителей. Преследования мне приятнее торжества».

Здесь уже прямое признание. Он недоволен создавшимся положением и объясняет это недовольство прирожденными свойствами своего характера: ему, мол, приятнее, чтоб власти его преследовали, а не превозносили. Но корни его недовольства не только в том. Ему чужда Июльская монархия, рождению которой он содействовал. Его удручает разлад с республиканцами. Он не чувствует себя счастливым в лагере победителей и рад бы убежать без оглядки. Уйти в безвестность, расстаться со славой, с Парижем. С каким удовольствием он укатил бы в Перонну! Но друзья-министры, особенно Дюпон — бедняга так страдает на посту министра юстиции! — все еще цепляются за него, просят не оставлять их…

Да, невеселые раздумья наполняют это письмо. Беранже

пишет его не торопясь, несколько дней. Это как бы странички его дневника, исповедь перед людьми и собой. К чему пришел он после победы в долголетней борьбе?

«Кстати о возрасте. Знаешь ли ты, что сегодня, 19 августа, мне исполнилось ровно пятьдесят лет? Вот я и попал в старики! К этой теме я мог бы подыскать прекрасные философские рассуждения, но окажу лучше, что я не слишком огорчаюсь своими годами. Жизнь, которая началась со взятия Бастилии и дотянулась до падения Карла X, может быть предметом зависти наших потомков».

И здесь, в этих внешне бодрых словах, звучит скрытая грусть, он произносит их с такой интонацией, будто жизнь кончена и он, оглядываясь назад, прощается с прошлым: «Однако довольно подобных зрелищ, нужно дать отдых Франции и мне».

* * *

Почти все его друзья-либералы стали у власти после учреждения новой монархии.

— Бедняги подвешены к мачте с призами наверху, — трунит Беранже.

Лаффит во главе кабинета министров. Тьер — заместитель государственного секретаря. Дюпон де Л'Ер — министр юстиции. Лафайет возглавляет вновь созданную Национальную гвардию. Министры всячески задабривают и охаживают песенника. Что ему подойдет больше всего, какая должность? Пусть выбирает портфель по душе. К настояниям орлеанистов присоединяются и республиканцы.

— Какое же министерство, по-вашему, должны мне дать? — спрашивает он с простодушной миной (только где-то в тонком уголке рта прячется усмешка).

— Народного просвещения! — отвечают молодые друзья.

— Пожалуй, — говорит он задумчиво. — Как только я попаду туда, тотчас же велю ввести книгу моих песен в качестве пособия для женских пансионов.

Все покатываются со смеху. И он смеется.

— Государь хочет видеть, вас во дворце, чтоб поблагодарить за все то, что вы сделали для него и для Франции, — торжественно сообщает песеннику Лаффит.

— Приходите обязательно! Во дворце теперь принимают без церемоний! — подхватывают другие государственные мужи.

— Ладно, ладно, — усмехается Беранже. — Сегодня в сапогах, а завтра, глядишь, в шелковых чулках.

Нет уж, пусть уволят его от подобной чести. Он всю жизнь предпочитал держаться подальше от королевских покоев.

Министры докладывают королю о непонятном упрямстве Беранже. Может быть, это потому, что он считает себя республиканцем?

— Скажите ему, что я тоже республиканец, — медовым голосом произносит Луи Филипп, и на лице его, напоминающем спелую грушу, играет благодушная улыбка.

Беранже тотчас же передают слова короля. «Знаем мы таких республиканцев», — думает он, но ему не хочется вступать в спор, лучше отшутиться.

— Скажите королю, что я слишком стар, чтоб заводить новые знакомства, — говорит он.

Нет, Беранже не прельщают ни должности, ни мундиры, ни галуны, ни пенсионы. Неподкупный. Таким он останется всегда и перед собственной совестью, и в глазах друзей, и — главное — перед лицом народа.

Первые дни после революции Беранже говорил, что вместе с Карлом X свергнута с трона и его песня. Но чем дальше от июльских «славных дней», тем виднее становится ему, что колчан его не иссяк. Одна из первых песен, созданных им после Июльской революции, обращена к друзьям, которые стали министрами. Так она и называется.

Нет, нет, друзья! Мне почестей не надо.
Другим бросайте деньги и чины.
Я — бедный чиж — люблю лишь зелень сада
И так боюсь силков моей страны!
Мой идеал — лукавая Лизетта,
Обед с вином, друзья и жар поэм,
Родился я в соломе, в час рассвета, —
Так хорошо на свете быть никем!

Эта первая строфа песни с провозглашенным в ней скромным идеалом счастья как бы отбрасывает поэта ко временам «Обители беззаботных», когда он был еще вдали от боев.

Но заключительная строфа широко раздвигает рамки прежнего его демократически-эпикурейского идеала:

Здесь, во дворце, я предан недоверью,
И с вами быть мне больше не с руки.
Счастливый путь! За вашей пышной дверью
Оставил лиру я и башмаки.
В сенат возьмите заседать Свободу, —

Она у вас обижена совсем.
А я спою на площадях народу, —
Так хорошо на свете быть никем!

Здесь твердо проведены линии размежевания: по одну сторону — власть имущие, кормщики Июльской монархии; по другую — обиженная свобода, обиженный народ и его песенник, еще не потерявший голоса.

Год спустя этот же мотив отмежевания от корифеев монархии Луи Филиппа прозвучит еще резче и непримиримей в песне «Отказ», адресованной министру иностранных дел Себастиани. Некогда пылкий либерал, Себастиани, получив министерский портфель, соответственно «перестроился». Негодование демократических кругов вызвали слова его, сказанные после подавления польского восстания: «Порядок царствует в Варшаве».

И этот блюститель «порядка» предложил Беранже пенсион.

Министр меня обогатить
Решил однажды…

Пусть карман поэта дыряв и почти всегда пуст, но в подачках от министров поэт не нуждается.

Что мне ваш «золотой запас»?
На утре жизни — в добрый час —
Избрав любовницей Свободу, —
Я, легкомысленный поэт,
Любимец ветреных Лизетт,
Стал ей вернее год от году.

Свобода — это, монсеньер,
Такая женщина, чей взор
Горит, от ярости пьянея,
Чуть в городах моей страны
Завидит ваши галуны
И верноподданные шеи.

«Друзья-министры», однако, предпочитают не замечать выпадов Беранже.

Пусть он перестал навещать министерскую канцелярию, министры сами спешат в его квартирку на улице Овернь, 30. Если не застают его дома, то готовы подождать в кухаркиной комнате.

Все тяжелее вздыхает под бременем портфеля юстиции старый Дюпон де Л'Ер, все резче складки на лбу Лаффита, который теряет понемногу былой апломб. Все грустней опускаются уголки рта у старого «бравого» Лафайета. Только Тьер как рыба в воде, пусть водица и мутновата. Это, может, даже удобнее для него. Он не пропадет, сумеет взять свое.

Да, муть сгущается. «Друзья-министры» запутались, растерялись, перессорились, очутились во враждующих между собой партиях. Те, кто полевее и кто, подобно Лафайету, и впрямь рассчитывал на «лучшую из республик», день ото дня теряют свои надежды. «Лучшая из республик» вовсе не расположена насаждать демократию. На взгляд короля Лур Филиппа, достаточно и того, что число избирателей немного расширено по сравнению с тем, какое предусматривалось в хартии Людовика XVIII. Луи Филипп произносит еще при случае либеральные фразы, поддерживая репутацию короля-гражданина. Прохаживается по улицам Парижа с зонтиком в руке, останавливаясь покалякать с добрыми буржуа. Но важнее всего для него благоволение действительных хозяев страны — банкиров, финансистов, держателей акций, крупных землевладельцев.

Пока что он сквозь пальцы смотрит на либеральных говорунов (вроде Лаффита и Дюпона), призывающих к дальнейшей демократизации, — они именуют себя сторонниками «партии движения», но больше по душе королю люди «дельные» и неторопливые (вроде Гизо), которые основали «партию сопротивления» (сопротивляются они, конечно, не хозяевам положения, а ретивым защитникам демократии).

Во главе монархии банкиров сидит банкир королевских кровей. Ему хочется, чтоб Июльская монархия поскорее бы приняла облик вполне респектабельный и чтоб коронованные собратья за границей поскорее забыли бы о ее вульгарном «баррикадном» происхождении.

Видно, недолго продержатся некоторые из друзей Беранже на своих министерских постах. Песенник предсказывает им неминуемую потерю популярности (и в глазах народа и в глазах короля и его приближенных) и советует поскорее улепетывать в отставку.

«Я мог бы многое рассказать из области политики, — пишет Беранже 23 ноября 1830 года своему другу Бернару. — Боятся войны, и я о ней думаю постоянно. Люди и таланты отсутствуют. Наши министры не знают, куда идут. Банкиры и промышленники дерутся друг с другом, ряды республиканцев расстроены, карлисты потирают руки, король управляет, и все идет скверно. Тем не менее нация существует, и я надеюсь, что она сама будет

своим провидением; или она дождется хороших времен, или ей понадобится буря.

Что касается меня, то я хочу жить вдали от шума и пытаться вновь начать работать. Потому что, как я часто говорю, я не работаю, чтобы жить, но я живу своей работой, а я хочу еще жить».

* * *

Чтоб сосредоточиться на работе, Беранже пробует запереться в своей «обители» на улице Овернь, 30. Швейцару отдано распоряжение не впускать никого без его ведома. Но покоя нет. То министры толкутся у дверей и передают ему через портье жалобные записочки с просьбой впустить их, то назойливые просители. А главное, нет ясности духа, ясности цели. Может быть, перемена места поможет ему? Ведь Беранже давно рвется отдохнуть от Парижа, уехать куда-нибудь поближе к природе. Но Париж все еще цепко держит его.

Париж тревожен. Идет суд над министрами Карла X. Толпы народа теснятся 21 декабря 1830 года у Дворца правосудия. Требуют казни Полиньяка и всей реакционной министерской своры, орудовавшей вместе с ним. Генерал Лафайет во главе национальных гвардейцев явился успокаивать разгоревшиеся страсти, но народ принял бывшего своего любимца весьма прохладно, без тени прежнего восхищения. Нашлись юнцы, которые попробовали даже подшутить над генералом: принялись усердно подбрасывать его, перекидывая, как мяч, из рук в руки.

Министров приговорили к пожизненному заключению. Народ недоволен, но волнения все же улеглись. Король выразил Лафайету благодарность в открытом письме. А на заседании палаты тотчас же вслед за тем упразднили пост главнокомандующего Национальной гвардии, который занимал Лафайет. Глубоко оскорбленный герой трех революций подал в отставку.

Вслед за генералом из чувства солидарности и из желания освободиться, наконец, от опостылевшего бремени подал в отставку и Дюпон де Л’Ер.

— Пора, пора! Ведь я давно советовал вам поступить так, чтоб не замарать себя окончательно, — говорит Дюпону Беранже. — Теперь, надеюсь, вы обойдетесь и без моих советов, и оба мы сможем, наконец, отдохнуть. А вот бедняга Лаффит еще помучится, но, надеюсь, недолго. Король и министры из «партии сопротивления» постараются поскорее спихнуть его, ведь взгляды

на «лучшую из республик» у них с Лаффитом не совсем-то сходятся!

Лаффит действительно недолго продержался на «мачте с призами». Для него наступила полоса неудач: один за другим потерпел он крах финансовый и крах политический. В январе 1831 года лопнул его банк, а в марте он слетел с поста министра, разойдясь с королем по вопросам внешней политики.

Спор шел об отношении Франции к освободительным движениям, вспыхнувшим вскоре после «славных июльских дней» в Польше, Бельгии и итальянской провинции Романье. Луи Филипп вопреки настояниям Лаффита не хотел помогать восставшим народам. Франция не выступила на защиту Польши. Не выступила она и против австрийцев, двинувших армию в Романью. Благоразумно отказался Луи Филипп и от короны, предложенной его сыну бельгийцами, освободившимися от голландской зависимости.

Лаффит вынужден был подать в отставку. Пост первого министра занял один из крупнейших банкиров, Казимир Перье, бывший либерал, весьма поправевший, однако, еще в последние годы Реставрации. Замолкли речи о демократизации, о «лучшей из республик». Лицо Июльской монархии — монархии финансовых воротил — определилось.

# «ВЕЧНО РАБОТА И ВЕЧНО НЕВЗГОДА»

Итак, «друзья-министры», потеряв свои посты и портфели, перестали докучать Беранже просьбами о советах и жалобами. Он может покинуть Париж, но пока все еще не расстается с ним окончательно. Он мечется, переезжая с места на место. То он в Перонне поет старинным друзьям и тетке песню, сочиненную по поводу своего пятидесятилетия, то снова в Париже на заседании Комитета в защиту Польши, то в Пасси, дачной местности неподалеку от столицы; здесь долго жил его друг Кенекур. Беранже часто навещал милейшего настоятеля «Обители беззаботных», не раз встречался в его доме с Антье и Вильгемом.

Кенекур сызмальства был слаб здоровьем, все покашливал в ладошку, но предпочитал никому не докучать жалобами. И вот его не стало. Получив весть о его смерти, Беранже спешит на похороны в Нантерру. Тяжелая потеря. Друг детства и юности, столько раз великодушно приходивший на помощь Беранже, живой хранитель их общих воспоминаний, лежит в гробу…

Как! Заунывным пеньем оглушен,
Произнести не смею я ни слова?
Но этот гроб, свечами окружен, —
Ведь в нем мой друг, друг детства золотого…
Как рад бывал он песенкам моим!
Как счастлив был, успех им предрекая!
И как цветы сулил в грядущем им,
Их аромат заранее вдыхая…

Беранже написал эпитафию, которую высекли на надгробном камне над могилой Кенекура:

«Вы, встречая его, не знали, какой замечательный ум, какая нежная и скромная душа блестела под скромной одеждой этого чистого сердцем человека. Приветствуйте его, лежащего под этим камнем».

В Нантерре Беранже похоронил друга детства. В Париже он присутствует на похоронах одного из своих соратников по борьбе с Реставрацией, песенника Эмиля Дебро. Эмиль умер от чахотки еще молодым — ему было всего тридцать три года. Он умер, как и жил, в бедности, почти в нищете. Автор многих боевых песен («Колонна», «Солдат», «Помнишь ли ты?» и других), широко известных в парижских предместьях, исполнявшихся и в кабачках и в салонах, Дебро никогда не печатался, не получал гонораров и

зарабатывал на жизнь и на содержание семьи перепиской бумаг. Беранже задался целью опубликовать песни Дебро. Пусть песни эти увидят свет хоть после смерти автора!

* * *

Удерживают Беранже в Париже и другие неотложные дела. Он срочно готовит небольшой сборник своих песен. Выручка от издания пойдет в пользу Комитета, организованного в помощь восставшей Польше. Сборник откроется обращением к Лафайету, председателю Польского комитета, и двумя призывными песнями «Туда!» и «Понятовский». «Для компании им», а также для того, чтобы увеличить объем брошюры, как говорит автор, он присоединяет к этим песням еще двух сестер: «14 июля», песню, написанную в тюрьме Ла Форс, и «Друзьям министрам».

Оказывается, песни его могут еще пригодиться и при Июльской монархии! Эта мысль звучит в «Обращении к Лафайету». Беранже цитирует здесь отрывки из своей еще не опубликованной «Реставрации песни»:

Да, песня, верно, — чуждый лести,
Я заявлял, скорбя,
Что ниспровергли с Карлом вместе
С престола и тебя.
Но что ни новый акт закона, —
Призыв к тебе: «Сюда!»
Вот, песнь моя, тебе корона.
— Спасибо, господа!

Беранже пишет в «Обращении», что «считает за честь» поддержать начинания, предпринятые французами для подкрепления борьбы польского народа, «такого великого и такого несчастного». «Туда!», на помощь восставшей Польше, зовет поэт французов.

Ах, если б я был юн и смел,
И, ус покручивая гордо,
В успех оружья верил твердо,
И ловко шпагою владел —
Я б, не колеблясь, полетел
На помощь к ней — к несчастной Польше…
И нашим трусам дал бы весть:
«Гусары! Гей! Не медлить дольше!

Туда! Скорей. Зовет нас честь».

Правительство отказало в помощи повстанцам, но, может быть, народ Франции откликнется на призыв, который так настойчиво звучит и в песне «Туда!» и в песне «Понятовский» с ее рефреном:

«Француз, дай руку — и я буду жив!»

Сборник вышел в июле 1831 года.

В «Обращении к Лафайету» рядом с критическими выпадами против Июльской монархии были и такие строки, которые вызвали недовольство левых республиканцев: «…я убежден в необходимости укреплять и сохранять основы существующего порядка вещей».

В письме к Латушу (22 июля 1831 года) Беранже снова пытается обосновать свои политические позиции. Он боится, что разногласиями в среде либералов и республиканцев воспользуются монархисты, которые так и караулят подходящую минуту, чтоб продвинуть своих претендентов на трон. «Что же касается республики, о которой я мечтаю всю жизнь, то я не хочу, чтоб этот плод достался нам второй раз в незрелом виде. Его снова отбросили бы прочь. Будем трудиться над просвещением нации, и моя мечта осуществится без потрясений, постепенно. Я не увижу этого времени, но я уверен, оно наступит».

Он мечтает о постепенном улучшении жизни народа. И в то же время он видит, что Июльская монархия заботится вовсе не о народных интересах, что народ враждебно относится к ней. Неужели он все еще верит в «усовершенствование» этого режима, в возможность расцвета при нем демократии и просвещения масс?

Неразрешимое противоречие!

* * *

В годы борьбы с реставрированной монархией Беранже обращался со своими песнями к народу — будил его, поднимал его дух. И героями песен тех лет были стойкие, веселые, смелые сыны и дочери народа: старые ветераны и боевая маркитантка, мудрый и неустрашимый Тюрлюпен, задорная Лизетта, способная обморочить и Сатану и святого Петра, и ее друг бедняк поэт, никогда не падавший духом.

В песнях, созданных после Июльской революции, Беранже взывает уже не столько к самому народу, сколько к правителям Июльской монархии: «Возьмите же в сенат Свободу!», «Позаботьтесь же, наконец, о народе, облегчите его участь!»

Изменяется тон песен. Изменяются и герои. На место неунывающих бедняков с городских окраин становятся изнемогшие, безответные страдальцы-крестьяне. Поэт видит народное горе, оно не убывает после революции и волнует Беранже все больше и больше. Во время своих долгих прогулок он навещает крестьянские домики и в окрестностях Перонны и в Пасси. Люди с заскорузлыми ладонями и потемневшими лицами, работающие от зари до зари, близки ему, он знает их с малых лет. Пахари, пастухи, виноградари. И те, что, не выдержав, пошли ко дну или занялись «темными» промыслами: бродяги, нищие, контрабандисты. Из собственных уст этих людей он слышит повести о их жизни.

Вечно работа и вечно невзгода.
С голоду еле стоишь на ногах…
Все, что нам нужно, — все дорого страх…

Вот он, раздавленный бременем труда, налогов, вечно недоедавший крестьянин Жак. Лежит мертвый. «Встань, мой кормилец, родной мой, пора!» — причитает жена. Напрасно. Он больше не встанет.

Смерть для того, кто нуждой удручен, —
Первый спокойный и радостный сон.

Никогда раньше в поэзии Беранже не было такой безысходной горечи. В песнях его молодости бедняки были счастливей богачей. Созданные по образу и подобию самого автора обитатели чердаков и трущоб побеждали силой духа нужду и нищету. Огонь борьбы, сопротивления, надежды освещал лица героев его песен зрелых лет.

А теперь как будто угасло мятущееся пламя, и при холодном свете пасмурного дня встали перед глазами поэта уже не смеющиеся, а плачущие бедняки. И зрелище их жизни вызывает мучительное сострадание.

Но вместе с состраданием рождается и возмущение. За что? Во имя чего должны страдать и вечно сгибаться бедняга Жак, и его жена, и рыжая Жанна (из одноименной песни), и старый бродяга? Ведь они не бегут от труда. Напротив, рвутся к труду.

Но одни, надрываясь всю жизнь, так и не выбьются из силков нужды, другие же выброшены за борт жизни, становятся изгоями.

Я смолоду хотел трудиться,
Но слышал в каждой мастерской:
«Не можем сами прокормиться;
Работы нет. Иди с сумой!» —

жалуется старый бродяга.

В деревне налоги. В городе безработица. Тюрьма вместо больниц. Осуждение вместо помощи. Несправедливый строй душит человека, уподобляет его, рожденного для плодотворного труда и радости, глухому, слепому червю. Такие мысли вызывает зрелище этих горьких человеческих судеб.

Старый бродяга бросает укор отечеству, отринувшему и растоптавшему своего сына:

Отечества не знает бедный!
Что в ваших тучных мне полях,
Что в вашей славе мне победной,
В торговле, в риторских борьбах?

Да, эти надломленные люди далеки от патриотизма старого сержанта. Но разве виноваты они в том? Отечество, ради которого они трудились, сражались, умирали, поворачивается спиной к беднякам, не заботится о них.

И это после революции! После той революции, которая, как думал Беранже, должна круто повернуть весь строй жизни Франции, возродить и продолжить на деле идеи, завещанные первой революцией. Нет, он, конечно, не мечтал о том, что благодетельная перемена произойдет сразу, но надеялся, что хоть постепенно по «мосту, переброшенному через поток», французы переберутся на солнечный берег республики братства и равенства. И что же? Движения не заметно. Страдания народа усиливаются. Рабочие ткацких фабрик в Лионе восстали, не выдержав нечеловеческих условий труда, а власти подавляют это восстание железом и кровью. Крестьяне в деревнях стонут от увеличившихся налогов, старые бродяги — нищие по-прежнему умирают в придорожных канавах.

Социальная тема поднимается в поэзии Беранже и встает на место воодушевлявшей его прежде темы революционно-патриотической. Что это, отступление или шаг вперед в его творчестве? Здесь противоречиво сочетается и то и другое.

Беранже открывает новые дороги и земли своей поэзии, обнажая неприкрашенную правду народного страдания. И в то же время он и теряет что-то очень дорогое, очень важное, ту веселость, тот задор, ту силу боевого призыва, которые звучали в его песнях времен Реставрации.

Перемены в его поэзии — это и перемены в нем самом, в его личности, в его отношении к миру.

Он не утратил самого важного — любви к народу, не утратил остроты взгляда и меткости прицела. Об этом говорят его новые песни. Но жизнерадостность его потускнела. И, конечно, это не только потому, что ему уже минуло пятьдесят. Он сам признается, что может еще тряхнуть стариной при виде лукавой Лизетты. Предчувствие надвигающейся старости лишь присоединяется к ощущению смятенности и бездорожья, которое появилось у него после того, как победа революции обернулась на деле победой не народа, а буржуазии. И это ощущение особенно горько для человека, привыкшего видеть перед собой ясную цель.

# «БЕЗУМЦЫ»

В деревнях умирают страдальцы Жаки. В Лионе не выветрился еще запах крови и пороха после расправы над восставшими рабочими. В Вандее вдова герцога Беррийского, тайно пробравшаяся в пределы Франции, пытается раздуть роялистский мятеж. А в Париже весной 1832 года свирепствуют холера и цензура. Штабелями складывают на повозки трупы жертв холеры в холщовых мешках вместо гробов.

Одного за другим судят и сажают в тюрьмы редакторов, художников, журналистов, выступающих с фельетонами и карикатурами на Луи Филиппа, его министров и Июльскую монархию в целом.

Еще в начале 1831 года художник Филипон, издатель еженедельника «Карикатюр», выявил и подчеркнул в своих остроумных рисунках необычайное сходство физиономии «короля-буржуа» с грушей. Суд и тюрьма не устрашили ни самого Филипона, ни его столь же остроумных и талантливых собратьев из лагеря оппозиции.

Целый поток карикатур обрушился на Июльскую монархию. Они появлялись на страницах газет и журналов, на стенах домов и в витринах лавок, около которых тотчас же собирался народ. В декабре 1831 года в витрине лавки Обера была вывешена литография молодого художника Домье «Гаргантюа». Гигант с толстым брюхом, грушевидной физиономией и паучьими ножками восседает на троне, высящемся над Парижем. Усталые, согбенные люди тащат по узкой лесенке мешки с золотом к открытой пасти чудовища. Золото — его пища. Сквозь отверстие в троне мрачный идол извергает переваренное золото. Превратившись в кресты и орденочки, испражнения эти попадают в руки богачей, министров, политиканов, толпящихся у подножия трона.

Чудовище на рисунке Домье совсем не похоже на веселого гиганта из книги Рабле. Этот новый Гаргантюа вызывает омерзение и ужас.

Полиция в тот же день конфисковала литографию, а художника за оскорбление правительства суд приговорил к шестимесячному заключению и денежному штрафу.

Но карикатуры не убывали, фельетоны становились все острее. А в задних комнатах кабачков было, пожалуй, еще многолюднее, чем накануне 1830 года. Все больше рабочих присоединялось к тайным обществам республиканцев. Даже холера не смогла приостановить нарастающее движение.

Беранже в стороне от близящейся схватки. Сохраняет позицию «независимого»: не присоединяется к республиканцам, но и от власть имущих держится вдали, упрекая их в непростительных ошибках.

Ему слишком трудно, слишком больно расставаться с надеждой, что новая монархия — мост к республике — может еще «исправиться» и привести французов куда следует мирным путем, без кровавых междоусобиц. Ведь революция, за приближение которой он столько лет боролся, уже свершилась. Неужели враждующие партии не смогут договориться?

Приближается вторая годовщина Июльской революции. Весной 1832 года Беранже работает над песней «Июльские могилы», в которой славит блузников столицы — героев баррикад, славит народ, низвергнувший феодальную монархию.

Как был велик он — бедный, дружный, скромный,
Когда в крови, но счастлив, как дитя,
Не тронул он казны своей огромной
И принцев гнал, так весело шутя.
Июльским жертвам, блузникам столицы,
Побольше роз, о дети, и лилей!
И у народа есть свои гробницы —
Славней, чем все могилы королей!

Пусть не забывают преемники Бурбонов, что они призваны к власти революцией и всем обязаны народу!

В заключительных строфах Беранже бросает взгляд в будущее:

Во всех краях Свобода водворится.
Отживший строй погибнет наконец!
Вот — новый мир. В нем Франция — царица,
И весь Париж — царицы той дворец.

Да, приближается вторая годовщина Июльской революции. И блузники столицы, братья тех, кого воспел Беранже, те, кто остался в живых, восстают против Июльской монархии, навязанной им буржуазией.

5 июня 1832 года в Париже вспыхивает восстание, во главе его левые республиканцы. Но на этот раз песенника не видно на баррикадах…

День и ночь гремит колокол монастыря Сен-Мери, ставшего крепостью республиканцев. О героях июньского восстания будут

складывать предания, писать книги. Июньские повстанцы оживут через тридцать лет в романе Гюго «Отверженные». Они дрались, не жалея жизни, они были героями до конца. Но горсточка героев не могла одержать победу над полками регулярных войск, направленных Июльской монархией против повстанцев.

Новые могильные холмы вырастают на парижских кладбищах — июньские могилы. Разве похоже все это на тот новый мир, о котором мечтает Беранже? Какие же дороги ведут к этому новому миру?

* * *

В нескольких лье от Перонны высится старый замок де Берни. Здесь родился в 1760 году и правел свое детство граф Анри де Сен-Симон. Еще в отрочестве Беранже слышал много рассказов об этом человеке от его пероннских земляков. Молодой граф отправился вслед за Лафайетом в Америку и участвовал там в войне за независимость. Когда пришла Великая французская революция, Анри Сен-Симон отказался от графского звания. Перонцы гордились своим уроженцем, хотя он с тех пор почти не навещал родных мест.

Во время империи и Реставрации Сен-Симон бедствовал. Подобно Беранже, он вынужден был работать в канцелярии, чтоб не умереть с голоду. Книги, которые он писал, не могли прокормить великого мыслителя. Друзья и приверженцы его учения обманывали надежды Сен-Симона. И он решил пустить себе пулю в лоб. Выстрел лишил его одного глаза, но не жизни. Жизнь продолжалась, еще более страдальческая, чем прежде. Сен-Симон умер в 1825 году. Настоящая слава пришла к нему только после смерти. Учение его завоевывало все новых сторонников во Франции и других странах.

Беранже и раньше был знаком с идеями Сен-Симона, но теперь, после Июльской революции, в дни напряженных поисков новых дорог, он снова погружался в его книги, все глубже воспринимая строй мыслей автора, его проповедь социализма, его веру в преобразование общества мирным путем.

Во время наездов в Перонну Беранже совершал паломничества к замку Берни и, шагая по пикардийским долинам, размышлял о будущем, о путях к нему. Да, Сен-Симон прав, выступая в защиту неимущих. Нищета, угнетение, страдания всех несчастных Жаков и Жанн должны прекратиться в новом обществе, где имущественные блага будут распределены не волей слепого случая, а согласно разуму и справедливости, думал

Беранже. Как и Сен-Симон, он признавал силу убеждения, верил в силу разума и науки. Вслед за Сен-Симоном Беранже хотелось верить, что изменение общественного строя может произойти постепенно, без революционных битв.

Проповедь социалистических преобразований звучала и в книгах Шарля Фурье. Беранже питал безграничное уважение «к этому гениальному человеку, еще недостаточно оцененному собственными его учениками». Через несколько лет в письме к Помпери, биографу Фурье, Беранже выскажет свое отношение к великому утопическому социалисту и его ученикам: «Они говорят о нем, как о божестве, а не как об учителе, чье дело может быть завершено только горячими и разумными последователями». Не слепой культ, а разумное восприятие идей Фурье и воплощение их в жизнь хотелось бы видеть Беранже. Сам он при всем уважении к мыслителю считал, что социалистическое учение Фурье неполно. Восхищение вызывал у Беранже облик Фурье-человека, с его убежденностью в своей правоте и действенной силе призыва.

«Я вас упрекну, — читаем мы в том же письме Беранже к Помпери, — что вы опустили в вашем биографическом очерке одну черту Фурье, которая, как мне кажется, восхитительно его обрисовывает: это пунктуальность, с которой он ежедневно в течение десяти лет ежедневно в полдень — время, назначенное им самим для встречи, — ждал у себя дома богача, который бы ему доверил миллион для устройства первого фаланстера. Ничего нет более трогательного по сравнению с этой верой, горячей и неизменной. О, как хотел бы я быть обладателем миллиона, чтоб вручить ему, хотя его учение мне кажется неполным и хотя он предусматривает только упорядочение материальных отношений!»

Безумцами называют апостолов новых учений «трезвые» накопители — люди, которые находят смешным ребячеством заботы о судьбах человечества, люди «золотой середины», неспособные возвыситься над заурядным течением заурядной своей жизни, неспособные к полету мечты и мысли.

Оловянных солдатиков строем
По шнурочку равняемся мы.
Чуть из ряда выходят умы:
«Смерть безумцам!» — мы яростно воем.
Поднимаем бессмысленный рев,
Мы преследуем их, убиваем —
И статуи потом воздвигаем,
Человечества славу прозрев.

Стихотворение Беранже «Безумцы» — гимн смелым первооткрывателям, раздвигающим пределы человеческой мысли и деяния.

Такими «безумцами», которыми будет гордиться людской род, утверждает Беранже, были Сен-Симон, и Фурье, и последователь Сен-Симона Анфантен, ратовавший за женское равноправие.

Над ними смеются: «Это были безумцы все трое».

Господа! Если к правде святой
Мир дорогу найти не умеет —
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!

Мечты провидцев, апостолов новых учений порой неосуществимы (как мы видели, Беранже сознает неполноту учения Фурье, ошибки его последователей). И все же не только несбыточные мечты и «золотые сны» приносят эти «безумцы» человечеству. Они зовут людей к великим дерзаниям; подобно Колумбу, они открывают перед людьми новые горизонты.

По безумным блуждая дорогам,
Нам безумец открыл Новый Свет:
Нам безумец дал Новый Завет —
Ибо этот безумец был богом.
Если б завтра земли нашей путь
Осветить наше солнце забыло —
Завтра ж целый бы мир осветила
Мысль безумца какого-нибудь!

Стихотворение «Безумцы» было впервые напечатано в «Песеннике сен-симонистов» и в том же 1833 году помещено в новом сборнике песен Беранже.

Стихотворение это не было единственной данью поэта теням зачинателей и проповедников утопического социализма. Сен-симонистские идеи уже давали себя знать в его песнях о бедняках деревни; эти же идеи лежат в основе философского стихотворения «Четыре эпохи». Поэт славит движение человечества вперед, но видит трезвым своим оком, что мечты о совершенствовании мира пока еще очень далеки от реальности. Торжественный марш строф прерывается перед самым концом

горькой нотой. Человечество вступило в четвертую эпоху, где должны стать явью гуманность и мир, братство и справедливость.

Одну семью уж люди составляют…
Что я сказал? Увы, безумец я:
Кругом штыки по лагерям сверкают,
Во тьме ночной чуть брезжится заря…

Одна лишь Франция вступила на новый путь. (Беранже хочет, чтоб это было так!) «Сияй же миру утренней зарей!» — обращается поэт к своей родине.

# «НАРОД — ЭТО МОЯ МУЗА!..»

«Мои песни — это я сам, — пишет Беранже в предисловии к сборнику 1833 года. — Вот почему грустный бег времени дает себя в них знать по мере того, как они накапливались целыми томами, и это заставляет меня опасаться, не покажется ли последний том слишком серьезным».

Предисловие это — его исповедь и его эстетический манифест, предназначенный для молодежи, для новых поколений поэтов. Беранже пишет неторопливо. То и дело останавливается — как бы всматривается в прошлое и настоящее, в глубь своей борьбы, своего сердца и своих песен.

«Счастье человечества было думою всей моей жизни. Этим я обязан, без сомнения, классу, в котором родился, и практическому воспитанию, которое там получил. Но нужны были необычайные обстоятельства, чтобы песеннику решать важнейшие вопросы общественных реформ».

Под необычайными обстоятельствами он разумеет ход французской истории после Великой революции конца XVIII века. Пеструю смену политических систем, правительств и правителей. Растоптанные надежды патриотов, борцов за равенство и свободу… Трагикомедию Реставрации и все крепнущую борьбу двух лагерей… Во всем этом водовороте событий он, песенник, руководствовался всегда, — может быть, даже больше, чем собственными раздумьями, — народным инстинктом.

«Я изучал его с особой тщательностью при каждом событии, и почти всегда оказывалось, что народные чувства настолько соответствуют моим соображениям, что я мог с ясностью намечать свою линию поведения в той роли, какую на меня возлагала в те времена оппозиция.

Народ — это моя муза!..»

Он прав, именно в близости к душе народа, к его стремлениям заключена необоримая сила, которая вела поэта и не изменила ему в пути.

Бывало, правда, что, черпая силы в народе, поэт разделял с ним и его слабости. Одной из них была идеализация Наполеона. Но даже слабости своей музы Беранже заставлял служить интересам борьбы. «Поверженный колосс» помогал ему выявлять все ничтожество пигмеев, позоривших родину.

Итак, жить и петь для народа — вот в чем видел он главную цель жизни. И еще об одном, очень важном для него жизненном принципе хочется ему сказать здесь. Он никогда не действовал по чьей-либо указке, ни от кого не зависел — ни от друзей, ни от

богачей, ни от власть имущих; никогда не гнался он за деньгами, должностями и отличиями, всегда был бескорыстен, неподкупен.

Только одного человека знал он, от которого не ушел бы, даже встань он у власти. «Этот человек Манюэль, которому Франция должна еще поставить памятник…»

Отложив перо, Беранже надолго задумывается. Манюэль встает, как живой, перед ним. Необходимо сказать о своем друге здесь, в этой прощальной беседе с публикой. Манюэль верил в народ. «Счастье Франции было его постоянной заботой». О, если бы Манюэль, а не другие, которые именовали себя политическими его друзьями, принял бы участие в новом правительстве! Все тогда, как кажется Беранже, все могло бы пойти по-иному. И в страницах предисловия, посвященных памяти «преданного друга и самоотверженного гражданина», слышится упрек тем людям, от которых Беранже хочет уйти, с которыми ему не по дороге…

Несколько слов надо оказать в защиту песен молодости, «книги, далекой от намерения служить воспитанию молодых девиц».

Он откидывается на спинку стула, и на лице его вспыхивает озорная улыбка прежнего «брата Весельчака». Да, шаловливые и резвые детишки его молодости еще погуляют по свету и потешат французов. Он не отрекается от них.

«Я только скажу, если не в защиту, то в извинение, что эти песни, безумные вдохновения молодости и ее возвращений, были полезными товарищами суровым припевам и политическим куплетам», — пишет Беранже.

«…Большое разнообразие моих сборников сыграло немалую роль в успехе моих политических песен».

Борьба против дряхлой монархии Бурбонов завершилась победой.

«Я не требовал почестей во время победы: мое мужество исчезает при возгласах, издаваемых ею. Мне думается, что поражение больше подходило бы моему характеру! Но сегодня я осмеливаюсь требовать своей части в победе 1830 года — победе, которую я сумел воспеть лишь много позднее, перед могилами граждан, которым мы ею обязаны».

Поэт-песенник сделал свое дело, но это вовсе не значит, что он претендует на длительную славу. «Я всегда думал, что мое имя не переживет меня и что моя слава померкнет тем быстрее, чем ее по необходимости преувеличивали в интересах партии, которая ее использовала».

Нет, нет, он не хочет славословий льстивых панегириков…

«Моя жизнь поэта принесла пользу, и в этом мое утешение.

Нужен был человек, который говорил бы с народом языком понятным и любимым и оставил бы своих последователей, создающих новые вариации того же текста.

Этим человеком был я».

Некоторые упрекают его, будто он «извратил жанр песни», сделав ее более возвышенной, чем песни Колле, Панара и Дезожье. «Было бы глупо это оспаривать, так как в этом, по-моему, и кроется причина моих успехов», — пишет Беранже.

Действительно, он поднял, развил, усовершенствовал и расширил жанр песни. И на это вдохновил его народ. Народ ждал не одних только веселых, развлекательных песенок, «…народ хотел, чтоб о его разочарованиях и надеждах говорили степенно и сурово. Он привык к этому возвышенному стилю благодаря бессмертной «Марсельезе», которой никогда не забудут, что и показала великая неделя».

Песенник обращается к молодым и великим поэтам. (Ну, конечно, он прежде всего имеет в виду Виктора Гюго и других прославленных поэтов-романтиков, хотя и не называет имен.) Он советует им не пренебрегать таким жанром, как народная песня.

«Мы на этом деле выиграли бы, и смею сказать, что и им полезно спуститься подчас с высот нашего старого Пинда, который, пожалуй, слишком аристократичен для нашего доброго французского языка. Им следовало бы, без сомнения, отучиться от высокопарности, но взамен этого они приучились бы выражать свои мысли в небольших произведениях, разнообразных по форме, которые легко воспринимаются врожденным инстинктом народа, даже если от него и ускользают некоторые удачные мелочи. Это и значит, по моему мнению, доводить поэзию до масс».

Пусть прислушаются горделивые романтики во главе со своим вождем к советам старого песенника. Пусть не забывают они, что «отныне работа над художественным словом должна вестись ради народа».

Думать о народе, писать для него призывает писателей Беранже.

«Приблизьте же к его мужественной природе и ваши темы и их изложение. Он не просит у вас ни отвлеченных идей, ни символов — дайте ему обнаженное человеческое сердце. Мне кажется, что Шекспир сумел удачно выполнить это условие». (Романтики клянутся и божатся Шекспиром. Пусть же учатся у своего божества, как следует говорить с народом!)

«Следуя укоренившейся привычке, мы судим о народе еще с предубеждением. Он представляется нам грубой толпой, неспособной еще к возвышенным, благородным и нежным

ощущениям». Да, да, многие господа поэты брезгливо отдаляются от черни, настраивая свою лиру для избранных. Глупцы! Они обкрадывают сами себя, думает Беранже и решительно пишет:

«Если есть еще в мире поэзия, то я не сомневаюсь, что ее надо искать в народе. Пусть попробуют это сделать. Однако для того, чтобы достигнуть результатов, надо изучить народ…

Посмотрите на наших художников, изображают ли они простой народ даже в исторических своих картинах? Они ограничиваются тем, что считают его отвратительным. Но разве народ не может сказать тем, кому он представляется таким:

«Не моя вина, что я одет в жалкие лохмотья, что мои черты искажены нищетой, а иногда и пороком. Но в этих истощенных и истомленных чертах сверкает воодушевление мужества и свободы. Под этими отрепьями течет кровь, которую я проливал при первом призыве отечества. Когда моя душа объята пламенем, тогда я становлюсь прекрасен».

В памяти встают добровольцы 1792 года, шагающие по пыльным дорогам с «Марсельезой» на устах, и рядом защитники июльских баррикад, с которыми беседовал он в ночные часы, возвращаясь с шумного собрания…

«Молодежь, я надеюсь, простит мои размышления, которые я отваживаюсь высказывать только ради нее».

Заканчивая свое предисловие-исповедь, Беранже зовет молодежь к дерзаниям, к открытиям. Только пусть лучше она не увлекается стариной, средневековыми гробницами, а побольше думает о своем веке — веке освобождения — и о будущем. И пусть не забывает старшего поколения. «Оно тоже было богато талантами, и все они в большей или меньшей степени были посвящены борьбе за победу свободы, плоды которой пожинать будете вы…»

Что ж, поэту остается только попрощаться с публикой.

«Я покидаю это поприще в минуты, когда еще могу уйти сам», — с грустной усмешкой пишет он.

Нет, он не собирается замолкнуть навеки. Может быть, он еще будет сочинять стихи, но не для печати. И, вероятно, увлечется воспоминаниями и начнет писать мемуары, «нечто вроде исторического словаря, где под каждым именем, известным в политике или литературе, были бы собраны воспоминания или мнения, которые я позволил бы себе высказать сам или позаимствовать у надлежащих авторитетов».

Таковы его планы на будущее.

Предисловие заканчивается хвалой песенному жанру и званию песенника, которое, как говорит Беранже, «сделало меня ценным для моих сограждан».

* * *

Одновременно с предисловием Беранже заканчивает и прощальную песню для нового сборника. Над ней он начал работу еще раньше, шлифовка стихов требует времени и не терпит спешки.

Название простое и ясное: «Прощайте, песни!» Здесь как будто те же мысли и чувства, что в предисловии, но слов гораздо меньше. Поэзия действует на людей не рассуждениями, не логическими доводами, будь они даже сверхубедительны. И не риторическими фигурами, будь они даже чрезвычайно эффектны. В поэзии собран, слит, сгущен и возогнан сокровенный сок мыслей и чувств, фактов и наблюдений. Этот сок питает поэтический образ, нераздельный с поэтическим словом. И образ этот может стать живее живого.

Герой «Прощайте, песни!» хорошо знаком публике. Это веселый бедняк, поэт, внук портного, к колыбели которого некогда слетела фея. Ее предсказания исполнились. Он «двадцать лет пропел под шум ветров» и сейчас снова слышит голос феи.

«Взгляни, мой друг, зима уж наступила».

Не слышно смеха прежних друзей, и Лизетты уже нет с поэтом.

«Прощайте, песни! Старость у дверей.
Умолкла птица. Прогремел Борей», —

печально и решительно твердят строки рефрена.

Но пусть поэт даже замолкнет, от него никто не отнимет того, что сделано, главного в его жизни, оно с ним навсегда. И это главное он, как лучший свой дар, передаст молодым борцам и поэтам. О том и поет ему фея:

«Ты пел для масс — нет жребия чудесней!
Поэта долг исполнен до конца.
Ты волновал, сливая стих свой с песней,
Всех бедняков немудрые сердца.
Ты стрелы рифм умел острить, как жало,
Чтоб ими королей разить в упор.
Ты — тот победоносный запевала,
Которому народный вторил хор.

Чуть из дворца перуны прогремели,
Винтовки тронный усмирили пыл.
Твоей ведь Музой взорван порох был
Для ржавых пуль, что в бархате засели».

Беранже надеется, что строки эти отзовутся во многих сердцах и, может быть, не в одном поколении… Он не ошибается. Они зазвучат не только на его родине.

В России этими строками будет восхищаться Виссарион Белинский: «…чудо что такое! Какая грусть, какое благородное сознание своего достоинства!» — скажет он о «Прощальной песне» Беранже.

* * *

Сборник вышел. В нем и последние боевые песни времен Реставрации, и грустные песни о бедняках, и хвала героям июльских баррикад, и слава благородным безумцам, освещающим пути человечества. В нем и прощание автора с песнями и публикой. Книга, в которой запечатлены и вершины его жизни и годы перелома, новых поисков и сомнений.

В печати тотчас же начинают появляться отклики. Сент-Бёв еще до выхода новой книги Беранже задумал и написал большую статью о нем. Готовя материалы, он упрашивал песенника рассказать ему о своей жизни.

— Как! Вы хотите, чтоб я дал вам сеанс, как говорят художники? — удивлялся Беранже. — Мое дорогое дитя, вы плохо меня знаете, вы не представляете себе, сколько во мне смешной восприимчивости, как я боюсь всего, в чем проявляется желание привлечь к себе внимание общества; как мне тяжело выставляться напоказ перед публикой и как мне хочется сейчас скрыться с ее глаз.

И все же критик добился своего. Беранже сожалел и каялся, что удовлетворил его «коварные ожидания» и выложил ему всю свою биографию.

«До чего же мы стареем, если наше самолюбие и льстивые речи других так легко оставляют нас в дураках: «Вороне где-то бог…» и так далее и так далее! Но сыр, который вы унесли, довольно-таки прогорклый сыр. И по зрелом размышлении я прошу не давать от него ни крошки публике!»

Когда Сент-Бёв показал ему наброски статьи, Беранже попросил вычеркнуть некоторые биографические подробности.

Пусть публика знает его песни, а на что ей он сам?

Статья-портрет появилась в конце 1832 года (Беранже уговаривал Сент-Бёва как можно больше оттянуть ее появление).

А теперь тот же Сент-Бёв посвятил статью новому сборнику Беранже. На этот раз без предварительных «сеансов». 7 марта 1833 года Беранже прислали номер «Насьоналя».

Неужели верно все, что говорит Сент-Бёв о его стихах? Неужели действительно на песенника упадет луч славы?

«Я верю этому благодаря вам, — пишет Беранже в коротком прочувствованном письме Сент-Бёву. — А если завтра я усомнюсь, то снова перечитаю вас…»

Благодарит он и Трела, главного редактора «Патриота», за благожелательную статью о сборнике.

«Если похвалы преувеличены, то я понимаю, что обязан этим симпатии, вызываемой общностью наших чувств, и еще более горжусь ими».

Издатель Лавока спрашивает поэта о планах на будущее. Нет ли у Беранже еще чего-нибудь готового для печати?

«Не скрою от вас, что, если бы мне и удалось написать что-то стоящее, я не торопился бы с печатанием. Публика и без того уже достаточно оглушена моим именем», — отвечает Беранже.

Довольно. Пора выполнить давнее свое решение и распрощаться с Парижем. Уйти на отдых.

# РАЗДУМЬЯ В ЛЕСНОЙ ГЛУШИ

Он идет по лесной дороге и медленно вдыхает горьковатые, пьянящие запахи весны. Живительный дух молодой листвы и сырой глуховатый запах прошлогоднего пожухлого листа. Запах земли и мха, первых цветов и диких трав.

Фонтенебло! Приют отрадный!
Как рад я с Музою моей
Бродить в тени твоей прохладной,
В запретных парках королей!

После Июльской революции леса и парки Фонтенебло открылись для всех. Беранже в 1835 году перебрался сюда на жительство из Пасси, чтобы быть еще ближе к природе, еще дальше от столичной суеты. Снял маленький домик и каждый день, если здоровье не препятствует ему, совершает далекие прогулки. Он подружился с этим лесом, поверяет ему думы, воспоминания, печали. И лес понимает его, откликается тихим шумом, посвистом птиц…

В кармане у него припасена краюшка хлеба. Здесь на полянке можно устроить привал. Пернатые друзья живо слетаются на звук нехитрой дудочки, которую он смастерил из тростника.

Малиновки и коноплянки,
Дрозды, щеглы и снегири,
И жаворонок, друг зари,
Певучей уступив приманке,
Мой дар за песни — сухари —
Клевали на лесной полянке.
Налетели,
Загалдели,
Засвистели,
Льются трели,
Трели,
Трели.

А теперь он не торопясь побеседует с важным черным дроздом. Может быть, дрозд ответит ему, почему птицы так боятся людей? Ах, люди — деспоты? Люди вероломны? Да, дрозд, конечно, прав, таких много. Но пусть дрозд поверит, что его

собеседник с дудочкой из тростника совсем не таков.

«Мне общий с вами жребий дан —
Ведь птицы и поэты — братья».

И птицы весело галдят. Вероятно, приветствуют поэта.

А дрозд сквозь гам и кутерьму
Кричит: «Он знает песен тьму,
Он — добрый малый по натуре,
Не худо б крылья дать ему,
Чтоб с нами он парил в лазури».

Молодец дрозд! Понимает толк в людях!

Иногда Беранже кажется, что и впрямь недурно было бы превратиться в этакую вольную птаху, выводить себе трели на полянке. Но и сюда, в лесную тишь, к нему непрестанно несутся людские зовы.

Там, в маленьком домике, где Жюдит, в переднике, засучив рукава, готовит сейчас обед, там на некрашеном деревянном столе лежит пачка писем, на которые ему надо ответить, и пачка газет. И новые книги из Парижа. Газеты он пробует не читать, но от собственных мыслей не спрячешься в самом глухом лесу. Лес только помогает иногда настроить их на более веселый лад. Вот как сейчас, в этот весенний день.

Где она, прежняя его веселость?

Чужда притворства или позы,
До слез она смешила всех.
Теперь умолк беспечный смех…

Шутить он, конечно, не разучился. Всегда может вызвать острым словечком дружный смех за столом. Но это уже совсем не то, что прежде, когда неунывающий бедняк смехом разгонял тревоги, и казалось, сами тучи, сгущавшиеся над его головой, разрывались от этого смеха и солнце выглядывало сквозь них: кто это так хохочет?

Несколько лет назад вместе со старым приятелем времен «Погребка», песенником Бразье, который оказался соседом Беранже в Пасси, они часто вспоминали прежние дни. «То-то жилось!» Так Беранже назвал одну из песенок, навеянных воспоминаниями молодости. Бразье теперь умер. Друзья юности

Вильгем и Антье не заглядывают в глушь Фонтенебло. Некогда.

Одна Жюдит неизменно делит с ним сельское одиночество. У нее все такая же ясная голова и неисчерпаемый запас спокойствия, хотя хлопот, забот и беспокойств по горло. Веди хозяйство да еще ухаживай за старой теткой Мерло, сестрой матери Беранже. Вдова портного, тетушка Мерло осталась без всяких средств к существованию. Беранже с Жюдит приютили ее вместе с целой стаей ее любимиц кошек и перевезли в Фонтенебло. Старушка выжила из ума, капризничает, кошки мяукают. Ничего не скажешь, общество не из веселых…

Но еще больше теткиных причуд удручают Беранже и его подругу письма от Люсьена, которые изредка приходят с острова Бурбон. В письмах этих вечные жалобы на нехватку денег, на работу, на горькую судьбу.

«Не жалуйся на свою жизнь, — отвечает Беранже, — ты сам ее сделал такой». Он не отказывает сыну в помощи, регулярно посылает тысячу франков в год, выкраивая из своих небольших средств, хотя Люсьену — ведь ему уже за тридцать! — давно пора бы встать на собственные ноги. Ни деньги, ни советы не идут ему впрок. До Беранже дошли слухи, что Люсьен женился на местной жительнице острова, негритянке. Теперь он уже окончательно застрянет там… Женился, но не переменился. Наоборот, стал еще ленивее и безалабернее. Говорят, что бросил службу…

Со вздохом Беранже поднимается с пенька. Пора домой. До свиданья, дрозд! Ты еще станешь героем песни. И вы, леса Фонтенебло, хотя вы и не нуждаетесь в прославлении. И без того хороши. Но как знать? Бывает, что песни долговечнее самых мощных дубов и вязов. Дубы отживут, а песни все еще звучат, Ждет ли такая же судьба и его песни? Или их скоро забудут, как и его самого?

* * *

Пока что его все же не забывают. Томики песен его успешно переиздаются. Иллюстрирует их художник Гранвиль. Мастер острой политической карикатуры, прославившийся шаржами на Луи Филиппа и на других деятелей Июльской монархии, художник-анималист, остроумный интерпретатор басен Лафонтена, Гранвиль превосходно передает в рисунках дух песен Беранже.

«Я до того горжусь, что вы комментируете меня, что рискую предпочесть комментарий тексту, — пишет Беранже Гранвилю. — Часто вы обнаруживаете бесподобную идею и в такой песне,

которую я сам считаю одной из худших… Но естественно, что человек, придавший столько разума животным, прибавляет его и моим произведениям. Я счастлив был бы объяснить это сродством наших мыслей и чувств…»

Да, песни его еще не забыты, не забыт и автор. Поэты, академики, политики, принцы и нищие обращаются к Беранже — кто с просьбами, кто за советами, кто с призывами, кто с укорами.

В 1833 году, когда он жил в Пасси, пришло большое любезное письмо из Лондона от Люсьена Бонапарта. Принц Канино просил Беранже высказать свое мнение насчет политической обстановки во Франции (не говоря о том прямо, хотел поразведать, насколько высоко котируются после июля династические акции изгнанного семейства Бонапартов).

«Было время, когда молодежь и старики прибегали к моим советам. Я гордился этим, но в конце концов меня стали третировать как бестолкового болтуна, и я закрыл свой кабинет для консультаций, — отвечал тогда Беранже, подчеркивая, что ему не по пути с нынешними властителями и деятелями. Однако он дал понять мосье Люсьену, что чаяния бонапартистов не имеют сейчас реальной почвы, и предсказал, что для нынешнего «переходного состояния» от конституционной монархии к республике понадобится период, равный по времени эпохе Реставрации.

«Если бы республиканская партия не наделала ошибок, которые, конечно, были неизбежны в ее положении, то мы, быть может, были бы уже теперь близки к развязке», — писал Беранже. Пусть знает брат покойного императора, что Франция — и Беранже вместе с ней — стремится к республике. Но песеннику казалось тогда — да и теперь кажется, — что республиканская партия «не знает как следует новую Францию». Через шесть лет после Июльской революции республиканцы представляются ему все теми же оторванными от масс одиночками — «карбонариями», какими они были в двадцатые годы. Но характер движения меняется. Все больше рабочих входит в республиканские организации. Старый поэт не видит этого, скрывшись в сельской глуши. И левые республиканцы в обиде на него: почему перестал он помогать им своими песнями, почему перестал откликаться на кипящую злобу дня, воодушевлять французов к новым боям за свободу?

Да и самому Беранже грустно и тяжко оставаться в стороне, в одиночестве, теша себя надеждами, что французы все же как-нибудь переберутся по шаткой доске Июльской монархии к республике будущего.

И песнями своими он недоволен, многие из них не станет

публиковать.

Может быть, это одиночество, недовольство, грызущие вопросы, на которые он не может найти ответа, и лишили его прежней веселости?

* * *

Нет, политических советов он больше не хочет давать и старые связи свои с «кормчими» Июльской монархии использует теперь лишь для того, чтоб облегчить судьбы людей, нуждающихся в помощи. Из Пасси в 1834 году он взывал к Гизо, занимавшему тогда пост министра просвещения, просил оказать помощь семье покойного песенника Эмиля Дебро (песни Дебро уже изданы стараниями Беранже, но семья продолжает бедствовать). Так же потом будет просить Беранже очередного министра о стипендии бедствующему внуку Дезожье, о месте для какого-нибудь обнищавшего литератора, об облегчении судеб инсургентов, участников восстаний тридцатых годов, осужденных Июльской монархией… Просить за других ему не трудно и не совестно. Лишь для себя он никогда ничего не станет просить у власть имущих.

Как и прежде, он отвергает чины и звания, почести и отличия. Кажется, всем это должно быть известно после его неоднократных отказов в песнях и письмах, думает Беранже. Но нет, его все еще стараются «возвысить», «облагодетельствовать» — теперь уже, правда, не политическими постами. Июльская монархия хочет приобщить его к сонму «бессмертных». В 1835 году поэт-академик Лебрен настойчиво предлагал Беранже выставить свою кандидатуру на выборы в академию. Нет, нет и нет, отвечал Беранже. Он уже отказался от этой чести в 1829 году, когда за вступление его в ряды «бессмертных» ратовал Шатобриан. Он отказывается от нее и после июля.

В среде «бессмертных», увы, едва ли что-нибудь переменилось после революции. Те же торжественные церемонии, шитые золотом мундиры со шпагой на боку. И те же интриги, та же боязнь нового, свежего, смелого, выходящего за привычные рамки. Происки академиков ускорили в свое время кончину Бенжамена Констана (незадолго до своей смерти в 1829 году Констан был забаллотирован на выборах, и огорчение усилило его болезнь). А теперь «бессмертные» отвергают Гюго, который хочет вступить в их ряды и, конечно, заслуживает этого.

Одна мысль о том, что он должен будет облечься в форменный мундир и слушать — нет, еще того хуже, сам

произносить — официальные речи перед скопищем важных, скучающих лиц, вгоняет Беранже в холодный пот. Нет. Песня не нуждается в академическом кресле.

«…По причинам, которые очень долго излагать, я не считаю нужным делать академическим этот маленький жанр, который перестанет служить оппозиции с того дня, как только превратится в средство самовозвышения», — писал Беранже в ответ Лебрену (21 января 1835 года).

«…Вы снова скажете мне, — хорошо знаю это, — то, что уже говорили не раз: обязанности, которые налагает академия, нисколько не обременительны, — и сошлетесь на Лафонтена. Что мне ответить? Лафонтен был человек добродушный, а я человек самолюбивый и, к несчастью, вовсе не добродушный… я не привык смягчать свой нрав, и я вам признаюсь, что иногда он не очень рассудителен и не очень приятен… Я стараюсь отдалиться от тех друзей, кого судьба вознесла очень высоко… Это поведение, мой друг, соответствует моим правилам, которые я составил очень давно: люди, которые много страдали, обязаны быть мудрыми».

Решительный отказ, сопровождаемый краткой и меткой самохарактеристикой. Пусть не ждут от него и в старости приятных, всепримиряющих улыбочек и всяческого официального благолепия. Он остается таким же, каким был, независимым и колючим. И он продолжает быть поэтом оппозиции и во времена Июльской монархии.

* * *

И без академического кресла и без официальных речей он будет служить Франции и литературе. И не только своими песнями. Он поможет стать на ноги, опериться, запеть собственным голосом новому поколению поэтов, своих преемников и продолжателей. Если политические советы Беранже теперь воздерживается давать, то советы литературные тем, кто обращается к нему, дает охотно, щедро, вдумчиво.

К творческим его советам прибегают и видные писатели — Сент-Бёв, Мериме — и безвестные начинающие поэты, среди них немало рабочих, ремесленников — это особенно радует Беранже.

В вопросах мастерства он строг, взыскателен и верен своим принципам: правдивость, ясность, точность в употреблении слова, ненависть ко всяческой позе и аффектации.

Он требует от молодых песенников тщательной работы над рифмой, над рефреном. «Пусть песню до сих пор считают

незначительным жанром, но это не может, не должно служить для поэта поводом к небрежности в работе над ним», — пишет Беранже в 1837 году поэту-башмачнику Тампуччи.

Обращаются к Беранже за советами и женщины-литераторы. В письмах к ним он не делает скидок на «нежный пол», не строит любезных мин, а беседует так же строго, просто и прямо.

Госпожа Элиза Франк, одна из усердных корреспонденток Беранже, начала переписку с общих вопросов о ремесле писателя и вместе с тем прислала свои стихотворные опыты.

«Подумайте, хватит ли у вас мужества пойти по этому пути, — пишет ей Беранже, предупреждая о трудностях, которые ждут того, кто хочет стать писателем. — Я знал одну даму, которая восхитительно говорила и недурно писала. Она тоже обратилась ко мне за советом. Я ответил, что лучше делать незаметные стежки, чем писать незаметные произведения. Она мне поверила и радуется теперь, хотя и видит, что Жорж Санд стяжала себе славу и богатство».

Писать заметные произведения, однако, вовсе не значит оглушать читателя словесными эффектами, трюками, ослеплять его блеском мишуры. Беранже не терпит трескучести и модничанья.

В стихотворении «Тамбурмажор», посвященном молодому критику, он пишет:

О гром стихов высокопарных!
Как ты противен мне и дик!
Толпа новаторов бездарных
Совсем испортит наш язык;
Собьет нас с толку фраз рутина,
И будут впредь, к стыду страны,
Для Лафонтена и Расина
Нам переводчики нужны.
На музу глядя, я краснею!
Она теряет всякий стыд
И давит формою идею,
Приняв отменно важный вид;
Не скажет «страсти», а «вулканы»,
Не «заговор», а «грозный риф»!
Ее герои — истуканы,
И вся их слава — дутый миф…

Не блистающий галунами «тамбурмажор» решает судьбы боя, а полководец в простом походном сюртуке. Истинным героем поэзии, как и битвы, всегда должна быть мысль.

…Она
Без фраз, без блесток и колечек
В вожде и авторе видна!
Она теряет от убора.
И дело критики — следить,
Чтоб в галуны тамбурмажора
Не смели гения рядить.

Беранже казалось, что не только толпа модничающих подражателей, но и действительно гениальные поэты романтического направления в своей драматургии и поэзии порой чересчур увлекаются внешним блеском в ущерб мысли.

Новый сборник стихов Гюго «Песни сумерек» вызвал одобрение Беранже, потому что в нем ясно зазвучала тема социальная, современная, поэт заговорил о страданиях бедняков.

«Направление, которое избрал Гюго, мне кажется, больше соответствует его духу, чем вы предполагаете, — пишет Беранже Сент-Бёву (7 декабря 1835 года). — Он — великий поэт, ищущий всюду поэзию; и чтобы выполнить свое жизненное назначение перед обществом, он берет ее там, где находит. Он ее находит во дворце, в церкви, а теперь встретил на улице. Почему поэт не может пойти туда? Может быть, там он найдет ту сердечную нежность, которой, по-моему, ему недоставало».

Пристально следит Беранже за шагами французской литературы.

В 1835 году он прочел первую часть нового романа Бальзака «Отец Горио» и хочет скорей достать продолжение. «Прошу вас, вылезьте из кожи, но достаньте его мне», — просит он госпожу Лемер, одну из своих литературных приятельниц.

«С какой проницательностью он наблюдает и сколько естественности в его характерах!» — говорит Беранже о Бальзаке. Особенно восхищает его трезвый и острый ум одного из героев романа — беглого каторжника Вотрена.

«Будь такой человек министром, он восстановил бы благополучие Франции… Луи Филипп должен был послать за ним в острог, если он там еще сидит, в чем я сомневаюсь. Но согласится ли он — вот вопрос, — иронизирует Беранже, — ведь он имеет право быть несговорчивым, особенно относительно выбора своих коллег».

## «О, КАК ЧВАНЛИВЫ, КАК ЖИРНЫ…»

Леса Фонтенебло прекрасны, но и здесь Беранже не находит успокоения. К тому же и климат сыроват, и Париж все-таки слишком близок. Может быть, уехать еще дальше, куда-нибудь к югу?

Окончательно выжившую из ума тетушку Мерло после долгих хлопот удалось устроить в больницу для престарелых. Теперь можно сняться с места. И Беранже вместе с Жюдит переселяется в 1837 году в окрестности Тура. Вокруг маленького домика — сад. Здесь можно разводить розы. Беранже выписывает лучшие сорта, усердно ухаживает за молодыми кустами, воспевает свои цветы в стихах.

Занятий много, и все привлекательные. Замыслов полно — он пишет стихи, заканчивает автобиографию, работает над словарем выдающихся современников. Впрочем, этот его труд так и не увидит свет. Беранже не закончил словарь и даже уничтожил впоследствии наброски к нему. Может быть, не захотел выступать в роли судьи своих современников. Может быть, правдивые характеристики их получились слишком трезвыми и резкими… Словом, замысел не превратился в реальность, к сожалению потомков.

Розы благоухают. Южное небо приветливо. Дни поэта не проходят даром. Но все-таки спокойствия духа, которое, надеялся он, придет к нему, наконец, вдали от столичной суеты, так и нет. И прежняя веселость не возрождается. Трудно смириться с участью мудреца-одиночки, старого ворчуна-скептика тому, кто был когда-то застрельщиком, запевалой…

Издали доносятся до него отзвуки парижского восстания 1839 года. Левые республиканцы действуют. Но он не верит в успех движения и не присоединяется к нему. Он все еще мечтает о мирных преобразованиях, без крови, без жертв.

«Ничто во Франции, благодарение богу, не утвердится теперь кровью», — пишет он своему другу, утопическому социалисту Ламенне. Он сожалеет о «юных безумцах», обреченных на поражение. «Один из них, которого я знаю лишь понаслышке, — это Бланки, человек высоких качеств, как мне говорили, — пишет Беранже тому же Ламенне. — Какая у него роль в этой авангардной стычке? Если вы когда-нибудь услышите о нем, поделитесь со мной новостями. Меня интересует этот мужественный фанатик: в наше время это редкая разновидность».

Человек, готовый пожертвовать собой ради идеи, ради общества, разве это не самая высокая из людских

«разновидностей»? Разве не близок Бланки к тем «безумцам», которых воспел Беранже?

И особенно выделяются такие «безумцы» на общем фоне буржуазной Июльской монархии, царства «золотой середины», царства биржевых сделок и всеобщей продажности.

Да, рыцари идеи привлекают и восхищают Беранже, несмотря на все его опасения перед возможностью кровавой революции. И, сожалея «безумцев», он снова поет им хвалу в стихотворении «Идея».

Я погибал, в бездействии слабея,
Под гнетом зол дыша едва-едва,
Я погибал — и вдруг — вон там — Идея,
Идея, да! ханжи и буржуа!

Идея — такая хрупкая на вид (она предстает перед поэтом в виде прекрасной девушки с матово-бледным лицом) и такая бесстрашная и всепобеждающая.

Ни сыщики и прокуроры, ни жандармы, ни тюрьмы, ни наведенные пушки, ни проклятия святых отцов не устрашат ее, не иссушат, не убьют.

Пускай ликуют! Доблестней, смелее,
Могилы павших лавром осени,
С их знаменем ты полетишь, Идея,
В сиянье наступающего дня.

* * *

Восстание 1839 года подавлено. Рыцари идеи засажены на долгие годы за решетку. Торжествуют рыцари биржи.

Беранже следит по газетам за очередными словопрениями в палате депутатов по вопросу о избирательной реформе. Кто победит в очередной парламентской битве? Кто? Конечно, и здесь побеждают герои биржи, держатели акций. Они добились повышения имущественного ценза для избирателей. Выбирать и управлять во Франции могут только толстосумы…

Защитив голову от южного солнца широкополой шляпой, натянув на руки перчатки, Беранже обирает улиток с кустов роз в своем саду. Сколько их прилепилось здесь, скользких, жирных, омерзительных! Устроились с удобствами на молодых побегах и чванятся одна перед другой. И в окрестных виноградниках их

полным-полно.

Кого напоминают они поэту? Почему при виде их отвращение и гнев растут в его груди, подступают к горлу? Ну да. Ведь точно такие же чувства вызывают в нем тупые, жирные и важные владельцы состояний, акций, домов, рудников, земель — нынешние «хозяева» Франции.

Вот эта — очень уж жирна —
Мне крикнуть хочет: «Друг сердечный,
Проваливай скорей!» (Она —
Домовладелица, конечно!)
О, как чванливы, как жирны
Вы, слизняки моей страны!

Все они живут на чужой счет и безжалостно уродуют лучшее в мире, слюнявят виноград и розы, на которых угнездились. Что улиткам до красот природы? Что им до красоты и величия людского ума?

«Как, жить процентами ума,
Когда имеешь дом доходный?»
Улитка не сошла с ума.
Иди-ка прочь, бедняк голодный!
О, как чванливы, как жирны
Вы, слизняки моей страны!
Улитки — что ни говори —
Сзывают съезды по палатам,
И эта вот (держу пари!)
От правых будет депутатом.
О, как чванливы, как жирны
Вы, слизняки моей страны!

В другом стихотворении, «Черви», написанном позже (в 1842 году), ненависть к буржуазии звучит еще резче и общий тон еще мрачнее. Поэт признается самому себе в полном крушении своих надежд на строй, рожденный Июльской революцией. Двенадцать лет призывал он лелеять и растить посевы Июля, и вот теперь перед ним горькие, ядовитые плоды. Их подточили черви, пробравшиеся в завязь цветка. «Тихие глухие слуги смерти», черви пытаются теперь подточить самые корни дерева Франции. Пусть, подгнившее, оно рухнет на землю, замышляют они,

«А у подножия разверзнется пучина,

Что роем мы тебе, о дремлющий народ!»

Как далеки эти горькие прозрения от прежних «третьесословных» иллюзий Беранже! Буржуазные слизняки, паразитирующие на розах Франции, мерзкие черви, подтачивающие дерево родины, враждебны народу, он не сомневается в этом.

Стихотворение «Черви» не будет издано при жизни Беранже, оно увидит свет лишь в 1860 году, в приложении к третьему изданию его «Автобиографии».

# ФЕЯ РИФМ

Молодой парижский башмачник Савиньен Лапуант работал в глубине садика, примыкавшего к его лачуге на улице Нев-Кокенар; работал и напевал в такт легкому постукиванию молотка. Воробьи отзывались чириканьем. Песенка складывалась слово за словом.

Он и не заметил, как кто-то подошел к калитке.

— Здесь живет мосье Лапуант?

Как был, в фартуке, Лапуант поспешил навстречу неожиданному посетителю. У калитки стоял невысокий старик с обнаженной головой.

— Да, это я, мосье Беранже! — радостно воскликнул Лапуант и бросился в открытые объятия старика.

— Значит, вы меня знаете, сынок?

— Нет, но я сразу угадал, кто вы!

— Ну вот, я пришел сказать вам, что вы настоящий поэт.

Прочитав в газете «Ревю Эндепендан» поэму Лапуанта «Труд», Беранже решил лично поздравить автора и познакомиться с ним.

Да, старый песенник снова бродит по Парижу, «то ради Пьера, то ради Поля», как говорит он сам.

Распрощавшись с южным небом и покинув свой розарий, он переселился в 1841 году поближе к столице: сначала в Фонтене-су-Ле Буа, а потом на старое место — в Пасси. Стосковался вдали от друзей. Письма — это все же не то, что живое общенье. А в Париже еще осталось несколько старых приятелей и есть молодые друзья-поэты, которым он может пригодиться.

— Приходите ко мне обязательно, — говорит он Лапуанту. — Я дам вам словарь синонимов. Всю жизнь я советовался с ним!

Лапуант не оттягивает ответного визита. Летит в Пасси как на крыльях. Еще бы! Говорить с самим Беранже, слушать его советы — и это не во сне, а наяву!..

И вот они сидят в строгой и чистой комнате Беранже. Все здесь просто и скромно. Ничего лишнего. Старенький, вероятно, еще отцовский секретер, узкая железная кровать с зелеными перкалевыми занавесками, вольтеровское кресло у камина и несколько стульев. Никаких украшений. Только бронзовый медальон на стене с изображением Манюэля во весь рост.

Беранже во время разговора поднимается с кресла и становится спиной к окну, внимательно наблюдая за выражением лица собеседника.

— Э, да вы, кажется, подремываете, сударь! Не желаете слушать?

Он не дает своим ученикам спуску, не терпит небрежности — ни в стихах, ни в беседах о мастерстве.

— Если задумали стать поэтом, так не жалейте сил. Сочинение стихов — это изнурительная работа. — Да, да, он знает это на собственном опыте! — А песня — это самый трудоемкий жанр.

Скольким молодым поэтам из рабочих предместий Парижа и других городов помог он своими бесценными советами! Он и ободрял своих учеников и строго журил. Не довольствоваться скороспелками, не хвататься за первое попавшееся слово. Искать, поворачивать, раздумывать, шлифовать.

Он продвигал в печать их первые удачные опыты, составлял сборники, писал к ним напутственные слова. Он поддерживал нуждающихся.

— Я узнал, что у вас не заплачено за квартиру. Внесите скорее, — протягивает он Лапуанту деньги. Это не подачка, а помощь друга. Беранже сам, бывало, нуждался в такой помощи, прибегал к ней и не считал это зазорным.

Как радовался он, что на глазах его из самой гущи народа поднимаются и выглядывают на свет живые ростки поэзии! Поэтов рабочих и ремесленников становится во Франции все больше. Типографы и башмачники, каменщики и булочники, ювелиры и ткачи сочиняют стихи, поэмы, песни.

Фея рифм, властительница песен, пленяет юных мечтателей, и они готовы пожертвовать для нее всем. Беранже знает, как велика власть этой феи.

Как богачи ей жадно смотрят в очи!
Но, их минуя, предпочтет она
Скупой огонь в простой семье рабочей,
Где песнь ее, как хлеб и соль, нужна.

Поэт призывает фею внести радость и надежды в сердца и хижины бедняков, в угрюмые мастерские и фабричные цехи. И пусть при появлении феи рифм обитатели подвалов, чердаков и хижин, люди труда вспомнят имя старого песенника:

Ведь это он привел ее в наш дом —
Певец вина и юности нестрогой.

Еще подростками, оборванными гаменами, будущие поэты слышали песни Беранже, подхватывали их из уст старших. Они подражали ему, учились у него, когда впервые пробовали взяться

за перо. Они считали его своим отцом.

О Беранже, наш предводитель древний!
Мы каждою строкой ему должны, —

писал Пьер Дюпон, выражая чувства своих собратьев по классу и перу. Среди них были люди большого поэтического дарования.

В тюрьме Ла Форс Беранже получил от юного наборщика Эжезиппа Моро первые его стихотворные опыты. Потом Моро вырос в настоящего поэта. Четырнадцатилетний сын ткача Эжен Потье через год после Июльской революции составил первый сборник своих стихов «Юная муза» и посвятил его Беранже. Ласковое, ободряющее письмо, которым откликнулся ему старый поэт, Потье будет хранить всю жизнь и включит через сорок лет в свою «Автобиографию».

Все новые песенные голоса неслись из предместий Парижа и других городов Франции. Запевалы рабочих гогетт, дети мастеровых и рабочих были разбужены и призваны в литературу непрекращающимися взрывами республиканских восстаний тридцатых годов. Многие из них сами сражались на баррикадах.

Судьбы их были различны. Одних скосили нужда и болезни. Другие перешли в стан певцов примирения, утратив свой прежний пыл и голос. Но были среди них и такие, чьи голоса окрепли в испытаниях. Эжен Потье станет участником Парижской коммуны и, поднявшись на новой волне революции к новым вершинам, создаст бессмертный пролетарский гимн «Интернационал».

Поэты-рабочие, присоединившиеся в тридцатые годы к борьбе левых республиканцев, горько переживали молчание Беранже, отход его от политических битв. Эжезипп Моро в 1835 году обратился к нему с укоряющей песней. Почему молчит он в те дни, когда монархия расправляется с участниками восстаний?

Но большинство творцов ранней пролетарской поэзии разделяло утопические мечты Беранже той поры. Многие поэты-рабочие были членами сен-симонистских песенных обществ и складывали хвалебные стихи в честь автора «Безумцев».

А Беранже, уже понявший к началу сороковых годов, что надежды его на «спасительный мост» Июльской монархии потерпели крушение, все же еще не решался звать своих молодых последователей к политической борьбе. Воспев борцов за идею, внутренне присоединившись к ним, он еще не отваживался тогда расстаться с мечтой о возможности преобразования общества без кровавых распрей и междоусобиц, мирным путем просвещения и

реформ.

* * *

Нести искусство рабочим — этой цели посвятил всю жизнь один из любимых друзей юности Беранже, композитор и педагог Гийоме Бокийон. Да, да, тот самый Вильгем, который одалживал когда-то брату Весельчаку для выхода свои «парадные штаны».

Вильгем никогда не гнался за славой. Имя его не красовалось на крикливых афишах. Но он доволен прожитой жизнью и имеет право гордиться ею. Он создал свой метод, с помощью которого обучает пению даже немых. Преподает в школе, организовал хоровые кружки в мастерских, и ученики его, члены общества «Орфеон», выступают иногда в концертах.

Мой старый друг, достиг ты цели:
Народу подарил напев —
И вот рабочие запели,
Мудреным ладом овладев.
Твой жезл волшебный, помогая,
Толпу с искусством породнит:
Им озарится мастерская,
Он и кабак преобразит.

Эти стихи Беранже сложил после одного из концертов общества «Орфеон», который очень порадовал его.

Может быть, именно музыка прежде всего призвана облагородить людские сердца, пролить в них мир, приобщить народ к пониманию высшей красоты, думал старый песенник.

О музыка, родник могучий,
В долину бьющий водопад!
Упоены волной певучей
Рабочий, пахарь и солдат.
Объединить концертом стройным
Земную рознь тебе дано.
Звучи! В сердцах нет места войнам,
Коль голоса слились в одно.

Несколько месяцев спустя после того концерта Вильгем умер.

«…Умер шестидесяти лет, в бедности, совершенно изнуренный, с постоянной мечтой о распространении своего

метода, плода двадцатидвухлетней работы. Власти города и департамента, преподаватели его школы, ученики провожали его гроб до кладбища, где ему были оказаны почести, которых он мог ожидать при жизни», — напишет Беранже в примечании к песне, посвященной Вильгему.

Редеет круг старых друзей Беранже. Вскоре вслед за Вильгемом умер типограф Лене в Перонне.

Умерла и старая тетушка Мари Виктуар… Из кружка времен «Обители беззаботных» остался один Антье да верная Жюдит, которая всегда рядом со своим другом-песенником.

* * *

Раз в неделю Беранже устраивает большие обеды для друзей. Общество за столом иногда собирается многолюдное. Но в этих трапезах ничего официального, парадного, показного. Ни лакеев, ни пышных туалетов, ни изысканных блюд, ни лицемерных речей. Никакой пыли в глаза. Обитатели домика в Пасси и их гости неподвластны жестким обручам светского этикета, модного жеманства, ходячих предрассудков. Все здесь дышит разумной простотой и свободой.

Хозяйка стола радушна, но без аффектации, полна достоинства, но без чопорности. Она все еще хороша, синеглазая Жюдит, хотя каштановые локоны вдоль ее щек поседели, а стройный стан несколько раздался. Все те же неторопливые, полные грации движения, проницательный взгляд, мелодичный голос, безошибочный вкус (ей очень к лицу черное шелковое платье с белой вставкой в виде «голубиной грудки»).

На столе букет роз и строй бутылок с виноградным вином. Розы и вино — это единственная роскошь, которую признает Беранже. Блюда простые, но обильные и вкусные. Хозяин, подавая пример гостям, ест с аппетитом, быстро.

— Хорошие мысли исходят из хорошего желудка, — весело приговаривает он.

Уж чего-чего, а хороших мыслей и острых слов за этим столом в избытке. Беранже, как всегда, запевала. Может быть, совсем недавно, накануне ночью, его мучили головные боли, невеселые, стариковские мысли долго не давали спокойно уснуть, ох, эти неотвязные мысли — о Франции, о прошлом и будущем цивилизации, о судьбах всего земного шара и о неудачной судьбе родного сына (Люсьен умер на острове Бурбон в 1840 году). Ох, эти ночные горькие мысли, благо что хоть днем, среди друзей, он может отогнать их и хоть на время стать похожим на прежнего

брата Весельчака.

Лапуант рассказывает о своем визите к Гюго. Да, да, пэр Франции (Гюго недавно получил это звание) был очень любезен, сам открыл дверь — «заходите, заходите» — и провел Лапуанта в свой роскошный кабинет.

«Поэты — это короли», — сказал Гюго.

Беранже приподнимает плечи:

— Что же вы ему ответили?

— Ничего. Смолчал.

— А я бы на вашем месте сказал ему: «Мосье, я пришел снять мерку на пару ботинок».

Старому песеннику, как и его герою Тюрлюпену, титул короля совсем не импонирует. То ли дело башмачник или хлебопек! Молодые поэты-рабочие должны гордиться своими профессиями, а не отрекаться от них.

«Несмотря на положение, в которое поставила вас судьба, — писал он Лапуанту, — продолжайте петь, не оставляя ремесла башмачника. Кое-кто порицал рабочих, которые отдаются изучению науки и литературы. Это по недомыслию. Разумеется, понятно, желание подавить маниакальное влечение к литературе, наблюдаемое у некоторых людей, к какому бы состоянию они ни принадлежали, если они способны только на заимствования; но на людях с оригинальным дарованием, выросших в среде рабочих, лежит, как мне кажется, миссия просвещать и подымать этот самый многочисленный из классов. Те песни и книги, которые являются порождением высших слоев, никогда не будут пользоваться в трудящейся среде таким успехом, как голос простого пролетария, вдохновляемого любовью к своим братьям».

Хорошо, когда поэты выходят из рабочих, но плохо, если они, торопясь стать поэтами, сразу же перестают быть рабочими. Беранже останется при этом мнении до конца.

Он не одобряет самонадеянных юнцов, которые бросают работу, стыдятся простого ремесла, возомнив себя «избранниками», и строчат скороспелые вирши в погоне за якобы легкими заработками. Ведь можно ошибиться в себе. Не лучше ли проверить собственные силы, писать не торопясь, не оставляя работы? Он сам так поступал, работал с детства — мальчик в трактире, посыльный, подмастерье в типографии, счетовод, библиотекарь, экспедитор — никакую работу он не считал зазорной и лишь на пятом десятке стал жить на литературные заработки.

«…Мой дорогой поэт, я вас не понимаю: у вас есть работа, и вы ее бросаете? В уме ли вы? У вас во всем недостаток, и вы отбрасываете кусок хлеба, который вам дан! — напишет Беранже

одному молодому поэту из рабочих и с грустью укажет ему на то, что стихи его теряют свою свежесть и убедительность с тех пор, как автор их утратил правильное понимание своего положения. — Молоток и перо расстались, чтобы больше никогда не соединиться. Я сотни раз говорил вам, как много вы потеряете от этого… Когда вы навещаете меня, вы оставляете свою спесь за порогом, но, покидая меня, вы снова садитесь на своего конька, который унес вас к чертям».

## «ТОНИТЕ, МНЕ НЕ ЖАЛЬ!..»

Гости разошлись. Жюдит легла спать. А Беранже уселся за свой старенький секретер. Мурлычет пушистый приятель — кот, ровно светит лампа под зеленым колпаком, призывно белеет стопка чистой бумаги.

Может быть, фея рифм откликнется сегодня на зов поэта? Последнее время она, увы, не так охотно слетает к нему. Что поделаешь — куда как скучны старики… А бывало…

Отдал бы я, чтоб иметь двадцать лет,
Золото Ротшильда, славу Вольтера!
Судит иначе расчетливый свет:
Даже поэтам чужда моя мера.
Люди хотят наживать, наживать…
Мог бы я сам указать для примера
Многих, готовых за деньги отдать
Юности благо и славу Вольтера.

У каждого свой вкус! (Так и названо это стихотворение.) Что же касается его, Беранже, то вкусы, господствующие в верхах Июльской монархии и заражающие все более широкие слои французов, кажутся ему омерзительными. Нажива и всеобщая продажность — что может быть гнуснее?

Юная девушка, такая чистая на вид, и та мечтает выйти за богатого старца.

Золото все омрачает блеском своим всемогущим,
Если так юность мечтает,
Прочь все мечты о грядущем.

Золото. Акции. Биржа. Вот они, кумиры и храмы современности, и год от года служители их все больше наглеют и распоясываются.

Все стало вдруг товаром:
Патенты, клятвы, стиль…

Близ Парижа есть местность, которая называется Бонди. В давние времена там росли и шумели дремучие леса, в которых скрывались разбойничьи шайки. Постепенно леса поредели, и в

пору Июльской монархии Бонди превратилось в место свалки нечистот. Грабеж и смрад — два понятия слились для парижан в слове «Бонди». Этим словом Беранже озаглавил один из самых своих сильных и острых стихотворных памфлетов.

Новые разбойники, «всяких званий господа», роются в свалках дерьма, чтоб добыть там золото: ведь свалки нечистот — прекрасная статья дохода. Никакой грязью, никаким смрадом не побрезгуют они, пойдут на самые гнусные махинации, лишь бы обморочить народ и сколотить состояние.

Живет продажей индульгенций
Всегда сговорчивый прелат.
И ложью проданных сентенций
Морочит судей адвокат.
За идеал свободы
Сражаются глупцы…
А с их костей доходы
Берут себе купцы!

Первым спешит окунуться в эту вонь король. А вслед за ним и все другие, не исключая даже поэтов…

И все — да, все! — в болоте смрадном
Сокровищ ищут… Плачу я!
Но стыд утрачен в мире жадном, —
И скорбь осмеяна моя!

С той же силой и меткостью, с какою молодой Беранже разбил некогда реставрированные цитадели феодальной монархий, старый песенник наносит теперь удары по смрадным оплотам буржуазного владычества. Нет, видно, фея рифм еще не изменила ему!

Напечатать самые острые из новых антибуржуазных песен при жизни ему не доведется. «Бонди», как и написанная раньше песня «Черви», выйдет в свет лишь в 1860 году, в одном из посмертных сборников.

* * *

Беранже видит, чувствует, как сгущается мрак в стране. Пэры-аферисты, министры-спекулянты во главе с королем-банкиром поощряют целую армию стяжателей, покрывают их преступления.

О народе никто не заботится. Промышленность растет, но плоды ее достаются, увы, не беднякам. Рабочие по четырнадцати-пятнадцати часов в сутки гнут спины, обогащая фабрикантов, владельцев рудников, и за изнурительный свой труд получают все те же гроши. В Париже и других городах все чаще вспыхивают забастовки. В Бюзансе крестьянский голодный бунт подавлен штыками и пулями…

А другие страны Европы? А народы Африки, Азии? Все так же стонут они под гнетом черных и белых тиранов. Священный союз королей все еще существует.

Конец терпению народов придет, возвещает Беранже в пророческой песне «Потоп».

Я выполнил священный долг пророка,
О будущем я бога вопросил.
Чтоб покарать земных владык жестоко,
Залить весь мир потопом он решил.
Вот океан, рыча свирепо, вздулся…
«Глядите же!» — кричу князьям земли.
Они в ответ: «Ты бредишь! Ты рехнулся!»
Потонут все бедняжки-короли…

Язвительный смех слышится в короткой строке рефрена. Туда им и дорога, «бедняжкам»! Заслуженного конца не миновать. И он близится.

Вот началось… Дрожат цари Европы,
Спасет союз священный их едва ль.
Все молятся: «Избавь нас от потопа!»
Но бог в ответ: «Тоните, мне не жаль!»

Добрый бог Беранже смотрел когда-то в подзорную трубу на грешную землю и «отмежевывался» от подлости и бесчинств земных владык, умывая руки, прятался к себе в рай: справляйтесь, мол, сами. А вот теперь не выдержал, рассвирепел, обернулся грозным, карающим божеством.

Океан вздувается все выше.

«Пророк, скажи, кто океан сей грозный?»
«То мы — народы… Вечно голодны,
Освободясь, поймем мы, хоть и поздно,
Что короли нам вовсе не нужны».

Предсказание Беранже сбылось.

24 февраля 1848 года Париж покрыт баррикадами. Началась третья революция. Июльская монархия рухнула под ее напором,

# СМЕРТЬ И ПОЛИЦИЯ

И снова весна. И снова он идет в поля. С ним верная спутница — трость из виноградной лозы. Без нее далеко не прошагаешь, когда тебе близится семьдесят. Может быть, эта самая трость в бытность свою лозой давала напиток, пьянивший молодого поэта за веселыми ужинами. А теперь она служит опорой и собеседницей старику во время его одиноких прогулок. С ней Беранже ведет задушевный разговор в песне «Моя трость», сложенной весной 1848 года.

Солнце все выше. Жаворонки заливаются. Но поэту сегодня не до птичьих трелей. Он озабочен, взволнован. И растроган и удручен.

До него дошла весть, что избиратели департамента Сены выдвинули его кандидатуру в Национальное собрание.

«Эй, ты! Управляй колесом государства!» —
Кричат мне безумцы. Родная страна!
Подумай: под силу ль мне власти мытарства,
Когда самому мне опора нужна?!

Не мудрено, что мысли так и мечутся, так и жужжат под его старой шляпой.

Будь он помоложе и будь эта республика той, о которой он мечтал, все, вероятно, было бы по-другому. Но он стар, болен, и — главное — республика, провозглашенная в феврале 1848 года, не внушает ему больших надежд. Опять французам достался незрелый плод, думает Беранже.

Во главе временного правительства стоит поэт Альфонс Ламартин, бывший роялист, перекочевавший в либералы. Рядом с ним подвизается старинный друг Беранже, восьмидесятилетний Дюпон де Л'Ер (и как только под силу этакому старцу ворочать государственное колесо!). Прекраснодушные мастера звонкой фразы призывают французов к классовому миру и сотрудничеству, а за их спинами действуют настоящие хозяева положения — буржуазные прохвосты и монархические индюки. Народ оттесняют все дальше от завоеванной им власти, о демократии не заботятся…

Какую пользу принесет он Франции, если попадет в депутаты? Беранже уверен, что никакой. Ведь он не оратор, не государственный муж. Он всего-навсего поэт.

«Если я не умру с досады, го погибну со скуки», — сказал он

Лапуанту.

Не дожидаясь результата выборов, Беранже решил обратиться с письмом к своим избирателям. Он напишет им начистоту, просто, ясно, так, чтобы до каждого дошла его просьба.

«Дорогие сограждане, неужели действительно вы хотите меня сделать законодателем? Я долго сомневался в этом. Я надеялся, что те, у кого возникла эта мысль, от нее отказались из жалости к старику… Мои шестьдесят восемь лет, мое столь капризное здоровье, мои умственные наклонности, мой характер, испорченный долгой, дорого купленной независимостью, делают для меня невозможной почетную миссию, которую вы на меня хотите возложить… самое верное средство смутить мой бедный, ум, который, по-видимому, не раз давал полезные советы, — это посадить меня на парламентскую скамью. Там, печальный и безмолвный, я буду топтаться в ногах у тех, кто будет спорить с трибуны, подняться на которую я не способен… Не извлекайте меня из моего одиночества, где, сосредоточившись в себе самом, я вам казался способным быть пророком…»

Письмо было опубликовано. Избиратели прочитали его, но не вняли просьбе старого поэта и усердно голосовали за Беранже.

Ведь он давний любимец парижан, а теперь к его прошлой славе прибавились новые лучи. Песня «Потоп», в которой он предсказал революцию, печатается и перепечатывается в периодических изданиях и сборниках. Французы приветствуют его. Беранже снова впереди! Снова запевала! Молодые рабочие поэты гордятся своим учителем.

На выборах Беранже получил 204171 голос и прошел восьмым по общему списку кандидатов.

Беранже обращается с письмом к председателю Национального учредительного собрания:

«Несмотря на мою глубокую признательность, вызываемую большим числом голосов, призывающих меня в это собрание, я не отказываюсь от намерения, принятого окончательно еще раньше, отвергнуть мандат, к которому меня не подготовили ни размышления, ни достаточно серьезное образование…»

Председатель зачитал письмо собранию 8 мая, но оно ответило решительным отказом.

И старые друзья во главе с Дюпоном и молодые во главе с Лапуантом уговаривают Беранже согласиться остаться, принять эту честь. (Лапуант добивался ее, но не прошел по голосованию.) Решение Беранже бесповоротно. Он пишет еще одно письмо на имя председателя:

«Я умоляю еще раз Национальное собрание не вырывать меня из безвестности моей частной жизни. Это вовсе не желание

философа, еще менее мудреца; это желание стихотворца, который будет считать себя конченым человеком, если он среди делового шума потеряет свою независимость — единственное благо, которого он всегда добивался.

Впервые за всю мою жизнь я обращаюсь к моей стране со скромной просьбой, чтобы ее достойные представители не отвергли моей мольбы об отставке и простили эту слабость старику, который понимает, какой чести он лишается, расставаясь с ними».

На этот раз его просьба была уважена. С неудовольствием, с раздражением, с упреками его освободили от обязанностей депутата.

* * *

Сомнения Беранже по поводу лица новой республики очень скоро подтвердились. Вместо классового примирения вспыхнула первая открытая битва между буржуазией и пролетариатом.

23 июня на парижских улицах выросли баррикады. Над ними вьются знамена со словами: «Жить работая или умереть сражаясь». Напрасно депутаты Национального собрания (среди них и Виктор Гюго) пытаются взять на себя роль парламентеров: ходят с белыми нарукавными повязками от баррикады к баррикаде и уговаривают повстанцев сложить оружие. Восставшие рабочие не согласны на примирение и подчинение — слишком много раз их обманывали.

И днем и ночью трещат барабаны. Генерал Кавеньяк направляет военные части против повстанцев.

Пугало людское, ровный, деревянный
Грохот барабанный, грохот барабанный!
Оглушит совсем нас этот беспрестанный
Грохот барабанный, грохот барабанный!
Видя для народа близость лучшей доли,
Прославлял я в песнях братство и любовь;
Барабан ударил — и на бранном поле
Всех враждебных партий побраталась кровь.

Песня «Барабаны» с ее горькими раздумьями рождена событиями июня 1848 года. Что же будет дальше? К чему придет Франция?

Барабанных песен не забудешь скоро;

С барабаном крепок нации союз.
Хоть республиканец — но тамбурмажора,
Смотришь, в президенты выберет француз.

Восстание подавлено. Участников его ссылают, бросают в тюрьмы, приговаривают к смерти. И на парижских улицах и в залах, где заседают государственные мужи, больше не слышно восторженных речей о братстве и равенстве.

В Национальном собрании лишь горсточка депутатов голосует против репрессий. Нет, новая республика миролюбива лишь на словах, а на деле мало чем отличается от своей предшественницы — монархии.

Президентом республики избран племянник Наполеона Луи Бонапарт. Он прикидывается этаким «другом демократии», миролюбивым скромником, а сам отсылает армию усмирителей против Римской республики.

«Ничтожный племянник великого дяди», «Наполеон Маленький» — называет нового правителя Франции Виктор Гюго.

— Господа! Здесь кроется интрига! — гремит Гюго с трибуны Национального собрания. — Нельзя допустить, чтобы Франция оказалась захваченной врасплох и в один прекрасный день обнаружила, что у нее неизвестно откуда взялся император!

* * *

В ночь на 2 декабря 1851 года во Франции произведен реакционный государственный переворот. Национальное собрание разогнано. Министры и депутаты брошены в тюрьмы. Армия и полиция в руках зачинщиков переворота. Горсточка сопротивляющихся бессильна организовать отпор. На улицах свирепствуют отряды усмирителей и карателей, стреляют не только по немногочисленным баррикадам, но и по безоружной толпе.

Наполеон Малый с кликой приспешников — политических подонков — картечью, пулями, штыками расчищает дорогу к императорскому трону. Власть имущие — финансисты и держатели акций, а вместе с ними и монархические индюки и святые отцы — дают благословение политическим преступникам, орудующим на их глазах и по их воле.

Лучшие люди Франции, истинные республиканцы, те, кого не успели поймать и засадить за решетку, покидают Францию. Гюго эмигрирует в Бельгию, а затем на остров Джерси в Ла-Маншском

архипелаге. Писатель-республиканец Эжен Сю уезжает в Швейцарию.

Семидесятилетний, больной и неимущий Беранже не может совершать далеких путешествий и молча сидит в своем стареньком вольтеровском кресле, истомленный деревянным грохотом барабанов. Ох, как болит у него голова! Еще мучительнее, чем тогда, в молодости, в дни праздников по поводу коронации Наполеона, когда Пьер Жан в своей мансарде с дырявой крышей проливал не чернильные, а самые настоящие слезы над первой республикой. Теперь слез нет, но на душе еще тяжелее.

* * *

«В начале 1853 года неожиданно распространился слух о моей смерти. Это стоило мне толпы посетителей. Среди рабочих возникло предположение, что газетам запретили говорить о моей кончине из боязни огромного стечения народа на моих похоронах. Вот что побудило меня сочинить эту песню, которая, без сомнения, будет последней». Такое примечание к песне «Смерть и полиция» нашли в бумагах Беранже вместе с самой песней в 1857 году, после смерти поэта. Можно представить себе тот январский день, когда взволнованные посетители один за другим обрывали звонок у дверей его квартиры. И те чувства, которые были написаны на их лицах, когда дверь открывалась и они оказывались лицом к лицу с предполагаемым покойником. Страх, восторг, недоумение, вопрос, облегчение — у кого что, а у некоторых и все сразу.

Приходили друзья — знакомые и незнакомые, рабочие, поэты и просто читатели и почитатели. Заглядывали, однако, и совсем чужие, в том числе представители полиции. Беранже устал в тот день ужасно. Но много смеялся и, несмотря на усталость, как-то приободрился и решил тряхнуть стариной.

Когда звонки угомонились, сразу же начал думать над планом новой песни (он всегда предпочитал писать по плану). На это ушло немало дней. Так и сяк поворачивал он сюжет и нашел, что самый выгодный поворот — это изъяснение по поводу слухов о кончине песенника от лица бравого полицейского. При таком повороте можно заострить тему взаимоотношений поэта и империи, империи и свободы. Благонамеренный служитель полиции выболтает все как есть. Ишь, как власти беспокоятся о здоровье песенника!

Я из префектуры к вам направлен.
Наш префект тревожится о вас.
Говорят, вы при смерти… Доставлен
Нам вчера был экстренный приказ —
Возвратить здоровье вам тотчас.
Прекратите всякое леченье:
От него лишь докторам жиреть.
Ваша смерть теперь под запрещеньем, —
Не посмейте, сударь, умереть!

Живи! Таков приказ! Ничего не скажешь: забота сверх меры. Чем же вызвана она? Ага, все ясно. Посланец властей раскрывает карты, не мудрствуя лукаво. Устами его изъясняется сама Вторая империя:

Хоронить вас было б нам неспоро!
Гроб окружат тысячной толпой
Плакальщики низкого разбора,
Падкие на всяческий разбой.
Или вы хотите, сударь мой,
Чтоб империя о гроб споткнулась,
Чтоб в могилу с вами ей слететь?
Вам смешно, вы даже улыбнулись!
Не посмейте, сударь, умереть!

Живи, но так, словно тебя и совсем нет на свете. Это будет всего удобнее для империи, которая вслед за своей предшественницей — второй республикой, кстати сказать, вовсе исключила имя Беранже из списков избирателей, лишила поэта гражданских прав, как осужденного некогда за «нарушение религиозной нравственности».

Запретили вам сопротивленье
Император и его совет:
«Хоть он пел народу в утешенье,
Все же он — не стоящий поэт,
В нем совсем к нам преданности нет».
В списке нет такого гражданина!
Велено за вами глаз иметь,
Вы со всяким сбродом заедино, —
Не посмейте, сударь, умереть!

Дальше — больше! Усатый детина из полиции излагает «розовые» мечты империи относительно будущего французов:

Дайте срок. Законность, сытость всюду
Милостию трона процветут.
Золота нам всем отсыплют груду,
А свободе руки отсекут.
И тогда уж болтовне капут.
О печати сгинет даже память!
Баста — разномыслие иметь!
Вновь народ помирится с попами!
Не посмейте, сударь, умереть!

Такие поистине «блестящие» перспективы сулит своим подданным Вторая империя устами комически зловещего блюстителя порядка. Вот когда эти надежды сбудутся и память о дерзком песеннике умрет во Франции, —

Вот тогда-то, сударь, в добрый час
Помирайте, не тревожа нас.
Без шумихи отвезем вас сразу
На кладбище втихомолку тлеть,
А пока извольте внять приказу —
Не посмейте, сударь, умереть!

Отношение империи к Беранже и Беранже к империи вполне ясно из этих стихов. Она его боится, он ей враждебен, опасен. Он видит насквозь все ее лицемерное убожество и торжествующее мракобесие. Душительница свободы, она рада бы придушить его, живого, лишь бы без шума, втихомолку.

* * *

Беранже отвергал всяческие попытки Второй империи завязать с ним сношения и приобщить его к стану певцов бонапартизма. Песню «Смерть и полиция», ставившую точки над «i», он не мог опубликовать, но, надо думать, друзья читали ее и списки тайно ходили по рукам. Казалось бы, не могло возникнуть сомнений в том, что Беранже и дорвавшиеся до власти бонапартисты во враждебных политических лагерях, по разные стороны баррикады. Ан нет, находились-таки «умники», причислившие поэта к друзьям и песнопевцам бонапартизма, а

следовательно, и Второй империи.

Подобные кривотолки и измышления, основанные на том, что Беранже, мол, воспевал Наполеона I, что он, мол, признавал своим другом и покровителем Люсьена Бонапарта, возмущали, сердили, тревожили старого поэта, испортили ему немало крови и нервов в последние годы жизни. Его больно поразили слухи о том, будто даже Александр Дюма, которого Беранже называл не иначе, как «сынок», тоже причастен к этим толкам.

В день своего рождения, 19 августа 1853 года, он пишет горькое письмо:

«Я слышал, мой дорогой Дюма, будто вы собираетесь поместить (видимо, в ваших мемуарах) статью, в которой вы меня упрекаете в том, что я сделался сторонником новой империи. Кто вам внушил подобную мысль обо мне? При встрече со мной вы ничего об этом не говорили. Я убежден, что вы в это не верите. Вы только хотите отомстить мне за мои скверные шутки этой новой шалостью, которая имела бы для меня достаточно серьезные последствия. Моя жизнь служит достаточным ответом на подобные обвинения».

Беранже просит хотя бы дать ему возможность поместить свой ответ в той же газете, где будет напечатана статья.

«Сейчас мне семьдесят три года; немножко жестоко, когда в таком возрасте человек вынужден добиваться свидетельства о честной жизни и добрых нравах. Вам это заблагорассудилось. Ответьте, как можно скорей. Извините, что пишу на обороте страницы».

С нетерпением ждет он отклика Дюма. О своем ответном письме Дюма рассказал в статье о Беранже, написанной после его смерти, напечатанной в Брюсселе в газете Козери.

«Я немедленно поспешил ответить Беранже, что кто-то со злым умыслом или без такового ввел его в заблуждение, что после 2 декабря определенные круги распускали клеветнические слухи на его счет, но что я отнесся к этому с презрением, и что в главе моих «Записок», посвященной ему, я восхищаюсь его талантом и его характером и что, более того, я предложил секретарю «Прессы» прислать ему пробный оттиск статьи, о которой шла речь, предоставляя ему полную свободу исключить все, что он найдет нужным, и даже, если это понадобится, уничтожить статью целиком».

«Мой дорогой сын, или я плохо выразился, или вы плохо меня поняли, — отвечал Беранже, — я не прошу, чтобы вы жертвовали чем-либо из вашей статьи. Я прошу только, чтобы мне была предоставлена возможность, когда статья появится, ответить, если я найду это нужным, в газете господина

Жирардена»{*Эмиль Жирарден* — редактор газеты «Пресса».}.

Отвечать не потребовалось, Дюма не принадлежал к стану клеветников.

Но клевета продолжала распространяться, отравляя жизнь Беранже.

«Уж не смеетесь ли вы надо мной, называя меня бонапартистом? — пишет Беранже внучке Люсьена Бонапарта, молодой писательнице госпоже де Сольмс, с которой он был дружен и активно переписывался в последние годы жизни. — Полноте! Ведь, несмотря на мои песни, я даже не был партизаном того, который обладал известным величием, импонировавшим поэзии{Речь идет о Наполеоне I.}. Я вовсе не прославлял его в 1813 году, но это правда, я воспевал его, когда он умер…» Он воспевал героя легенд, но не живого Наполеона, и смешно было бы заподозрить его в симпатиях к пародии на этого героя, к ничтожному и враждебному всему, что дорого Беранже, Наполеону Малому.

* * *

Симпатии его, надежды его с теми, кто идет на борьбу с империей. С изгнанниками-республиканцами. С Гюго, бросившим перчатку в лицо Наполеону Малому. С теми, кто действительно любит свободу и Францию.

В 1853 году в Париже разнесся слух о смерти Гюго. Несколько дней Беранже провел в чрезвычайной тревоге, пока, наконец, не получил письма с острова Джерси с фотографиями семьи Гюго и известием, что все здоровы.

Он подружился с, Аделью Гюго, женой поэта. Она иногда приезжала по делам мужа в Париж, Беранже навещал ее, узнавал новости о жизни изгнанника, регулярно переписывался с Аделью и самим Гюго.

Он верил, знал, что Гюго-республиканец поднимется на новые вершины творчества, видел в нем надежду французской поэзии — ее славу, ее будущее.

«…Мой дорогой изгнанник, неужели вы будете писать только прозу?» — спрашивает он Гюго в одном из писем 1852 года.

И дальше:

«…Вы попали в новую фазу поэтического вдохновения; она может стать плодотворной.

Какой славой увенчала Данте судьба, сходная с вашей!

А вы, ушедший в изгнание с уже заслуженной славой, разве вы не можете ее удвоить? Прекрасная месть! В наши дни только

вы один могли бы доставить себе такое большое удовольствие. О мой друг, на берегу моря, на виду всей Франции, пойте, пойте же! Завтра вас услышит будущее. Вы скажете, быть может, что я даю вам непрошеные советы. Но это не совет, это — мольба к вам, мольба человека, состарившегося в беспрестанных заботах о славе родной страны».

Октябрьский день 1854 года был для Беранже днем радости: он получил книгу стихов Гюго «Возмездие». Книгу эту тайком провозили через границу во Францию, и каждый, в ком жила и билась надежда на будущее, каждый, кто еще не превратился в «галльского раба», мечтал прочесть ее.

Беранже читал ее и перечитывал и восхищался. Поэт, поднявший карающий меч против поработителей республики, достиг здесь «такого лиризма и такой силы мысли, каких никогда раньше не достигал». Нет, надежда на будущее Франции и ее поэзия не погибнут, если на свет появляются такие книги!

Старого песенника печалит, что он больше не увидит возврата тех, «кого уносит изгнание». «Без сомнения — нет. Я становлюсь очень стар, — пишет он жене Гюго. — Здоровье мое разрушается. Последний месяц я чувствую, как силы мои тают. Бретонно (мой врач из Тура) не тревожится, однако… Я огорчаюсь только за других. Сам я достаточно пожил.

Пишу же я теперь с трудом, и мое письмо подтвердит вам это. Сердце, слава богу, состарилось меньше, чем голова, и так как родина всегда была моей великой страстью, то те, кто является ее славой, не перестанут занимать меня до последнего часа».

* * *

Он уже больше не может бродить, как бывало, по Парижу «то ради Пьера, то ради Поля». Не может больше бродить и по любимым лесам. Ему трудно спуститься и подняться по лестнице во флигель дома, на улице Вандом, 5, где он живет. Друзья навещают его. Приходит старый песенник Антье, с которым они вспоминают прошлое. Приходят молодые поэты, которым он продолжает помогать до последних дней.

Беранже знает, что конец близок, еще когда он был в силах, он написал прощальную песню. Она обращена к Франции:

О Франция, мой час настал: я умираю!
Возлюбленная мать, прощай: покину свет, —
Но имя я твое последним повторяю.
Любил ли кто тебя сильней меня? О нет!

Я пел тебя, еще читать не наученный,
И в час, как смерть удар готова нанести,
Еще поет тебя мой голос утомленный.
Почти любовь мою — одной слезой. Прости!

Последняя его весна печальна. Жюдит больна. Больна смертельно. Он сидит у ее постели, держит ее руку в своих, глядит в ее потухающие глаза, когда-то такие синие.

— Смелее, Жюдит, смелей! Скоро мы опять будем вместе.

Он не ошибся. Пережил ее всего на три месяца.

Последние дни он лежал в полузабытьи. Откуда-то издали доносились голоса друзей и как будто слышались голоса тех, кто уже ушел… Какие-то попы склонялись над ним. Зачем они здесь? Звучали в голове строки «Последней песни».

14 июля Беранже, может быть, в последний раз видел,

Как солнце радостно всходило в этот день.

16 июля 1857 года его не стало.

Над гробом Беранже разыгралось то самое, что предсказал он в песне «Смерть и полиция».

Империя, боялась, как бы похороны поэта-песенника, столь любимого народом, не превратились в массовую демонстрацию. О дне похорон не было объявлено. Лучше втихомолку. Кордоны войск стояли вдоль улиц, по которым проносили гроб, сопровождаемый горсточкой друзей. Толпу силой оттесняли в переулки. Полиция приложила все старания, чтобы похитить у народа возможность сказать последнее прости великому поэту-песеннику Франции.

По завещанию Беранже его похоронили в одной могиле с Манюэлем.

# ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА БЕРАНЖЕ

*1780, 19 августа* — В Париже, в доме на улице Монторгей, родился внук портного Пьера Шампи, сын конторщика Жана Франсуа Беранже и швеи Жанны Беранже — Пьер Жан Беранже.

*1789, 14 июля* — Девятилетний Пьер Жан видит штурм Бастилии народом Парижа. *Осень* — Пьер Жан переезжает в Перонну к тетке Мари Виктуар Тюрбо.

*1790–1792* — Мальчик в трактире, ученик ювелира, рассыльный у нотариуса.

*1792–1793* — Учится в школе, основанной в Перонне республиканцем Баллю де Белленглизом.

*1794–1795* — Беранже — подмастерье в типографии Лене.

*1795* — Переезжает в Париж к отцу.

*1796–1798* — Работает в денежно-меняльной конторе отца.

*1799–1803* — Библиотекарь. Занимается самообразованием. Пишет сатиры, идиллии, поэмы, сочиняет песни, но не печатается.

*1804, январь* — Знакомство с братом Наполеона сенатором Люсьеном Бонапартом. Знакомство с поэтом Антуаном Арно, который вводит Беранже в литературные круги Парижа.

*1805–1807* — Беранже сотрудничает в издании «Анналы музея». Пишет поэмы, сочиняет песни, которые исполняет в песенном содружестве «Обитель беззаботных», основанном в Перонне его друзьями.

*1809* — Поступает на службу экспедитором в канцелярию университета.

*1813* — Песни «Король Ивето» и «Сенатор» передаются из уст в уста. Начало литературной известности Беранже.

*1813, осень* — Вступление в песенное содружество «Новый погребок».

*1814, апрель* — Первая реставрация монархии Бурбонов.

*1814–1815* — Беранже сочиняет ттесни против аристократов, бывших эмигрантов.

*1815, март — июнь* — Сто дней и вторая реставрация Бурбонов.

*Конец года* — Издание первого сборника Беранже «Песни нравственные и другие». Знакомство с Манюэлем.

*1816–1817* — Разрыв с «Погребком». Беранже наперебой приглашают в салоны и гогетты. Поэт создает боевые политические песни, раздвигает границы песенной поэзии,

поднимает этот жанр на новую высоту (песни «Маркиз де Караба», «Господин Искариотов», «Паяц» и многие другие).

*1818–1819* — Песни Беранже печатаются в журнале «Минерва».

*1821* — Песенное содружество «Зеленая мельница».

*Октябрь* — Выход второго сборника песен Беранже. Увольнение со службы.

*8 декабря* — Суд над Беранже и заключение его в тюрьму Сен-Пелажи сроком на три месяца.

*1823* — Война с Испанией. Изгнание Манюэля из палаты депутатов.

*1825, март* — Выход в свет третьего сборника песен Беранже.

*1827, 20 августа* — Смерть Манюэля.

*1828, октябрь* — Выход в свет нового сборника Беранже «Неизданные песни».

*10 декабря* — Второй суд над Беранже. Заключение поэта в тюрьму Ла Форс сроком на 9 месяцев.

*1830, 27–29 июля* — Революция во Франции. Беранже обходит баррикады, беседует с повстанцами, участвует в совещаниях «либерального штаба».

*Август* — Учреждение монархии во главе с королем-банкиром Луи Филиппом.

*1831–1832* — Беранже увлекается сен-симонизмом; переходит в своих песнях от тем политических к темам социальным.

*1833* — Новый сборник песен Беранже с предисловием автора «В час расставания с публикой». Переселение из Парижа в Пасси.

*1835–1836* — Живет в Фонтенебло, изредка наезжает в Париж, где выходят в свет издания его песен, иллюстрированные художниками Гранвилем и Раффе.

*1837–1840* — Беранже живет в окрестностях города Тура. Создает антибуржуазные песни «Улитки», «Идея» и многие другие.

*1841–1847* — Возвращается в Пасси. Бывает в Париже, активно помогает молодым поэтам — рабочим и ремесленникам.

*1848, февраль* — Революция во Франции.

*Апрель* — Беранже избран депутатом в Национальное учредительное собрание от Парижа. Отказывается от депутатского мандата.

*1851, 2 декабря* — Реакционный переворот во Франции.

*1853* Песня «Смерть и полиция» (опубликована после смерти поэта).

*1857, 16 июля* — Смерть Беранже.

# КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

## *Издания сочинений Беранже*

*На французском языке*

Oeuvres complètes de P. J. Béranger, v. 1–4. Paris, Perrotin,1834.

Oeuvres complètes de P. J. Béranger, v. 1–3, ill. par Grand-ville et Raffet. Paris, 1837.

Oeuvres complètes de P. J. Béranger, v. 1–2. Paris, Perrotin, 1856–1858.

*Béranger P. J.*, Correspondances de Béranger, v. 1–4. Paris, 1860.

*Béranger P. J.*, Oeuvres choisies Отв. ред. Ю. Б. Виппер, сост. З. А. Старицына, комм. С. И. Великовский. М., 1956.

«Musique des chansons de Béranger. Airs notés anciens et modernes». Paris, 1861.

*На русском языке*

*Беранже П. Ж.*, Сочинения. Сост., ред., коммент. и вступительная статья Ю. И. Данилина. М., Гослитиздат, 1957.

*Беранже Пьер Жан*, Полное собрание песен в двух томах. Под общ. ред. И. К. Луппола. Текст под ред. Г. Б. Сандомирского и А. М. Эфроса. Статьи Д. А. Горбова, Г. Б. Сандомирского и Ю. И. Данилина. Примечания Д. Е. Михальчи и Л. Н. Галицкого. М.—Л., Academia, 1934–1935.

*Беранже П. Ж.*, Песни в переводах В. Дмитриева. М., изд-во «Правда», 1958.

*Беранже П. Ж.*, Избранные песни. Предисловие И. Лилеевой. М., Детгиз, 1957.

*Беранже П. Ж.*, Избранные песни. Сост. В. Н. Татаринова, вступительная статья В. Л. Львова-Рогачевского, М., 1919.

*Беранже П. Ж.*, Песни Беранже в переводах русских поэтов. Под ред. П. В. Быкова. Изд. Павленкова, Спб., 1909.

## *Монографии, очерки, статьи, воспоминания*

*На французском языке.*

*Arnould A.* Béranger, ses amis, ses ennemis et ses critiques, v. 1–2. P., 1864.

«Béranger et son temps». Introduction, commentaires et notes explicatives par Pierre Brochon. P., 1956.

*Boiteau P.*, Vie de Béranger (1780–1857). P., 1861.
*Boiteau P.*, Philosophie et politique de Béranger. Paris, 1859.
*Causeret Ch.*, Béranger. P., 1894.
*Grandville T. J. I.*, Album Béranger. Par Grandville. P., 1848.
*Janin J.*, Béranger et son temps. P., 1866.
*Lapointe S.*, Mémoires sur Béranger. Souvenirs, confidences, opinions. P., 1857.
*Lucas-Dubreton J.*, Béранger. P., 1934.
*Vasseige A.*, Béranger. P., 1911.

*На русском языке*

*Маркс К.*, Высказывание о Беранже в обращении Брюссельской демократической ассоциации к Временному правительству Французской республики (1848). *К. Маркс и Ф. Энгельс*, Сочинения, т. 4. М. 1955, стр. 537.
*Барро М. В.*, Пьер Жан Беранже. Биографический очерк. Спб., 1892.
*Великовский С. И.*, Беранже. В кн.: «Поэты французских революций». М, 1963.
*Горбов Д. А.* Жизнь и творчество Беранже. М., Госиздат, 1925.
*Данилин Ю. И.*, Беранже и его песни. Предисловие А. В. Луначарского. М., 1933.
*Данилин Ю. И.*, Беранже и его песни. Критико-биографический очерк. М., Гослитиздат, 1958.
*Дейч А. И.*, Беранже. Рассказ о его жизни. М., изд-во «Огонек», 1932.
*Игнатов И. Н.*, Беранже (Певец свободы). М., 1906.

*Стихи Беранже даны в переводах поэтов:*

П. Антокольского, Аполлона Григорьева, Валентина Дмитриева, А. Дельвига, А. Кочеткова, В. Курочкина, Я. Лебедева, В. Левина, Д. Ленского, М. Михайлова, Л. Остроумова, Л. Пеньковского, Вс. Рождественского, Л. Руставели, М, Травчетова, И. и А. Тхоржевских, А. Фета.

# Иллюстрации

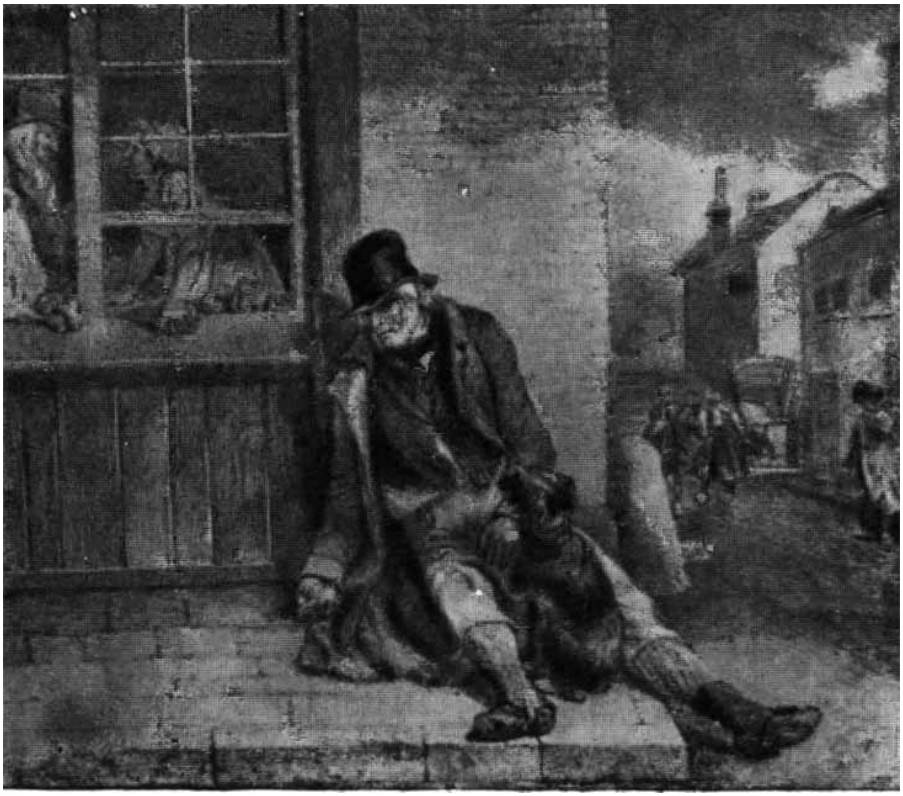
Массовый революционный праздник в Париже в 1794 году.

Мари Жозеф Шенье.

*Раффе.* Наполеон перед сражением.

Аристократ-эмигрант. *С современной карикатуры.*

Сен-Симон.



*Жерико.* Нищий.

Беднота. (*Рисунки Гранвиля к песням Беранже.*)

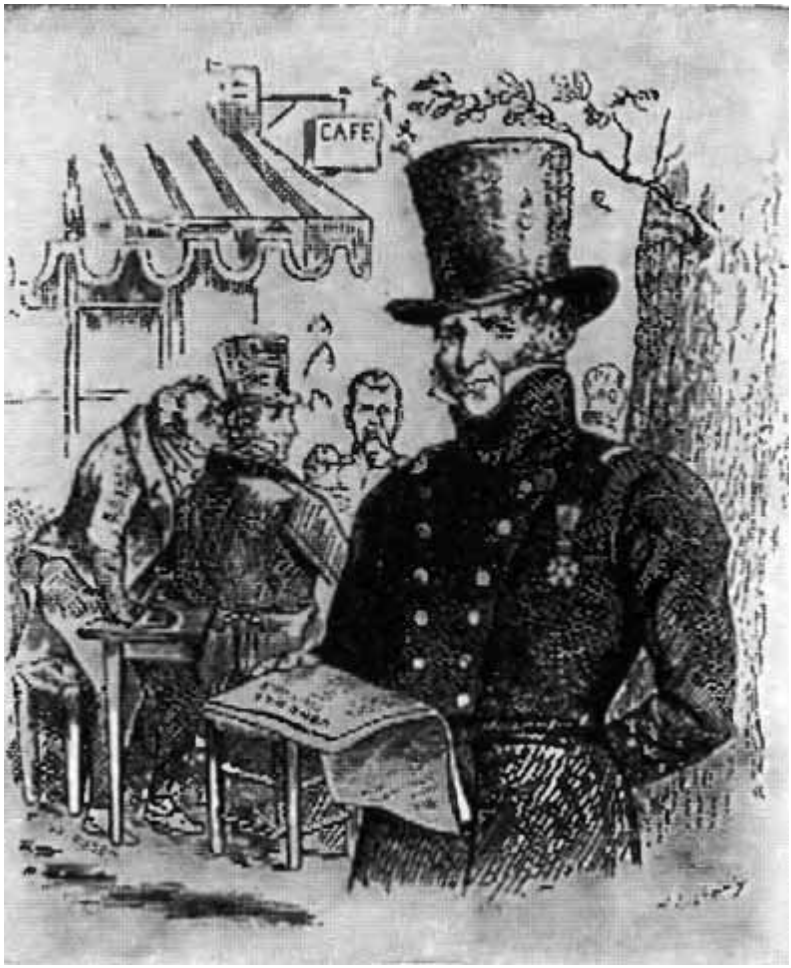
Тетка Грегуар. (*Рисунки Гранвиля к песням Беранже.*)

Вострушка. (*Рисунки Гранвиля к песням Беранже.*)

Король Ивето. (*Рисунки Гранвиля к песням Беранже.*)

Челобитная породистых собак. (*Рисунки Гранвиля к песням Беранже.*)

Паяц. (*Рисунки Гранвиля к песням Беранже.*)




Господин Искариотов. (*Рисунки Гранвиля к песням Беранже.*)

Старый фрак. (*Рисунки Гранвиля к песням Беранже.*)

Старое знамя. (*Рисунки Гранвиля к песням Беранже.*)

Миссионеры. (*Рисунки Гранвиля к песням Беранже.*)

Добрый бог. (*Рисунки Гранвиля к песням Беранже.*)

Святые отцы. (*Рисунки Гранвиля к песням Беранже.*)

Цензор. *Рисунок Гранвиля.*

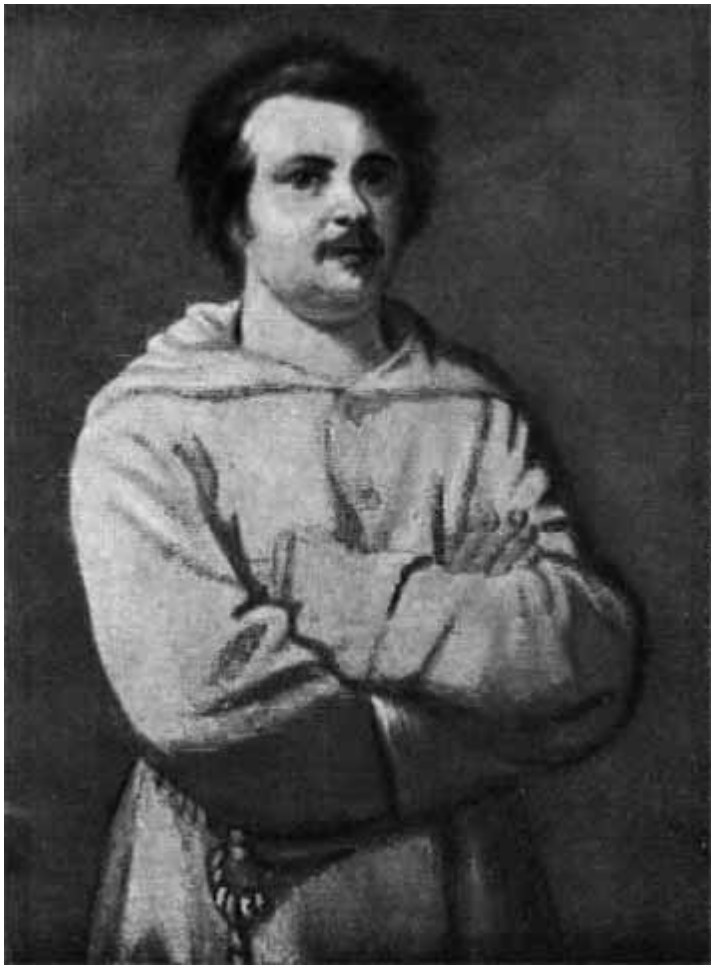
Свобода печати! С *современной гравюры.*

Беранже в тюрьме. *Портрет из бельгийского издания песен Беранже 1828 года.*

Поль Луи Курье *С портрета А ри Шеффери.*

Сент-Бёв.

Виктор Гюго. *Современная карикатура.*



Бальзак. С *портрета Луи Буланже.*

Дюма. *Рисунок Деверия.*

*Делакруа.* Революция 1830 года.

Июльские могилы *Рисунок Гранвиля.*

Беранже. *Портрет работы Ари Шеффера.*

Рыжая Жанна. (*Рисунки Гринвиля к песням Беранже.*)

Жак. (*Рисунки Гринвиля к песням Беранже.*)

Старый бродяга. (*Рисунки Гринвиля к песням Беранже.*)

Идея. (*Рисунки Гринвиля к песням Беранже.*)

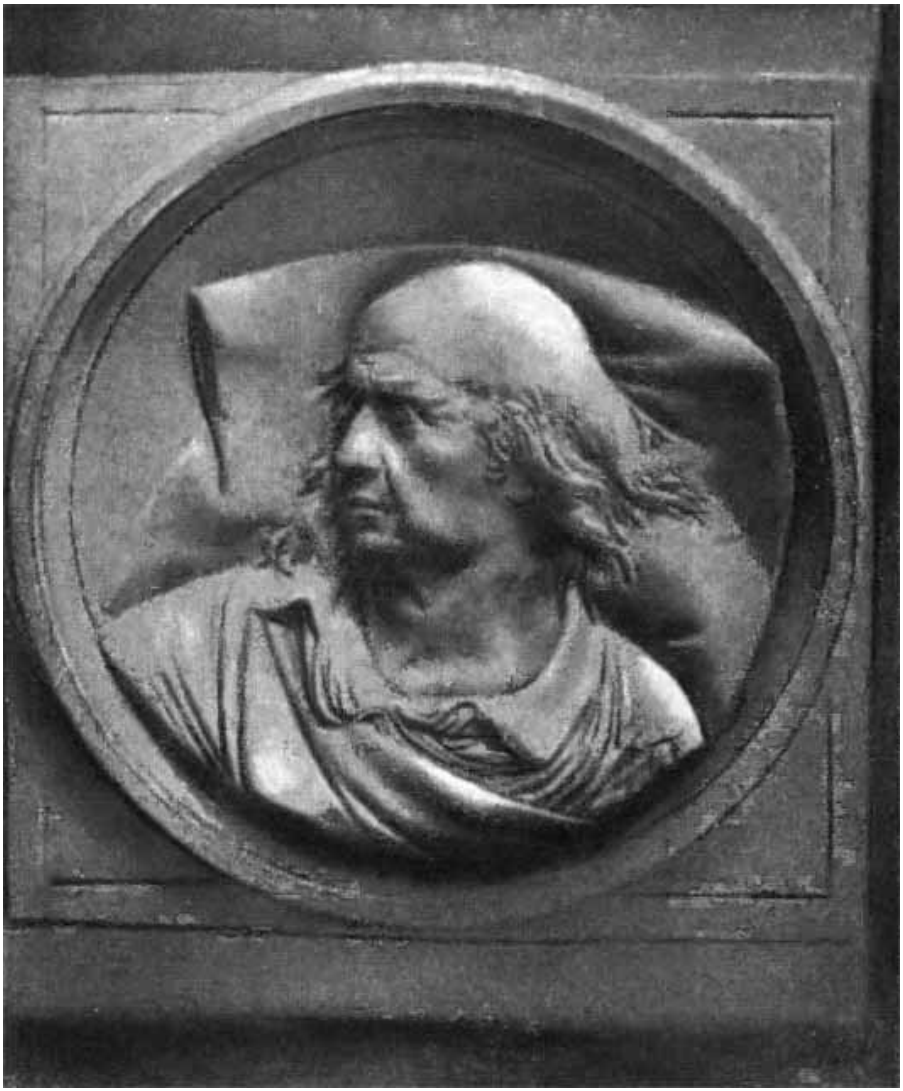
Барабаны. (*Рисунки Гринвиля к песням Беранже.*)

Беранже. *Карикатура Надара.*

*Курбе.* Каменщики.

*Пигаль.* Сапожник.

*Милле.* Собирательницы колосьев.



Посмертная маска Беранже.